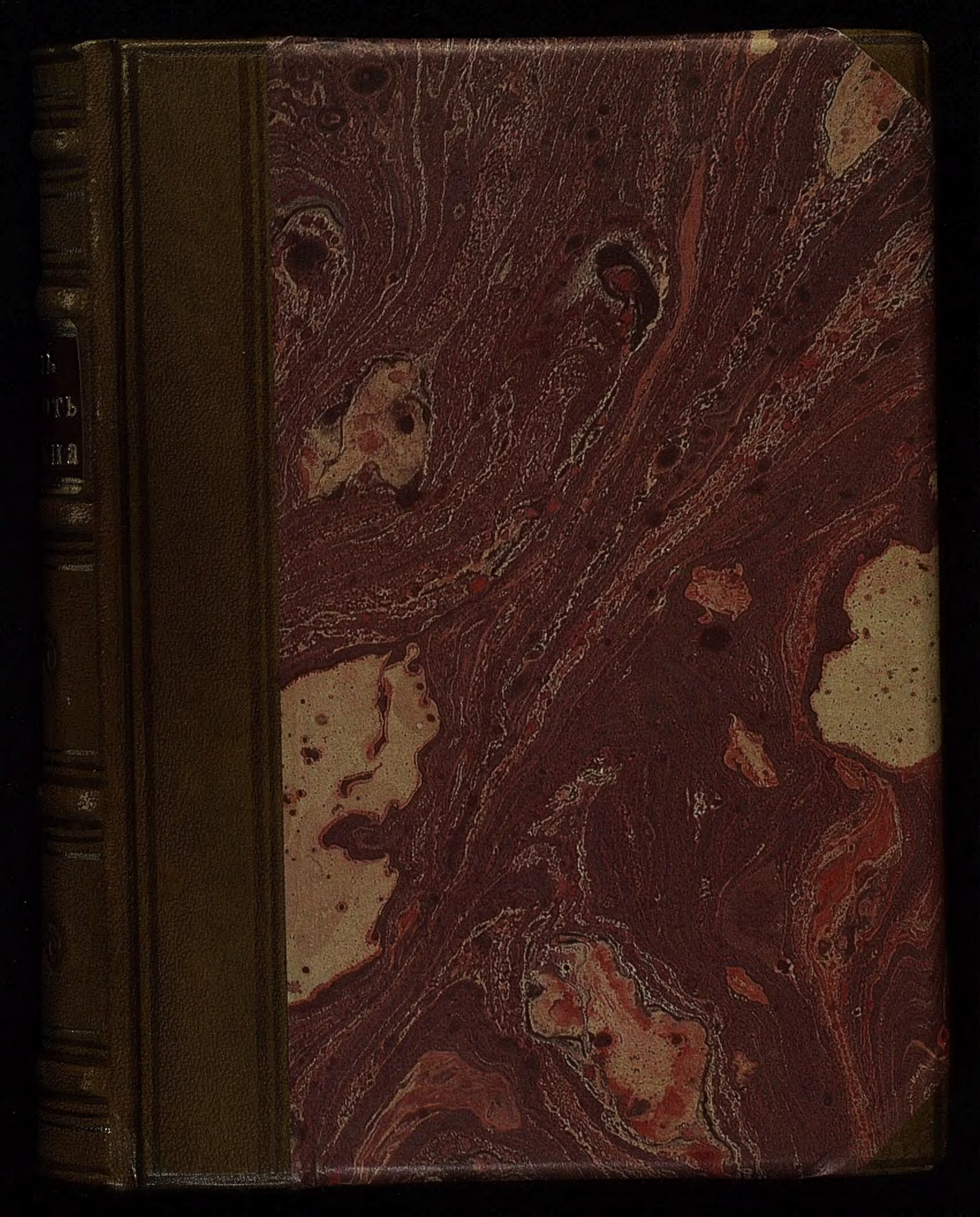
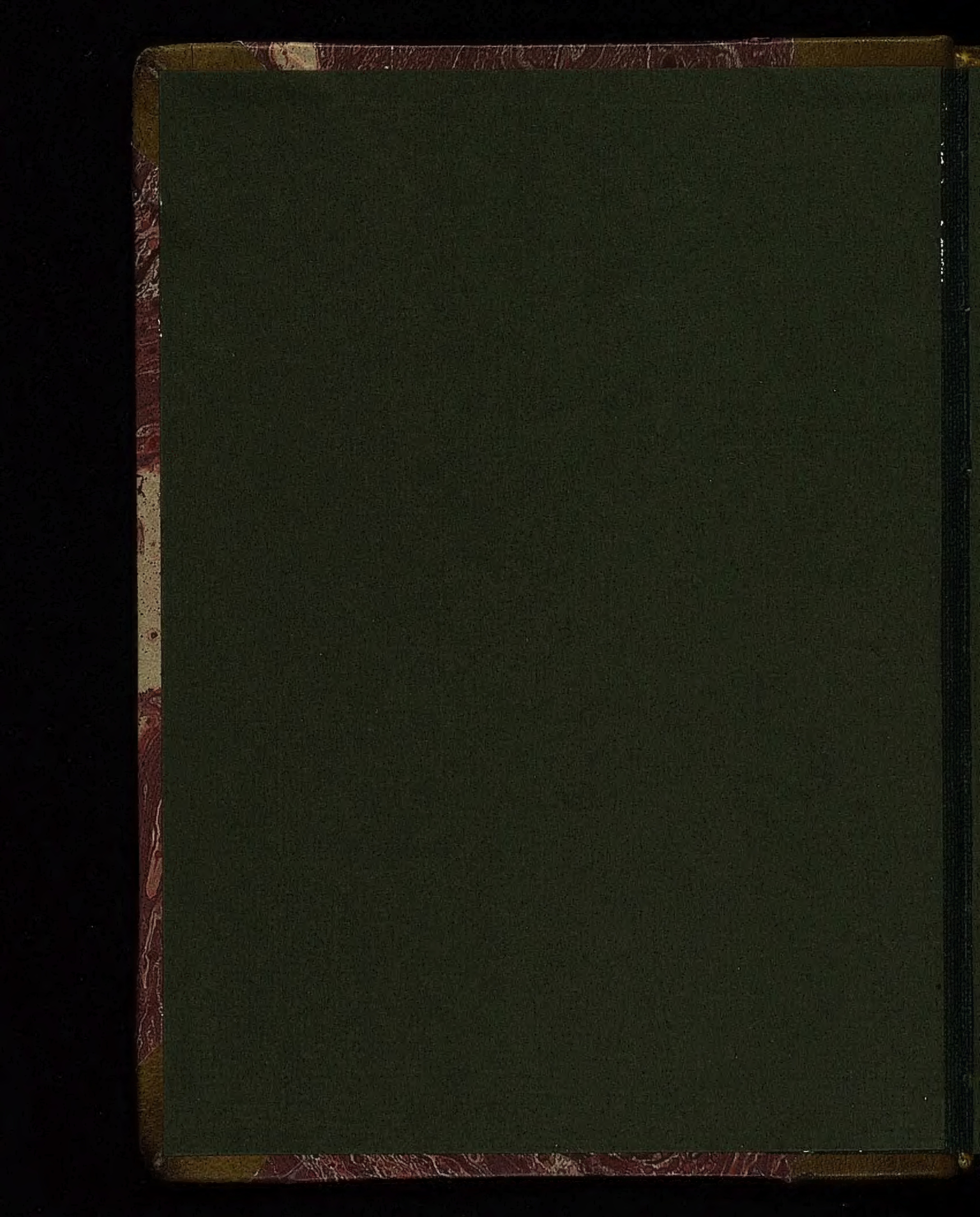
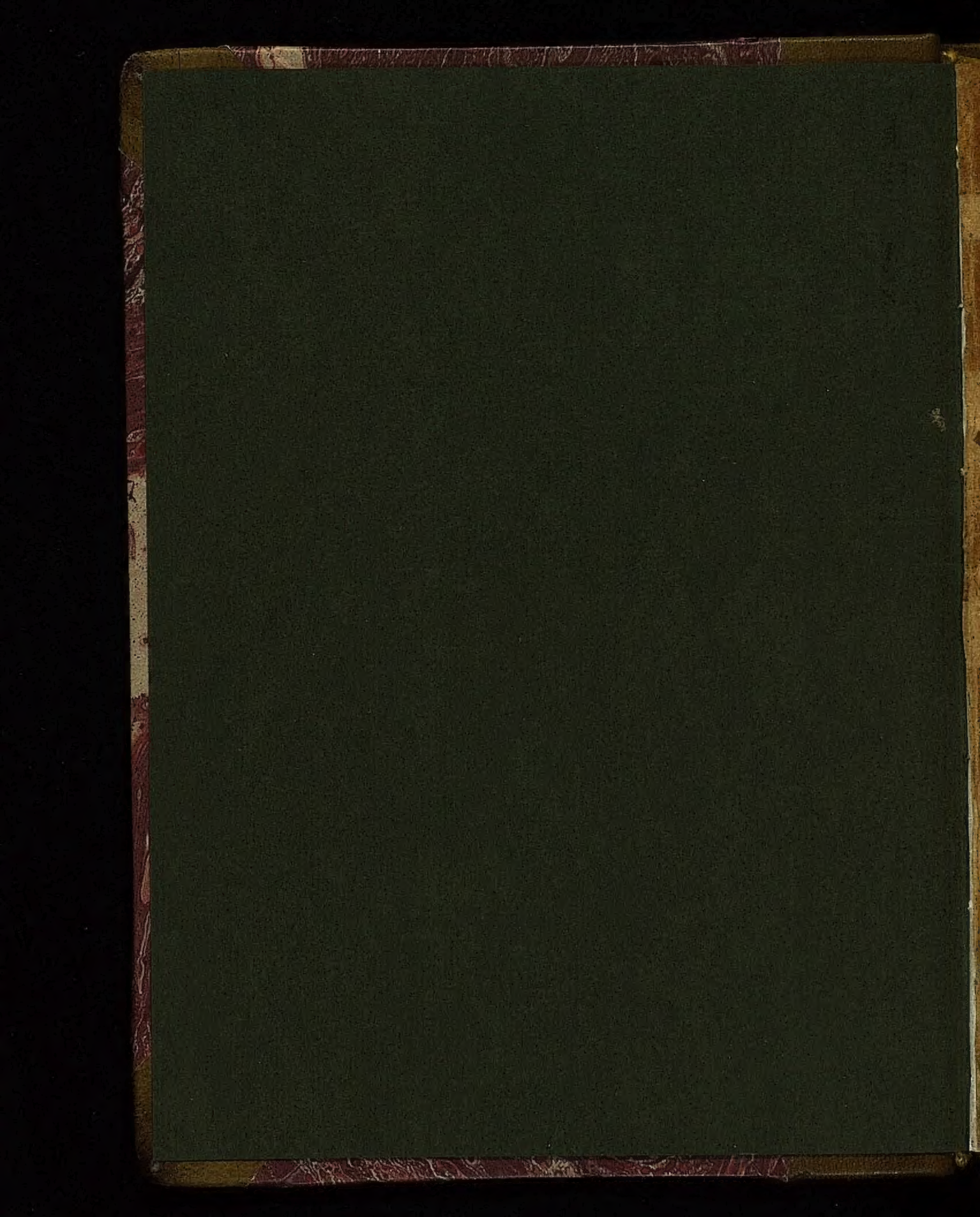






Жизнь замечательных людей

П. Е. ЩЕГОЛЕВ

Дуэль и смерть Пушкина


EX LIBRIS
M. ITKIN

Абрам Шалит
гор. Рига, 10 II 1949 г.

Жизнь замечательных людей

Журнально-газетное объединение Москва 1936

П. Е. Щеголев

Дуэль и смерть Пушкина

Редакция и предисловие

М. А. Цявловского

11·12 /83·84/ выпуск

Редактор ИОСИФ ГЕНКИН
Техредактор А. М. ИГЛИЦКИЙ
Обложка Г. С. БЕРШАДСКОГО
Гравюра на дереве А. М. КРИТСКОЙ

Печатается в несколько сокращенном виде

Издатель Жургазоб'единение
Уполномоченный Главлита Б—27407
Тираж 40000. Зак. тип. 538. Изд. № 253
Сдано в набор 7. VIII. 1936 г.
Подписано к печати 16. IX. 1936 г.
Формат бумаги 72×108/32
6¼ бум. листа. 106.624 зн. в бум. л.
Типография и цинкография
Жургазоб'единения, Москва, 1-й Самотечный, 17

Предисловие

В биографической литературе о нашем великом поэте книга П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» занимает особенное место. Научное исследование, не преследующее целей популяризации, работа покойного биографа, несмотря на это, справедливо сделалась одной из самых известных, любимых в широких читательских кругах книг по биографии Пушкина.

В предисловии к первому изданию своего исследования П. Е. Щеголев так определял свои задачи: «Занимаясь биографией Пушкина, я остановился на темном и необследованном периоде последних месяцев жизни поэта, на истории его последней дуэли. Следующие задачи стоят перед исследователем этого периода: розыски материалов, критическая их проверка и как результат — попытка прагматического построения истории дуэльных событий. Эти задачи не исчерпывают еще, конечно, работы биографа, но без их решения невозможны какие-либо дальнейшие биографические изучения». Согласно этим задачам книга Щеголева заключает в себе собрание архивных материалов, в большей своей части не появлявшихся в печати, которым «предпослана попытка прагматиче-

ского изложения истории столкновения и поединка Пушкина с Дантесом». В этом изложении исследователь поставил себе целью, по его словам, «откинув в сторону все непроверенные и недостоверные сообщения, дать связное построение фактических событий». «Душевное состояние, в котором находился Пушкин в последние месяцы жизни, — писал П. Е. Щеголев, — было результатом обстоятельств самых разнообразных. Дела материальные, литературные, журнальные, семейные; отношения к императору, к правительству, к высшему обществу и т. д. отражались тягчайшим образом на душевном состоянии Пушкина. Из длинного ряда этих обстоятельств мы считали необходимым — в наших целях — коснуться только семейственных отношений Пушкина — ближайшей причины рокового столкновения».

Поставив своей задачей изложение «только семейственных отношений Пушкина» в последние годы его жизни, исследователь тем самым отказался от изображения финала жизненной драмы поэта, как события социального значения. Излагать историю столкновений Пушкина с Геккереном и Дантесом вне истории взаимоотношений поэта с придворными и высокочиновными кругами было не только крупным методологическим промахом, но и существенным искажением чисто фактической стороны дела.

В поставленных пределах задача была выполнена с присущим покойному ученому мастерством. На основе широко привлеченных печатных и архивных материалов П. Е. Щеголев в живом, ярком изложении дал картину преддуэльных событий.

Но далеко не все перипетии сложной и темной истории, приведшей поэта к роковому концу, были выяснены в первоначальной работе П. Е. Щеголева, дав-

шего, как впоследствии оказалось, ущербную концепцию всей преддуэльной истории. Раскрытие смысла пасквильного диплома, говорящего о якобы существовавшей связи Николая I с женой Пушкина, явилось не просто «поправкой» к концепции Щеголева, а фактом, заставлявшим во многом пересмотреть и перестроить ее. Частично это и было сделано покойным биографом в третьем издании его работы, вышедшем в свет в конце 1927 года. Здесь вопросу об анонимном дипломе и его составителях и распространителях посвящена специальная глава «Анонимный пасквиль и враги Пушкина», явившаяся своего рода «приложением» к основной части, оставленной в прежнем виде. Но и эта новая глава, в которой уделено много места анализу частных фактов, не дает полного представления ни о той враждебной атмосфере, созданной придворно-аристократическими кругами, которая окружала поэта в последние месяцы его жизни, ни о той борьбе, которую он вел с светской «чернью».

В настоящем издании из книги П. Е. Щеголева перепечатывается полностью* ее первая часть — «История последней дуэли Пушкина». Из второй части — «Документы и материалы» — перепечатываются письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину о последних днях и смерти Пушкина со вступительной статьей П. Е. Щеголева и указанная глава «Анонимный пасквиль и враги Пушкина». Во вступительной статье к письму Жуковского П. Е. Щеголевым вскрыта тенденциозность, а потому и недостоверность этого до-

* В настоящем издании, как не предназначенном для специалистов, не перепечатываются имеющиеся в книге Щеголева в сносках при приводимых им цитатах ссылки на их источники.

кумента как биографического материала. В дополнение ко всему сказанному в статье нужно указать, что характеристика отношения Николая I к Пушкину, даваемая Жуковским, в корне неверна, полностью противоречит имеющимся документальным данным и представляет собою плод сентиментальных рассуждений и домыслов верноподданного поэта.

Самые необходимые дополнения и исправления к тексту П. Е. Щеголева даны нами в примечаниях в ломаных скобках.

М. Цявловский.

ОТ РЕДАКЦИИ

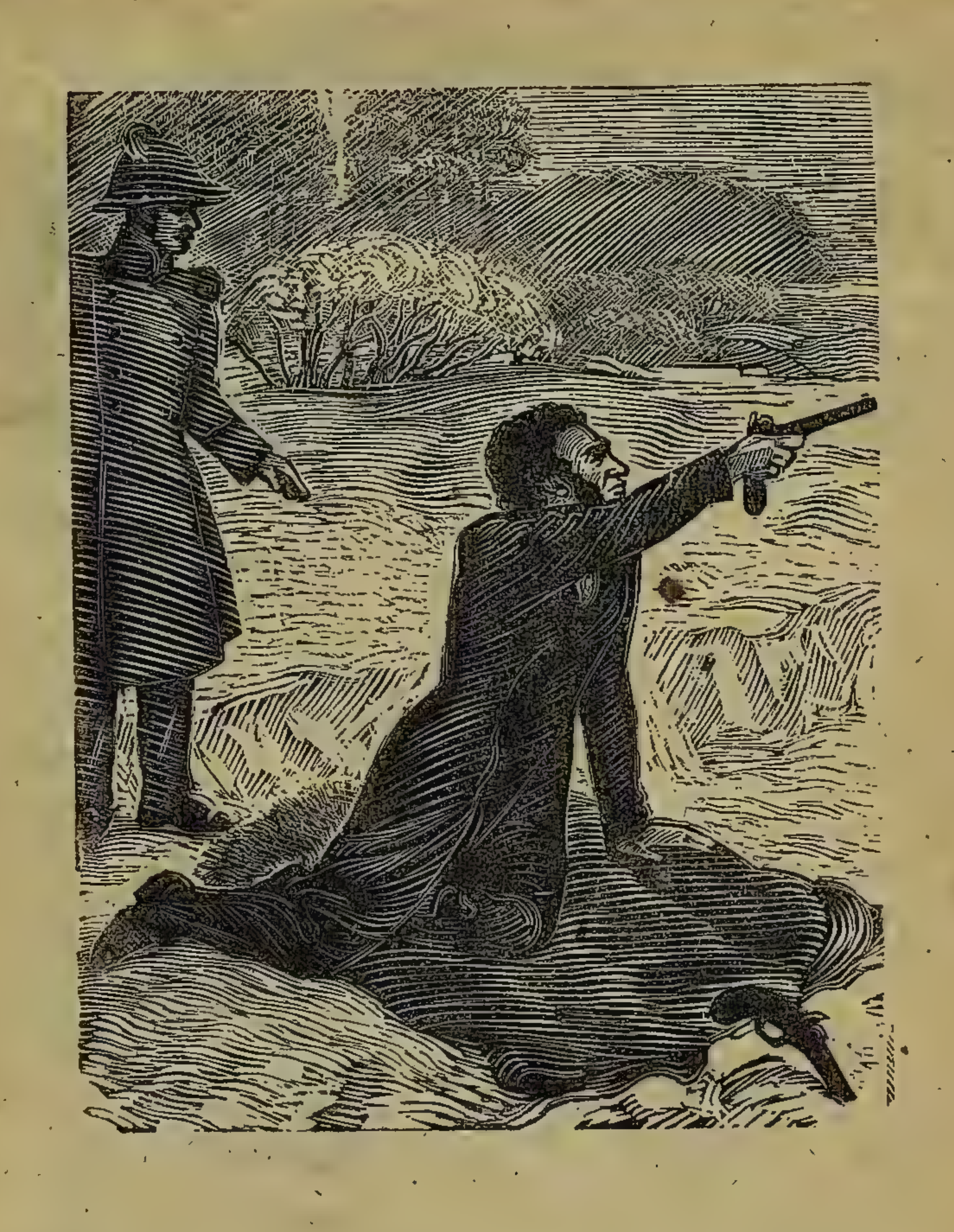
Предлагая читателю труд П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», под редакцией и с комментариями М. А. Цявловского, редакция серии «Жизнь замечательных людей» оставляет в плане 1937 года издание полной биографии великого поэта.

К этому делу привлечены лучшие научные силы Советского Союза, и книга о Пушкине своевременно выйдет в свет.

Редакция серии «ЖЗЛ»

История последней дуэли Пушкина

(4 ноября 1836 года—27 января 1837 года)





1

Благополучие рода Дантесов было прочно обосновано на рубеже XVII и XVIII столетий Жаном-Генрихом Дантесом (1670—1733), крупным земельным собственником и промышленником.

У него были доменные печи, серебряные рудники, занимался он производством жести и учредил фабрику холодного оружия. Им было приобретено имение в Зульце, ставшее постоянным местопребыванием семьи Дантесов. В 1731 году Жан-Генрих Дантес был возведен в дворянское достоинство. Его ближайшие потомки ревностно служили своим королям и вступили в родственные связи со многими родовитыми семьями. Внук его, Жорж-Шарль-Франсуа Ксавье

Дантес (1739—1803), был женат на баронессе Рейтнер де Вейль; в революционную эпоху он должен был эмигрировать, но ему посчастливилось: он не потерял своего состояния. Продолжателем рода был второй его сын — Жозеф-Конрад (1773—1852). Во время бегства Людовика XVI в Варенн он служил в тех войсковых частях, которые должны были под руководством маркиза Булье содействовать бегству короля. Эмигрировав из Франции, он поселился в Германии, у своего дяди и крестного отца, барона Рейтнера, командира Тевтонского ордена. Вернувшись из Германии на родину в Зульц, он женился здесь в 1806 году на графине Марии-Анне Гацфельдт (1784—1832). От этого брака родился Жорж Дантес, которому суждено было стать убийцей Пушкина.

Графиня Гацфельдт принесла в семью Дантесов значительные родственные связи. Их следует отметить, так как ими об'ясняются кое-какие позднейшие отношения Жоржа Дантеса. Мать Дантеса принадлежала к роду Гацфельдтов. Отец ее — брат первого в роду князя Гацфельдта, бывшего губернатора Берлина во время оккупации его французами. Одна из его сестер была замужем за графом Францем-Карлом-Александром Нессельроде-Эресгофен (1752—1816). Эта ветвь Нессельроде родственна той ветви, отпрыском которой является знаменитый «русский» граф Карл Нессельроде (1780—1862), канцлер и долголетний министр иностранных дел при императоре Николае Павловиче. Мать графини Гацфельдт, вышедшей за Дантеса, — графиня Фредерика-Элеонора Вартенслебен; ее сестра, графиня Шарлотта-Амалия-Изабелла Вартенслебен, родившаяся в 1759 году, вышла в 1788 году замуж за графа Алексея Семе-

новича Мусина-Пушкина, русского дипломата, бывшего посланником в Стокгольме. Умерла она в России и похоронена в Москве, на иноверческом кладбище. На ее могильном камне значится: «Графиня Елизавета Федоровна Мусина-Пушкина, действительная тайная советница и кавалерственная дама. † 27 августа 1835 года».

Жозеф-Конрад Дантес, отец Жоржа Дантеса, получивший баронский титул при Наполеоне I, был верным легитимистом. В 1823—1829 годах он был членом палаты депутатов и принадлежал к правой. Революция 1830 года заставила его уйти в частную жизнь.

Жорж-Шарль Дантес родился 5 февраля 1812 года нов. ст. Он был третьим ребенком в семье и первым сыном. Учился он первоначально в коллеже в Альзасе, потом в Бурбонском лицее. Отец хотел отдать его в пажи, но в ноябре 1828 года не оказалось свободной вакансии: была одна, и ту Карл X обещал герцогине Беррийской. Поэтому Дантес был отдан в Сен-Сирскую военную школу. Зачисление его в списки школы состоялось 19 ноября 1829 года. Кончить курса барону Дантесу не удалось: он не пробыл в школе и года, когда произошла июльская революция 1830 года. Ученики Сен-Сирской школы были настроены в это время совсем не либерально и в огромном большинстве были преданы Карлу X. Чтобы избежать возможных столкновений с народом, 1 августа 1830 года было предложено всем желающим ученикам взять отпуск до 22 августа. Но трехнедельный отпуск не помог и не истребил преданности законной монархии. 27 августа 1830 года начальник школы генерал Менуар доносил военному министру, что на 300 учеников с трудом найдется

60 человек, на подчинение которых новому правительству можно рассчитывать. «Другие, — писал генерал, — обнаруживают чувства прямо противоположные: вчера свистели при виде трехцветных значков, принесенных для упражнения; стены покрыли возмутительными надписями». В послужном списке Дантеса, хранящемся в архиве Сен-Сирской школы, отмечено, что 30 августа 1830 года он уволен был в отпуск, а 19 октября того же года уволен из школы по желанию семейства. Дантес был в числе преданных Карлу X. По рассказу Луи Метмана, «Дантес в июле 1830 года примкнул к той группе учеников школы, которая, вместе с полками, сохранившими верность Карлу X, пыталась на площади Людовика XV выступить на его защиту. Отказавшись служить июльской монархии, он вынужден был покинуть школу. В течение нескольких недель он считался в числе партизанов, собравшихся в Вандее вокруг герцогини Беррийской». Не сообщая более подробных сведений об участии Дантеса в Вандейском восстании, руководимом герцогиней Беррийской, Метман едва ли не повторяет здесь известные и ранее смутные слухи об этом участии, не имея других источников. Более определенных указаний на этот факт из биографии Дантеса мы не встречали.

После вандейского эпизода барон Жорж Дантес вернулся в Зульц, к отцу. Его он нашел «глубоко удрученным политическим переворотом, разрушившим законную монархию, которой его род служил столько же в силу расположения, сколько в силу традиции».

О жизни Дантеса в лоне семьи его биограф сообщает: «На другой день после революции, рассеявшей все его надежды, молодой человек живого и незави-

симого характера, каким был Жорж Дантес, не мог найти приложения своим склонностям в открывавшемся ему монотонном провинциальном существовании. Смерть баронессы Дантес в 1832 году усилила уныние родного очага. Жорж Дантес, которого отделяли от тогдашнего правительства политические взгляды его семьи, решил искать службы за границей — по обычаю, в то время распространенному». Но из монотонного провинциального существования выталкивали Дантеса скорее всего обстоятельства чисто материального характера. Июльская революция не только разрушила законную монархию, но и сильно подорвала материальное благополучие семьи Дантесов. На руках Дантеса была огромная семья в шесть человек. Старшая дочь была замужем, но июльская революция лишила ее мужа средств к существованию, и отцу приходилось содержать ее с мужем. У него же жила старшая его сестра, вдова графа Бель-Иля, с пятью детьми. Карл X назначил ей пенсию по 6000 франков, но революция отняла ее. Приходилось тратиться на учение детей: второй его сын Альфонс и младшая дочь учились в Страсбурге. А доходы барона Жозефа-Конрада Дантеса были невелики. Были долги и 18—20 тысяч франков ренты. При таком положении дел мог явиться обузой и не кончивший курса сен-сирец, к тому же заявивший себя участником в демонстрациях против существовавшего правительства. Ему, действительно, надо было искать счастья и удачи на стороне; надо было собираться в от'езд.

Проще всего было бы устроиться в Германии, где у него было много немецких родственников. Через них он нашел покровительство у прусского принца Вильгельма. Его готовы были принять, благодаря та-

кой протекции, на военную службу, но в чине унтер-офицера, а это звание казалось неподходящим не-кончившему курса в Сен-Сирской военной школе: ему хотелось сразу стать офицером, и дело со служ-бой в прусских войсках не устроилось. Тогда прус-ский принц дал Дантесу добрый совет ехать в Рос-сию и здесь искать своего счастья. Принц оказал ак-тивную поддержку молодому Дантесу и дал ему ре-комендательное письмо в Россию. Этот принц прус-ский Вильгельм (1797—1888), позднее Вильгельм, император германский (с 1861 года) и король прус-ский, был в интимно-близких, родственных отноше-ниях с русским императором Николаем Павловичем: он был женат на его родной племяннице. Письмо принца было адресовано генерал-майору Адлербергу. Владимир Федорович Адлерберг (1790—1884; с 1847 года граф), один из приближеннейших к Нико-лаю Павловичу людей, в 1833 году занимал пост директора канцелярии военного министерства. В ар-хиве Геккеренов хранится и по сей день письмо ад'ю-танта прусского принца следующего содержания: «Его королевское высочество принц Вильгельм Прус-ский, сын короля, поручил мне передать вам прила-гаемое здесь письмо к генерал-майору Адлербергу». Письмо датировано 6-м октября 1833 года в Берлине. Дантес получил его здесь на руки по пути в Россию. Одного этого письма было достаточно для того, чтобы Дантес мог питать самые пылкие надежды на успех своего путешествия. Кроме того он, быть может, имел в виду использовать и связи отдаленного свойства с графиней Мусиной-Пушкиной, приходившейся ему двоюродной бабушкой.

Чего только ни приводили в об'яснение блестящей жизненной карьеры Дантеса, на какие только положе-

ния и обстоятельства не ссылались современники, а за ними и все биографы Пушкина, писавшие о Дантесе, не имея фактических данных и испытывая потребность об'яснить карьеру Дантеса. Одни утверждали, что Геккерен — побочный сын короля голландского; другие — что он был особо отрекомендован Николаю Павловичу Карлом X[1] и т. п. Наконец, пущен был в ход рассказ о случайной, а на самом деле подстроенной встрече Николая Павловича в мастерской французского художника с Дантесом, и о глубоком впечатлении, которое последний произвел на русского государя.

В действительности ходатайство и рекомендация принца Вильгельма были самым лучшим свидетельством в пользу Дантеса в глазах императора Николая Павловича. К тому же, молодой барон говорил сам за себя: он был легитимистом, манифестировал во имя Карла X, был в рядах повстанцев под знаменем герцогини Беррийской. Известно, как Николай Павлович ценил принцип легитимизма и как он покровительствовал легитимистам разных оттенков. Недаром французские легитимисты прибегали не раз к покровительству русского императора. Так, в 1832 году граф Рошешуар искал поддержки планов Карла X и герцогини Беррийской при дворах нидерландском и русском: при первом он имел аудиенции у супруги наследного принца Анны Павловны, при втором имел конспиративные свидания с графом Нессельроде, Бенкендорфом и передал письмо герцогини русскому императору. И он был встречен сочувственно.

Без сомнения, одной рекомендации Вильгельма Прусского было бы достаточно для наилучшего устройства Дантеса в России. Но Дантес был исключительно счастливый человек. Во время своего путе-

шествия по Германии Дантес не только заручился драгоценным письмом Вильгельма, но и снискал покровительство, которое оказалось для него в Петербурге полезным в высшей степени: он встретил барона Геккерена, голландского посланника при русском дворе, и завоевал его расположение. Вместе с Геккереном он в'ехал в Россию.

Необходимо сказать несколько слов о Геккерене, которому суждено было играть такую видную и незавидную роль в истории последней дуэли Пушкина.

Сын майора от кавалерии Эверта-Фридриха барона ван Геккерена (1755—1831) и Генриетты-Жанны-Сузанны-Марии графини Нассау, барон Геккерен де Беверваард (полное его имя — Jacob-Théodore-Borhardt-Anne Baron von Heeckeren de Beverwaard) принадлежал к одной из древнейших голландских фамилий. Родился он 30 ноября 1791 года. По словам Метмана, Геккерен начал свою службу в 1805 году добровольцем во флоте. Тулон был первым портом, к которому было приписано его судно. Пребывание на службе у Наполеона оставило в Геккерене самые живые симпатии к французским идеям. В 1815 году было призвано к существованию независимое королевство Нидерландское (Бельгия и Голландия), и Геккерен переменил род службы: из моряка стал дипломатом и был назначен секретарем нидерландского посольства в Стокгольме. В 1823 году он уже находился в Петербурге: в этом году нидерландский посланник при русском дворе Верстолк ван Зелен выехал из Петербурга, а в отправление должности поверенного в делах вступил, 26 марта 1823 года, барон Геккерен. Через три года, представив 26 марта 1826 года верительные грамоты, он стал посланником или полномочным министром нидерландским в

Петербурге. За свое долговременное пребывание в России Геккерен упрочил свое положение и при дворе, и в петербургском свете. В 1833 году, отъезжая в продолжительный отпуск, он удостоился награды: государь пожаловал ему орден св. Анны 1-й степени, как свидетельство своего высокого благоволения и как знак удовольствия по поводу отличного исполнения им обязанностей посланника. Среди дипломатов, находившихся в середине 1830-х годов в Петербурге, барон Геккерен играл видную роль: по крайней мере княгиня Ливен, описывая в письме к Грею петербургских дипломатов, отмечает только двух: барона Фикельмона и Геккерена [2].

Таковы внешние, «формулярные» данные о Геккерене. Следует сказать несколько слов и о его личности. Не случись роковой дуэли, история, несомненно, не сохранила бы и самого его имени,—имени человека среднего, душевно мелкого, каких много в обыденности! Но прикосновенность к последней пушкинской дуэли выдвинула из исторического небытия его фигуру. Современники единодушно характеризуют нравственную личность Геккерена с весьма нелестной стороны. Надо, конечно, помнить, что все эти характеристики созданы после 1837 года и построены исключительно на основании толков и слухов о роли Геккерена в истории дуэли. Поэтому в этих суждениях о личности Геккерена слишком много непроверенных, огульных обвинений и эпитетов—один другого страшнее. Любопытно отметить, что ни князь Вяземский, ни В. А. Жуковский — друзья Пушкина и ближайшие свидетели всех событий — не оставили характеристики Геккерена, но, поминая его имя, не обнаружили того стремления сгустить краски, которым проникнуты все отзывы современников. Приведем от-

зыв Н. М. Смирнова, мужа близкой приятельницы Пушкина, известной А. О. Смирновой: «Геккерен был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессорившии уже многих, презираемый теми, которые его проникли». Если Геккерен и был таков, то «проникших» его до рокового исхода дела было всего-навсего один человек. И этот человек был Пушкин.

Любопытную характеристику Геккерена дает барон Торнау, имевший возможность наблюдать его среди венских дипломатов в 1855 году: «Геккерен, несмотря на свою известную бережливость, умел себя показать, когда требовалось сладко накормить нужного человека. В одном следовало ему отдать справедливость: он был хороший знаток в картинах и древностях, много истратил на покупку их, менял, перепродавал и всегда добивался овладеть какою-нибудь редкостью, которою потом любил дразнить других, знакомых ему собирателей старинных вещей. Квартира его была наполнена образцами старинного изделия, и между ними действительно не имелось ни одной вещи неподлинной. Был Геккерен умен; полагаю, о правде имел свои собственные, довольно широкие понятия, чужим прегрешениям спуску не давал. В дипломатическом кругу сильно боялись его языка и хотя недолюбливали, но кланялись ему, опасаясь от него злого словца».

Из всех характеристик Геккерена принадлежащая барону Торнау — наиболее бесстрастная, наиболее удаленная от пушкинского инцидента в жизни Геккерена, но и это его изображение сохранило отталкивающие черты оригинала. В нашей работе собраны письменные высказывания барона Геккерена, не из-



Барон Луи де Геккерен

С портрета, рисованного в 1843 г. Крихубером

вестные ранее, и сделана попытка фактического выяснения его роли в истории дуэли. На основании этих об'ективных данных можно будет восстановить образ Геккерена. Крепкий в правилах светского тона и в условной светской нравственности, но морально неустойчивый в душе; себялюбец, не останавливающийся и перед низменными средствами в достижениях; дипломат консервативнейших по тому времени взглядов, не способный ни ценить, ни разделять передовых стремлений, не увидавший в Пушкине ничего, кроме фрондирующего камер-юнкера; человек духовно ничтожный, пустой — таким представляется нам Геккерен.

Как и когда произошло знакомство и сближение Геккерена и Дантеса? Осенью 1833 года голландский посланник возвращался из продолжительного отпуска к месту своего служения в Петербург. Как раз в это время в поисках счастья и чинов совершал свое путешествие и Дантес. «Дантес серьезно заболел проездом в каком-то немецком городке; вскоре туда прибыл барон Геккерен и задержался долее, чем предполагал. Узнав в гостинице о тяжелом положении молодого француза и о его полном одиночестве, он принял в нем участие, и когда тот стал поправляться, Геккерен предложил ему присоединиться к его свите для совместного путешествия; предложение радостно было принято». Так рассказывает А. П. Арапова, дочь Н. Н. Пушкиной от второго ее брака. Источником ее сведений является позднейший рассказ самого Дантеса одному из племянников своей жены, т. е. одному из братьев Гончаровых [3].

Биограф Дантеса Луи Метман ограничивается глухим сообщением: «Дантес имел счастливый случай встретить барона Геккерена. Последний, привлечен-

ный находчивостью и прекрасной внешностью Жоржа Дантеса, заинтересовался им и вошел в постоянную переписку с его отцом, который высказывал живейшую признательность за покровительство, сослужившее свою пользу как в военной карьере, так и в светских отношениях сына».

Луи Метман подыскивает об'яснения увлечению Геккерена: голландский посланник, начавший свою службу во Франции, питал склонность к идеям французской культуры. Его юношеская дружба с герцогом Роган-Шабо (умер в 1833 году в сане Безансонского архиепископа) дала толчок религиозному перевороту. Геккерен принял католичество, и этот поступок уединил его и отдалил от его протестантской родни. Наконец, Луи Метман упоминает и об отдаленном свойстве, которое могло существовать между бароном Геккереном и рейнскими фамилиями, с которыми Дантес был в родстве по отцу и матери. В русской литературе о Дантесе нередко встречается утверждение о родстве его с бароном Геккереном в разных степенях близости вплоть до об'явления Дантеса побочным сыном посланника. Родства никакого не было; при тщательном разборе, быть может, можно установить отдаленнейшие линии свойства. Во всяком случае, до сближения с Дантесом Геккерен не был даже знаком с отцом и с семьей Дантеса. Но тут даже не свойство, а тень свойства.

Современники, реально настроенные, старались подыскать чисто реальные основания близости Геккерена и Дантеса, и выставленные ими основания были двух порядков: естественного и противоестественного. В русской литературе на все лады повторялось утверждение о родстве Геккерена с Дантесом и указывались разные степени родственной близости. Неред-

ко современники заявляли о том, что Дантес доводился барону Геккерену просто-напросто побочным сыном. Фактических данных для подобного заявления не имеется, а на основании документов, опубликованных в нашей книге, можно категорически утверждать неверность всех сообщений о родстве Геккерена и Дантеса. Об'яснение порядка, так сказать, противоестественного сводилось к утверждению, что посланник был близок к молодому французу по особенному, — извращенной близостью мужчины к мужчине.

Как бы то ни было, отношения Геккерена к Дантесу, поскольку они засвидетельствованы его письмами и фактической историей, проникнуты необычайной заботливостью и нежностью. Поистине, он был отцом родным Дантесу, и Дантес-отец сам признавал это и неоднократно выражал Геккерену свою глубокую признательность за сына.

Но возвратимся к истории Дантеса. Рекомендательное письмо прусского принца было вручено Дантесу 6 октября (нов. ст.) 1833 года, и, вероятно, без замедления Дантес проследовал в Петербург. В хронике «Санктпетербургских ведомостей» за 11 октября 1833 года читаем: «Пароход «Николай I», совершив свое путешествие в 78 часов, 8-го сего октября прибыл в Кронштадт с 42 пассажирами, в том числе королевский нидерландский посланник барон Геккерен», А с ним вместе «Николай I» привез и Дантеса.

На первых порах Дантес поселился в Английском трактире на Галерной улице.

Рекомендация была доставлена им по назначению и произвела должное действие. О Дантесе было доложено государю, и Адлерберг обнаружил большое

расположение к ученику Сен-Сирской школы и оказал ему мощное содействие в деле экзаменов.

Он подыскал ему профессоров, которые должны были «натаскать» молодого сен-сирца по военным предметам, заручился поддержкой самого нужного в этом деле человека — Ивана Онуфриевича Сухозанета, в это время занимавшего должности члена Военного совета, директора Пажеского, всех сухопутных корпусов и Дворянского полка и члена Военно-учебного комитета. В архиве барона Геккерена хранятся два письма Адлерберга к Дантесу. В первом, от 23 ноября 1833 года, Адлерберг писал: «Внезапный от'езд, которого я не мог предвидеть, когда видел вас, мой дорогой барон, поставил меня в невозможность завязать условленные сношения с профессорами, которые должны руководить вашей подготовкой к экзамену; я искренно огорчился бы, если бы не был убежден, что генерал Сухозанет возьмет целиком на себя одного это дело, часть которого он уже взял. Если бы случайно он оказался не в состоянии сделать это, то нужно будет, дорогой барон, вам потерпеть до моего возвращения, и вы ничего не потеряете, так как мое отсутствие не продолжится больше двух недель». А 5 января 1834 года Дантес получил следующую примечательную записку от Адлерберга: «Генерал Сухозанет сказал мне сегодня, дорогой барон, что он рассчитывает подвергнуть вас экзамену сейчас же после крещения и что он надеется обделать все в одно утро, если только всем профессорам можно будет быть одновременно свободными. Генерал уверил меня, что он уже велел узнать у г. Геккерена, где вас найти, чтобы уведомить вас о великом дне, когда он будет фиксирован; вы хорошо сделаете, если повидаете его и попросите у него ука-

заний. Он обещал мне не быть злым, как вы говорите; но не полагайтесь слишком на это, не забывайте повторять то, что вы выучили. Желаю вам удачи. Ваш Адлерберг». В этой записке имеется еще любопытнейшая приписка: «Император меня спросил, знаете ли вы русский язык? Я ответил наудачу утвердительно. Я очень бы посоветовал вам взять учителя русского языка».

По высочайшему повелению 27 января 1834 года барон Дантес был допущен к офицерскому экзамену при Военной академии по программе школы гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, причем он был освобожден от экзаменов по русской словесности, уставу и военному судопроизводству. Экзамены Дантес выдержал, и 8 февраля был отдан высочайший приказ о зачислении его корнетом в Кавалергардский полк. А в приказе по Кавалергардскому полку 14 февраля 1834 года было сказано: «Определенный на службу по высочайшему приказу, отданному в 8 день сего февраля и об'явленному в приказе по Отдельному гвардейскому корпусу 11 числа за № 20, бывший французский королевский воспитанник военного училища Сен-Сир барон Дантес в сей полк корнетом зачисляется в списочное состояние, с записанием в 7-й запасный эскадрон, коего и числить в оном налицо».

Каким-то темным предчувствием веет от записи в дневнике, сделанной Пушкиным 26 января 1834 года: «Барон Дантес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию офицерами. Гвардия ропщет».

2

Из приведенного выше письма Адлерберга, писанного 5 января 1834 года, т. е. три месяца спустя

после приезда Дантеса в Петербург, видно, что барон Геккерен являлся уже признанным покровителем Дантеса. Действительно, он выказал самую деятельную заботливость о молодом французе, хлопотал о помещении его на службу, заботился об его экзаменах, устраивал ему светские и сановные знакомства и, наконец, оказал ему самую широкую материальную поддержку. Дантес сообщил своему отцу в Зульц о добром к нему отношении Геккерена, а Дантес-старший поспешил высказать свои чувства в письме к Геккерену: «Я не могу в достаточной мере засвидетельствовать вам всю мою признательность за все то добро, которое вы сделали для моего сына; надеюсь, что он заслужит его. Письмо вашего превосходительства меня совершенно успокоило, потому что я не могу скрыть от вас, что я беспокоился за его судьбу. Я боялся, как бы он, с его доверчивым и распущенным характером, не наделал вредных знакомств, но, благодаря вашей благосклонности, благодаря тому, что вы пожелали взять его под свое покровительство и выказать ему дружеское расположение, я спокоен. Я надеюсь, что его экзамен сойдет хорошо, так как он был принят в Сен-Сир четвертым по порядку (из 180 принятых вместе с ним)... Я принимаю с благодарностью предложение вашего превосходительства выдать ему на первые расходы по его экипировке и прошу вас соблаговолить сообщить мне сумму ваших издержек, дабы я мог вернуть их вам. Доброе расположение вашего превосходительства дает мне право войти в подробности, которые покажут вам все, что я могу сделать в настоящий момент для моего сына».

Далее Дантес-отец говорит о своем материальном положении. Сын просил отца выдавать ему 800—

900 франков ежемесячно, но для отца такая выдача была не по силам. Он мог ему дать всего 200 франков. Эта сумма вместе с жалованием превосходила, по мнению отца, в три раза ту сумму, с которой можно было обойтись на французской службе. Если бы понадобилось, то с напряжением он мог бы еще увеличить выдачу, но лишь на время. Наконец, отец Дантеса согласился и еще на некоторые жертвы, если бы сын его попал в гвардию. Получив известие о зачислении сына в Кавалергардский полк, Дантес пишет восторженное письмо барону Геккерену: «Я сейчас узнал от Жоржа о его назначении и о том, что вы соблаговолили для него сделать. Я не могу в достаточной мере выразить вам мою благодарность и засвидетельствовать всю мою признательность. Жорж обязан своей будущностью только вам, господин барон, — он смотрит на вас, как на своего отца, и я надеюсь, что он будет достоин такого отношения. Единственное мое желание в этот момент — иметь возможность лично засвидетельствовать вам всю мою признательность, так как со времени смерти моей жены это — первая счастливая минута, которую я испытал... Я спокоен за судьбу моего сына, которого я всецело уступаю вашему превосходительству»... Когда Дантес-отец писал последнюю фразу, он говорил просто из вежливости и вряд ли имел в виду реальное значение этих слов и уж наверное не думал, что через два года он действительно уступит своего сына барону Геккерену.

В действительности расположение и любовь барона Геккерена к Дантесу росли с каждым днем все больше и крепче. Можно сказать, что барон Геккерен души не чаял в молодом офицере, заботясь о нем с исключительной нежностью и предусмотрительностью.

Родитель Дантеса и его семья не усматривали ничего странного в преданности барона Геккерена к Жоржу.

В 1834 году Дантес-старший имел возможность лично познакомиться с голландским посланником, который, путешествуя в Париж, нашел время заглянуть в Эльзас, на родину Жоржа. С течением времени у барона Геккерена возникла и окрепла мысль легализировать отношения, существовавшие между ним и Дантесом: он решил его усыновить; очевидно, неоднократно он доводил об этом до сведения Дантеса-старшего и, наконец, в начале 1836 года сделал отцу Дантеса формальное предложение дать согласие на усыновление им его сына. Дантес не удивился и согласился. Письмо его весьма любопытно, и некоторые выдержки из него необходимы для обрисовки взаимных отношений этих трех лиц.

С чувством живейшей благодарности пользуюсь я случаем побеседовать с вами о том предложении, которое вы были добры делать мне столько раз — об усыновлении вами сына моего Жоржа-Шарля Дантеса и о передаче ему по наследству вашего имени и вашего состояния.

Много доказательств дружбы, которую вы не переставали выказывать мне столько лет, было дано мне вами, г. барон, и это последнее как бы завершает их; ибо этот великодушный план, открывающий перед моим сыном судьбу, которой я не в силах был создать ему, делает меня счастливым в лице того, кто для меня на свете всех дороже.

Итак, припишите исключительно лишь крепости уз, соединяющих отца с сыном, то промедление, с которым я изъявляю вам мое под-

линное согласие, уже давно жившее в моем сердце. В самом деле, следя внимательно за тем ростом привязанности, которую внушил вам этот ребенок, видя, с какой заботливостью вы пожелали блюсти его, пещись о его нуждах, словом, окружать его заботами, не прекращавшимися ни на минуту до настоящего момента, когда ваше покровительство открывает перед ним поприще, на котором он не может не отличиться, — я сказал себе, что эта награда вполне принадлежит вам и что моя отцовская любовь к моему ребенку должна уступить такой преданности, такому великодушию.

Итак, г. барон, я спешу уведомить вас о том, что с нынешнего дня я отказываюсь от всех моих отцовских прав на Жоржа-Шарля Дантеса и одновременно даю вам право усыновить его в качестве вашего сына, заранее и вполне присоединяясь ко всем шагам, которые вы будете иметь случай предпринять для того, чтобы это усыновление получило силу пред лицом закона.

5 мая (нов. ст.) 1836 года формальности усыновления были завершены королевским актом, — и барон Жорж Дантес превратился в барона Геккерена. 4 июня генерал-адъютант Адлерберг довел до сведения вице-канцлера о соизволении, данном императором Николаем Павловичем на просьбу посланника барона Геккерена об усыновлении им поручика барона Дантеса, «с тем, чтобы он именуем был впредь вместо нынешней фамилии бароном Георгом-Карлом Геккереном». Соответствующие указания на этот счет были даны Правительствующему сенату и командиру Отдельного гвардейского корпуса.

К этому времени Дантес уже совершенно акклиматизировался в Петербурге и пустил прочные корни в высшем свете.

Служебное положение Дантеса тоже сильно укрепилось, несмотря на то, что он оказался неважным служакой. Хотя в формуляре его и значится, что он «в слабом отправлении обязанностей по службе не замечен и неисправностей между подчиненными не допускал», но историк Кавалергардского полка и биограф Дантеса, на основании данных полкового архива, пришел к иному заключению. «Дантес, по поступлении в полк, оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером; таким он оставался в течение всей своей службы в полку: то он «садится в экипаж» после развода, тогда как «вообще из начальников никто не уезжал»; то он на параде «как только скомандовано было полку «вольно», позволил себе курить сигару»; то на линейку бивака, вопреки приказанию офицерам не выходить иначе, как в колетах или в сюртуках, выходит в шлафроке, имея шинель в накидку». На учении слишком громко поправляет свой взвод, что, однако, не мешает ему самому «терять дистанцию», и до команды «вольно» сидеть «совершенно распустившись» на седле; «эти упущения Дантес совершает не однажды, но они неоднократно напред сего замечаемы были». Мы не говорим уже об отлучках с дежурства, опаздывании на службу и т. п. 19 ноября 1836 года отдано было в полковом приказе: «Неоднократно поручик барон де Геккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе; хотя объявлено вчерашнего числа, что я буду сегодня делать репетицию ординарцам, на коей

и он должен был находиться, но не менее того... на оную опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным на пять раз». Число всех взысканий, которым был подвергнут Дантес за три года службы в полку, достигает цифры 44.

Все эти неисправности не помешали движению Дантеса по службе. Мы знаем уже, что при назначении он получил чин корнета и зачислен был, при вступлении в полк, в 7-й запасный батальон. Перевод его в действующий батальон несколько задержался, так как к положенному для перевода из запасной части сроку Дантес еще не знал русского языка. Кажется, русского языка как следует Дантес так и не изучил. 28 января 1836 года Дантес был произведен в поручики, и на этом кончились его повышения на русской службе.

Блистательно складывались дела Дантеса в обществе, или, вернее, в высшем свете. Введенный туда бароном Геккереном, молодой француз быстро завоевал положение: он считался «l'un des plus beaux chevaliers gardes et l'un des hommes le plus à la mode»*. Своими успехами он обязан был и покровительству Геккерена и собственным талантам. Красивый, можно сказать, блестяще красивый кавалергард, веселый и остроумный собеседник, внушал расположение к себе. Этому расположению не мешала даже некоторая самоуверенность и заносчивость.

Отзывы современников не в отталкивающем освещении рисуют Дантеса.

Полковой командир Гринвальд отзывался о Дантесе, как о ловком и умном человеке, обладавшем злым

---

* «Одним из самых красивых кавалергардов и одним из самых модных мужчин».

языком. Его остроты смешили молодых офицеров. Несколько таких острот сохранил в своих воспоминаниях А. И. Злотницкий, вступивший в полк спустя несколько лет после трагической истории: «Дантес, по его словам, — видный, очень красивый, прекрасно воспитанный, умный, высшего общества светский человек, чрезвычайно ценимый, как это я видел за границей, русской-аристократией. И великому князю Михаилу Павловичу нравилось его остроумие, и потому он любил с ним беседовать. В то время командир полка Гринвальд обыкновенно приглашал всех четырех дежурных по полку к себе обедать. Однажды во время обеда висевшая лампа упала и обрызгала стол маслом. Дантес, вышедши из дома генерала, шутя сказал: «Гринвальд nous fait manger de la vache enragée assaisonnée d'huile de lampe»*. Генерал Гринвальд, узнав об этом, перестал приглашать дежурных к себе обедать».

В воспоминаниях полкового товарища Дантеса Н. Н. Пантелеева Дантес остался с эпитетом «заносчивого француза».

Другой полковой товарищ, князь А. В. Трубецкой, отзывается о Дантесе следующим образом: «он был статен, красив; как иностранец, он был пообразованнее нас, пажей, и, как француз — остроумен, жив. Отличный товарищ».

В полку Дантес пользовался полными симпатиями своих товарищей, и они доказали ему свою любовь, приняв решительно сторону Дантеса против Пушкина после злосчастного поединка.

---

* Непереводимая игра слов. Буквальный перевод: «Он заставляет нас есть бешеную корову, приправленную ламповым маслом». Французское выражение manger de la vache enragée — значит испытывать невзгоды, терпеть лишения.

За свое остроумие Дантес пользовался благоволением великого князя Михаила Павловича, который считался изрядным остряком своего времени и своего круга и любил выслушивать остроты и каламбуры. Даже трагический исход дуэли Пушкина не положил предела их общению на почве каламбуров. После высылки из России Дантес встретился с Михаилом Павловичем в Баден-Бадене и увеселял его здесь своими шутками и дурачествами [1].

По словам К. К. Данзаса, бывшего секундантом Пушкина, Дантес, «при довольно большом росте и приятной наружности, был человек не глупый, и хотя весьма скудно образованный, но имевший какую-то врожденную способность нравиться всем с первого взгляда... Дантес пользовался хорошей репутацией и заслуживал ее, если не ставить ему в упрек фатовство и слабость хвастать своими успехами у женщин».

Вот отзыв о Дантесе Н. М. Смирнова, мужа известной Александры Осиповны, — человека, отнюдь не благорасположенного к нему: «Красивой наружности, ловкий, веселый и забавный, болтливый, как все французы, он был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, дал ему прозвание Pacha à trois queues*, когда однажды тот приехал на бал с женой и ее двумя сестрами».

Этих данных вполне достаточно для об'яснения светского успеха Дантеса, но он был еще и прельстителем. «Он был очень красив, — говорит князь А. В. Трубецкой, — и постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, рус-

---

* Паша с тремя хвостами.



Жорж Дантес, барон де Геккерен

Собственность Луи Метмана

ские, и, как избалованный ими, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе». По отзыву современника-наблюдателя, «Дантес возымел великий успех в обществе; дамы вырывали его одна у другой».

В свете Дантес встретился с Пушкиным и его женой. Наталья Николаевна Пушкина, затмевая всех своей красотой, блистала в петербургском свете и произвела на Дантеса сильнейшее впечатление. Роковое увлечение Дантеса завершилось роковым концом — поединком и смертью Пушкина.

3

На личности Натальи Николаевны мы должны остановиться. В нашу задачу не входит подробное изображение семейной жизни Пушкина; здесь важно отметить лишь некоторые моменты и подробности семейной истории Пушкина, не в достаточной, быть может, мере привлекавшие внимание исследователей. Для нас же они важны с точки зрения освещения семейного положения Пушкина в конце 1836 года. Семейными обстоятельствами об'ясняется многое в душевном состоянии Пушкина в последние месяцы его жизни.

Поразительная красота шестнадцатилетней барышни Натальи Гончаровой приковала взоры Пушкина при первом же ее появлении в 1828 году в большом свете Первопрестольной. «Когда я увидел ее в первый раз, — писал Пушкин в апреле 1830 года матери Натальи Николаевны,—ее красота была едва замечена в свете: я полюбил ее, у меня голова пошла кругом». Но красота Натальи Гончаровой очень скоро была высоко оценена современниками. О ней и об А. В. Алябьевой шумела молва, как о первых москов-

ских красавицах. Пушкин, желая похвалить эстетические вкусы князя Н. Б. Юсупова, в известном послании «К вельможе» (дата—23 апреля 1829 года) писал:

Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.

Князь П. А. Вяземский сравнивал красоту Алябьевой avec une beauté classique*, а красоту Гончаровой avec une beauté romantique** и находил, что Пушкину, первому романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице.

История женитьбы Пушкина известна. Бракосочетанию предшествовал долгий и тягостный период сватовства, ряд тяжелых историй, неприятных столкновений с семьей невесты. Налаженное дело несколько раз висело на волоске и было накануне решительного расстройства. Приятель Пушкина С. Д. Киселев в письме Пушкина к Н. С. Алексееву от 26 декабря 1830 года сделал любопытную приписку, конечно, не без ведома автора письма: «Пушкин женится на Гончаровой, — между нами сказать, — на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат». И когда до свадьбы оставалось всего два дня, «в городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится». А. Я. Булгаков, сообщивший это известие своему брату в Петербург, добавлял: «Я думаю, что и для нее (т. е. Гончаровой) и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась». Сам Пушкин был далеко не в радужном настроении перед бракосочетанием.

* С красотой классической.
** С красотой романтической.

«Мне за 30 лет — писал он Н. И. Кривцову за неделю до свадьбы. — В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю, как люди, и вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».

Свадьба состоялась 18 февраля. Тот же Булгаков писал брату: «Итак, совершилась эта свадьба, которая так долго тянулась. Ну, да как будет хороший муж? То-то всех удивит, — никто не ожидает, а все сожалеют о ней. Я сказал Грише Корсакову: быть ей миледи Байрон. Он пересказал Пушкину, который смеялся только». Злым вещуном был не один Булгаков. Можно было бы привести ряд свидетельств современников, не ждавших добра от этого брака. Большинство сожалело «ее». С точки зрения этого большинства Пушкин в письме к матери невесты гадал о будущем Натальи Николаевны: «(Если она выйдет за него), сохранит ли она сердечное спокойствие среди окружающего ее удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее — и, может быть, эти речи будут искренни, а во всяком случае она сочтет их такими. Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? не почувствует ли она отвращения ко мне?»

Злые вещуны судили по прошлой жизни Пушкина. Но нашлись люди, которые пожалели не «ее», но «его», Пушкина. Весьма своеобразный отзыв о свадебном деле Пушкина дал в своем дневнике

А. Н. Вульф, близкий свидетель интимных успехов поэта: «Желаю ему быть счастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов, — это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся». Е. М. Хитрово, любившая поэта самоотверженной любовью, боялась за Пушкина по другим, благородным основаниям: «Я опасаюсь для вас прозаической стороны супружества. Я всегда думала, что гений может устоять только среди совершенной независимости и развиваться только среди повторяющихся бедствий».

Первое время после свадьбы Пушкин был счастлив. Спустя неделю он писал Плетневу: «Я женат — и щастлив. Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось: лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился». Светские наблюдатели отметили эту перемену в Пушкине. А. Я. Булгаков сообщал своему брату: «Пушкин, кажется, ужасно ухаживает за молодою женою и напоминает при ней Вулкана с Венерою... Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка. Дай бог, чтоб все так продолжалось!» А Е. Е. Кашкина уведомляла П. А. Осипову, что «со времени женитьбы поэт — совсем другой человек: положителен, уравновешен, обожает свою жену, а она достойна такой метаморфозы, потому что, говорят, она столь же умна, сколь и прекрасна, с осанкой богини, с прелестным лицом. Когда я встречаю его рядом с прелестной супругой, он мне невольно напоминает одно очень умное и острое животное, — какое, вы догадаетесь, я вам его не назову» [1]. Отме-

ченный в последних словах, а также в ранее приведенном сравнении Пушкиных с Вулканом и Венерой физический контраст наружности Пушкина и его жены бросался в глаза современникам. Проигрывал при сравнении Пушкин.

Любопытное свидетельство о Н. Н. Пушкиной и о семейной жизни Пушкина в медовый месяц оставил его приятель, поэт В. И. Туманский: «Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня с своею пригожею женою. Не воображайте, однако ж, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина — беленькая, чистенькая девочка, с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой гризетки. Видно, что она и неловка еще, и неразвязна. А все-таки московщина отражается в ней довольно заметно. Что у нее нет вкуса, это видно по безобразному ее наряду. Что у нее нет ни опрятности, ни порядка,— о том свидетельствовали запачканные салфетки и скатерть и расстройство мебели и посуды».

Очень скоро после свадьбы опять начались нелады с семьей жены, заставившие Пушкина озаботиться скорейшим от'ездом в Петербург. Пушкин в письме к теще так резюмировал свое положение: «Я был вынужден оставить Москву во избежание разных дрязг, которые в конце концов могли бы нарушить более, чем одно мое спокойствие; меня изображали моей жене, как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика, ей говорили: с вашей стороны глупо позволять мужу и т. д. Сознайтесь, что это значит проповедывать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж — презренный человек, и обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в 18 лет

управлять мужчиною 32 лет. Я представил доказательства терпения и деликатности; но, повидимому, я напрасно трудился».

Пушкин мечтал «не доехать до Петербурга и остановиться в Царском селе». «Мысль благословенная! Лето и осень таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей»,—писал Пушкин Плетневу. Плетнев помог осуществлению мечты поэта и устроил его в Царском. В середине мая Пушкины благополучно прибыли в Петербург и остановились здесь на несколько дней — до устройства квартиры. Е. М. Хитрово сообщала князю Вяземскому о впечатлениях своей встречи с Пушкиными: «Я была очень счастлива свидеться с нашим общим другом. Я нахожу, что он много выиграл в умственном отношении и относительно разговора. Жена очень хороша и кажется безобидной». Дочь Е. М. Хитрово, графиня Фикельмон, очень тонкая и умная светская женщина, писала тому же Вяземскому: «Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья... Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены — вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину только один раз». Предчувствие несчастия не оставляло эту светскую наблюдательницу и впоследствии: в декабре 1831 года она писала князю П. А. Вяземскому: «Жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальче-

ское выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность».

В двадцатых числах мая 1831 года Пушкины обосновались в Царском и стали жить «тихо и весело». Сестра Пушкина, О. С. Павлищева, жившая в это время в Петербурге, в письмах к мужу оставила немало подробностей о семейной жизни своего брата. Вот ее первые впечатления: «Они очарованы друг другом. Моя невестка прелестна, красива, изящна, умна и вместе с тем мила». А через несколько дней О. С. Павлищева добавляла: «Моя невестка прелестна, она заслуживала бы более любезного мужа, чем Александр». Спустя $2^{1}/_{2}$ месяца она писала: «С физической стороны они—совершенный контраст: Вулкан и Венера, Кирик и Улита и т. д. В конце концов, на мой взгляд, здесь есть женщины столь же красивые, как она: графиня Пушкина немного хуже, m-me Фикельмон не хуже, а m-me Зубова, урожденная Эйлер, говорят, лучше». Отличное впечатление произвели молодые и на В. А. Жуковского: «Женка Пушкина очень милое творение. C'est le mot*. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше», — писал Жуковский князю Вяземскому и А. И. Тургеневу. Периоду тихой и веселой жизни в Царском летом и осенью 1831 года мы придаем огромное значение для всей последующей жизни Пушкина. В это время завязались те узлы, развязать которые напрасно старался Пушкин в последние годы своей жизни. Отсюда потянулись нити его зависимости, внешней и внутренней; нити, сначала тонкие, становились с годами все крепче и опутали его вконец.

* Это слово для нее самое подходящее.

Уже в это время семейная его жизнь пошла по тому руслу, с которого Пушкин впоследствии тщетно пытался свернуть ее на иной путь. Уже в это время (жизнь в Царском и первый год жизни в Петербурге) Наталья Николаевна установила свой образ жизни и нашла свое содержание жизни.

Появление девятнадцатилетней жены Пушкина при дворе и в петербургском большом свете сопровождалось блистательным успехом. Этот успех был неизменным спутником Н. Н. Пушкиной. Создан он был очарованием ее внешности; закреплен и упрочен стараниями светских друзей Пушкина и тетки Натальи Николаевны, пользовавшейся большим влиянием при дворе, престарелой фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской. Е. И. Загряжская играла большую роль в семье Пушкиных. Она была моральным авторитетом для племянницы, ее руководительницей и советчицей в свете, наконец, материальной опорой. Гордясь своей племянницей, она облегчала тяжелое бремя Пушкина, оплачивая туалеты племянницы и помогая ей материально.

В письмах сестры Пушкина, О. С. Павлищевой, к мужу мы находим красноречивые свидетельства об успехах Н. Н. Пушкиной в свете и при дворе. В середине августа 1831 года Ольга Сергеевна писала мужу: «Моя невестка прелестна: она является предметом удивления в Царском; императрица желает, чтобы она была при дворе; а она жалеет об этом, так как она не глупа; нет, это не то, что я хотела сказать: хотя она вовсе не глупа, но она еще немного застенчива, но это пройдет, и она—красивая, молодая и любезная женщина—поладит и со двором, и с императрицей». Немного позже Ольга Сергеевна сообщала, что Н. Н. Пушкина была представлена императрице, и импера-

трица от нее в восхищении! В письмах Ольги Сергеевны есть сообщения и о светских успехах Натальи Николаевны. Ольге Сергеевне не нравился образ жизни Пушкиных; они слишком много принимали, в особенности после переезда, в октябре месяце, в Петербург. В Петербурге Пушкина сразу стала самой модной женщиной. Она появилась на самых верхах петербургского света. Ее прославили самой красивой женщиной и прозвали «Психеей». Барон М. Н. Сердобин писал в ноябре 1831 года барону Б. А. Вревскому: «Жена Пушкина появилась в большом свете и была здесь отменно хорошо принята, она нравится всем и своим обращением, и своей наружностью, в которой находят что-то трогательное». Вот еще одно свидетельство об успехах Н. Н. Пушкиной в осенний сезон 1832 года: «Жена Пушкина сияет на балах и затмевает других», — писал 4 сентября 1832 года князь П. А. Вяземский А. И. Тургеневу.

Можно было бы привести длинный ряд современных свидетельств о светских успехах Н. Н. Пушкиной. Все они однообразны: сияет, блистает, поразительная красавица и т. д. Но среди десятков отзывов нет ни одного, который указывал бы на какие-либо иные достоинства Н. Н. Пушкиной, кроме красоты. Кое-где прибавляют: «мила, умна», но в таких прибавках чувствуется только дань вежливости той же красоте. Да, Наталья Николаевна была так красива, что могла позволить себе роскошь не иметь никаких других достоинств.

Женитьба поставила перед Пушкиным жизненные задачи, которые до тех пор не стояли на первом плане жизненного строительства. На первое место выдвигались заботы материального характера. Один он мог мириться с материальными неустройствами, но

молодую жену и будущую семью он должен был обеспечить. Еще до свадьбы Пушкин обещал матери своей невесты: «Я ни за что не потерплю, чтобы моя жена чувствовала какие-либо лишения, чтобы она не бывала там, куда она призвана блистать и развлекаться. Она имеет право этого требовать. В угоду ей я готов пожертвовать всеми своими привычками и страстями, всем своим вольным существованием». Женившись, Пушкин должен был думать о создании общественного положения. Ему, вольному поэту, такое положение не было нужно: оно было нужно его жене. Светские успехи жены обязывали Пушкина в сильнейшей степени, принуждали его тянуться изо всех сил и прилагать усилия к тому, чтобы его жена, принятая dans le très grand monde*, была на высоте положения и чтобы то место, которое она заняла по праву красоты, было обеспечено еще и признанием за ней права на это место по светскому званию или положению ее мужа. Звание поэта не имело цены в свете, — и Пушкин должен был думать о службе, о придворном звании.

Если бы в обсуждении планов будущей жизни, в принятии решений Пушкин был предоставлен самому себе, быть может, он имел бы силы не ступить на тот путь, который наметился в первые же месяцы его брачной жизни, но он имел несчастие попасть в Царское село. На его беду в холерное лето 1831 года в Царское прибыл двор, пребывание которого там первоначально не предполагалось. Вместе со двором переехал в Царское и В. А. Жуковский. Первые месяцы своей женатой жизни по от'езде из Москвы Пушкин провел в теснейшем общении с Жуковским и подверг-

* В высшем свете.

ся длительному влиянию его личности, его политического и этического миросозерцания [2]. Жуковский жил по соседству с Пушкиным и часто с ним видался; не мало вечеров провели они вместе у известной фрейлины А. О. Россет, помолвленной в 1831 году с Н. М. Смирновым. Вместе с Жуковским Пушкин дышал воздухом придворной атмосферы. В том освещении, которое создавал прекраснодушный Жуковский, воспринимал Пушкин и личность императора.

В определении и разрешении жизненных задач, возникавших перед Пушкиным, Жуковский принял ближайшее участие. Он и раньше был благодетелем и устроителем внешней жизни Пушкина; таким он явился и летом 1831 года. Под его влиянием, по его советам Пушкин стал искать разрешения житейских задач и затруднений около двора и от государя. Пушкин должен был получить службу, добыть материальную поддержку. Жуковский всячески облегчал Пушкину сношения с государем; конечно, при его содействии было устроено и личное общение поэта с государем в допустимой этикетом мере. Жуковский был инициатором царских милостей и царского расположения. Он докладывал государю о Пушкине и говорил Пушкину о государе. «Царь со мною очень милостив и любезен,—писал поэт П. А. Плетневу.— Царь взял меня в службу, но не в канцелярию, или придворную или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: «Puisqu'il est marié et qu'il n'est pas riche il faut faire aller sa marmite»*. Ей богу, он очень со мною мил».

* «Так как он женат и небогат, нужно наладить его хозяйство».

Эти милости, это благоволение, подкрепленные личным общением с государем, обязали Пушкина навсегда чувством благодарности, и росту, укреплению этого чувства как нельзя больше содействовал Жуковский. Впоследствии боязнь оказаться неблагодарным не раз сковывала стремление Пушкина разорвать тягостные обязательства. «Я не хочу, чтобы могли меня подозревать в неблагодарности: это хуже либерализма» — писал однажды Пушкин.

Но Жуковский мощно влиял и на политическое миросозерцание Пушкина. Если на один момент воспользоваться привычными теперь терминами, то придется сказать, что в 1831 году убеждения Пушкина достигли зенита своей правизны: после 1831 года они подвергались колебаниям, но всегда влево. Политические обстоятельства этого года дали большую пищу для политических размышлений; мысли Жуковского и Пушкина совпали удивительнейшим образом. Недаром их политические стихотворения появились в одной брошюре, и Жуковский сообщал А. И. Тургеневу: «Нас разом прорвало, и есть от чего». Есть указания на то, что «Клеветникам России» написано по предложению Николая Павловича, что первыми слушателями этого стихотворения были члены царской семьи. «Граф В. А. Васильев сказывал (Бартеневу), что, служа в 1831 году в лейб-гусарах, однажды летом он возвращался часу в четвертом утра в Царское село и, когда проезжал мимо дома Китаевой, Пушкин зазвал его в раскрытое окно к себе. Граф Васильев нашел поэта за письменным столом в халате, но без сорочки (так он привык, живучи на юге). Пушкин писал тогда свое послание «Клеветникам России» и сказал молодому графу, что пишет по желанию государя». Поэт отражал, несомненно, мыс-

ли и настроения тесного придворного круга. Князь Вяземский, ближайший приятель Пушкина, весьма осведомленный об эволюции его политических взглядов, был горестно поражен политическими стихотворениями Пушкина 1831 года: взгляды Пушкина были неожиданностью для Вяземского, хотя со времени разлуки, с от'езда Пушкиных из Москвы, прошло всего каких-нибудь три месяца. Читатели же и почитатели Пушкина, которым была неизвестна внутренняя жизнь Пушкина, судили несправедливо и грубо, делая выводы из фактов внешней жизни, узнавая о назначении его на службу, о близости ко двору. Близость, конечно, мнимая: Пушкин был близок к Жуковскому и, только по Жуковскому, — ко двору. Таков резкий отзыв Н. А. Мельгунова в письме к С. П. Шевыреву от 21 декабря 1831 года. А этот отзыв не единичный: «Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши. Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение даже как к поэту. Ибо одно с другим неразлучно. Я не говорю о Пушкине, творце «Годунова» и пр.; то был другой Пушкин, то был поэт, подававший великие надежды и старавшийся оправдать их. Теперешний же Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща, который, вместо того, чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств, для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин и, признаюся, мне весьма жаль этого. О, честолюбие и златолюбие!»

Нельзя отрицать того, что общие черты были и раньше в политических взглядах Жуковского и Пушкина, но полного тождества не было: оно было создано лишь подчинением Пушкина политической мыс-



Петербург. Невский проспект 1820-х годов

С гравюры из собрания В. Н. Аргутинского-Долгорукова

ли Жуковского. Но это подчинение приводило Пушкина не только к зависимости теоретического характера, но и к зависимости чисто практической, ибо центральный об'ект теоретической мысли воплощался на практике в лице императора Николая Павловича. Пушкин, конечно, не мог успокоиться на безропотном подчинении; он пробовал протестовать, — но являлся на сцену, как это было летом 1834 года, Жуковский и погашал протест призывом к чувству благодарности. Пушкин уходил в себя, замыкался и должен был тщательно заботиться в процессе творчества о сокрытии следов своей критической мысли. В «Медном всаднике» он так тщательно укрыл свою политическую мысль, что только путем внимательнейшего анализа ее начинают обнаруживать новейшие исследователи.

Итак, уже в первый год семейной жизни, в 1831 году, жизнь Пушкина приняла то направление, по которому она шла до самой его смерти. С годами становилось все тяжелее и тяжелее. Разноцветные нити зависимости переплелись в клубок. Уж трудно было разобрать, что от чего, с чего надо начать перемену жизни: бросить ли службу, скрыться от государевых милостей, вырвать жену и себя из светской суеты, раздостать деньги, разделаться с долгами? По временам Пушкин мог с добродушной иронией писать жене: «Какие вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать... Вы, бабы, не понимаете счастья независимости и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали про вас: «Hier madame une telle était décidément la plus belle et la mieux mise du bal»*.

* «Госпожа такая-то была решительно красивее всех и лучше всех одета на вчерашнем балу».

Но иногда Пушкин не выдерживал добродушного тона. Горьким воплем звучат фразы письма к жене: «Дай бог... плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость, особенно, когда лет 20 человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя». Эти слова писаны в мае 1834 года. В этот год Пушкин ясным оком взглянул на свою жизнь и решился на резкую перемену всего строя жизни, судорожно рванулся, но тут же был остановлен в своем движении Жуковским, который просто накричал на него. Кризис не наступил, а с 1834 года петли, образовавшиеся из нитей зависимости, медленно, но непрестанно затягивались.

Наталья Николаевна не была помощницей мужа в его замыслах о перемене жизни. В том же мае 1834 года Пушкин осторожно подготовлял жену к мысли об от'езде из Петербурга: «С твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе; и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства. Вот тебе и мораль».

Доводы Пушкина не были убедительны для Натальи Николаевны. Не покидавшая Пушкина мысль об от'езде в деревню не воспринималась его женой. Годом позже, в 1835 году, Наталья Николаевна отвергла предложение поездки в Болдино. Сестра Пушкина в характерных выражениях сообщала об этом

отказе своему мужу: «Они (т. е. Пушкины) не едут больше в Нижний, как предполагал Monsieur, потому что Madame об этом и слышать не желает».

В процессе закрепления нитей-петель, стягивавших Пушкина, Наталья Николаевна, быть может, бессознательно, не отдавая себе отчета и подчиняясь лишь своему инстинкту, играла важную роль. «Она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина», — говорит хорошо знавшая Пушкиных современница. Никогда не изменявшая, по ее мнению, чести, Наталья Николаевна была виновна в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж.

Но кто же, наконец, она, эта поразительная красавица? Какую душу облекала прелестная внешность? Мы уже упоминали, что почти все современные свидетельства о Наталье Николаевне Пушкиной говорят только об ее изумительной красоте и ни о чем больше: они молчат об ее сердце, ее душе, ее уме, ее вкусе. Перечтите письма князя Вяземского к А. И. Тургеневу, наполняющие огромные томы «Остафьевского архива»: вы найдете в них множество сообщений о красавицах, которыми всегда интересовался Вяземский; почти всякое сообщение дает одну-другую подробность к характеристике духовной личности, почти о каждой красавице — Авроре Мусиной-Пушкиной, А. В. Киреевой, о Долли Фикельмон и т. д. — из этих писем вы узнаете что-нибудь. Но сообщения о Пушкиной, крайне немногочисленные, говорят только об ее бальных успехах. Во всех свидетельствах о ней — не только князя Вяземского, но и всех других — не приведено ни одной ее фразы, не упомянуто ни об одном ее действии, поступке. Точно



Наталья Николаевна Пушкина

С акварели 1831 г. А. Брюллова

она — лицо без речей в драме, и вся ее роль сводится только к блистанию и затмеванию всех своей красотой. В этом молчании современников нет ничего загадочного: молчат, потому что нечего было сказать, нечего было отметить.

Нельзя не пожалеть о том, что в нашем распоряжении нет писем Натальи Николаевны, каких бы то ни было, а в особенности к Пушкину [3]. В настоящее время изображение личности Натальи Николаевны мы можем только проектировать по письмам к ней Пушкина. И вот, строя проекцию, что мы можем, например, сказать о вкусах Натальи Николаевны? Писем Пушкина к ней довольно много, и ни в одном из них Пушкин не поделился с ней ни одним своим литературным замыслом. Если он и пишет о своем творчестве, так только с точки зрения количественной, материальной, — какую выгоду ему принесет то или иное произведение! Необходимость творчества оправдывается в письмах материальными потребностями. О своей творческой, художественной деятельности Пушкин мог говорить со своими друзьями — князем Вяземским, Жуковским, с А. О. Смирновой, с Е. М. Хитрово, — с дипломатами, но с женой ему нечего было говорить об этой важнейшей стороне его жизни: ей это было безразлично или непонятно. Только непонятливостью Натальи Николаевны или ее нечувствительностью к литературе можно об'яснить решительное отсутствие каких-либо заметок литературного характера в письмах к ней Пушкина.

К литературе Наталья Николаевна относилась так же, как к театру. Укоряя как-то в письмах жену за праздную, ненужную поездку из имения в Калугу, Пушкин писал: «Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров,

скверно играющих старую, скверную оперу? Что за охота останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть с чернью губернский фейворок, — когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных»[4].

Точно так же ни из писем Пушкина, ни из каких-либо других источников мы ничего не узнаем об интересах Натальи Николаевны к живописи, к музыке.

Всем этим интересам неоткуда было возникнуть. Об образовании Натальи Николаевны не стоит и говорить. «Воспитание сестер Гончаровых (их было три) было предоставлено их матери, и оно, по понятиям последней, было безукоризненно, так как основами такового положены были основательное изучение танцев и знание французского языка лучше своего родного. Соблюдение строжайшей нравственности и обрядов православной церкви служило дополнением высокого идеала «московской барышни»[5]. Обстановка детства и девичьих лет Н. Н. Пушкиной отнюдь не содействовала пополнению образовательных пробелов. Знакомства и интересы — затхлого провинциального разбора. «Как я не люблю, — писал Пушкин, — все, что пахнет московской барышней, всё что не comme il faut* всё что vulgar**. Значит, московская барышня, какой и была девица Наталья Гончарова, — не comme il faut, vulgar.

В сравнении с такими представительницами высшего света, как А. О. Смирнова, Е. М. Хитрово, графиня Фикельмон или Карамзины, Наталья Николаевна была слишком проста, слишком «безобидна», по ироническому выражению Е. М. Хитрово.

* Благопристойно.
** Грубо, вызывающе.

Вспоминается рассказ А. О. Смирновой о жизни Пушкина в Царском. По утрам он работал один в своем кабинете наверху, а по вечерам отправлялся читать написанное к А. О. Смирновой; здесь он толковал о литературе, развивал свои литературные планы. А жена его сидела внизу за книжкой или за рукоделием: работала что-то для П. В. Нащокина. С ней он о своем творчестве не говорил. Дочь Н. Н. Пушкиной, А. П. Арапова, в воспоминаниях о своей матери, об'ясняя отсутствие литературных интересов у своей матери, ссылается на то, что Пушкин сам не желал посвящать жену в свою литературную деятельность [6]. Но почему не желал? Потому что не было и не могло быть отзвука. «Наталья Николаевна была так чужда всей умственной жизни Пушкина, что даже не знала названий книг, которые он читал. Прося привезти ему из его библиотеки Гизо, Пушкин об'яснял ей: «синие книги на длинных полках» [7].

Если из писем Пушкина к жене устранить сообщения фактического, бытового характера, затем многочисленные фразы, выражающие его нежную заботливость о здоровье и материальном положении жены и семьи, и по содержанию остающегося материала попытаться осветить духовную жизнь Н. Н. Пушкиной, то придется свести эту жизнь к весьма узким границам, к области любовного чувства на низшей стадии развития, к переживаниям, вызванным проявлениями обожания ее красоты со стороны ее бесчисленных светских почитателей. При чтении писем Пушкина, с первого до последнего, ощущаешь атмосферу пошлого ухаживания. Воздухом этой атмосферы, раздражавшей поэта, дышала и жила его жена. При скудости духовной природы главное содержание внутренней жизни Натальи Николаевны давал свет-

ско-любовный романтизм. Пушкин беспрестанно упрекает и предостерегает жену от кокетничания, а она все время делится с ним своими успехами в деле кокетства и беспрестанно подозревает Пушкина в изменах и ревнует его. И упреки в кокетстве, и изъявления ревности — неизбежный и досадный элемент переписки Пушкиных.

Покидая свою жену, Пушкин всегда пребывал за нее в беспокойстве — не только по обыкновенным основаниям (быть может, больна; быть может, материальные дела плохи), но и по более глубоким: не сделала ли она какого-либо ложного шага, роняющего ее и его в общем уважении? А ложные шаги она делала, — и нередко: то в отсутствие Пушкина дружится с графинями, с которыми неловко было кланяться при публике, то принимает человека, который ни разу не был дома при Пушкине, то принимает приглашение на бал в дом, где хозяйка позволяет себе невнимание и неуважение. Еще сильнее волновало и беспокоило Пушкина опасение, как бы его жена не зашла далеко в своем кокетстве. «Ты виновата кругом... кокетничаешь со всем дипломатическим корпусом». «Смотри, женка! Того и гляди избалуешься без меня, забудешь меня, искокетничаешься»... «Не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась»... «Не кокетничай с Соболевским»... «Не стращай меня, не кокетничай с царем, ни с женихом княжны Любы»... Такими фразами пестрят письма Пушкина. Один раз Пушкин подробно изложил свой взгляд на кокетство: «Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри: не даром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкою, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая

Письмо Н. Н. Пушкиной к мужу. 1834 год

Перевод. С трудом решаюсь написать тебе, так как ничего не имею тебе сказать и только что на-днях сообщила тебе все новости через одну оказию. Maman хотела было передать свое письмо со следующей почтой, но побоялась, что ты испытаешь некоторое беспокойство, оставаясь некоторое время без известий. Это заставило ее превозмочь сонливость и усталость, которые ее удручают так же, как и меня, так как мы были целый день на воздухе. Ты увидишь из письма maman, что мы все чувствуем себя очень хорошо, поэтому я тебе ничего на этот счет не пишу, кончаю письмо, нежно целуя тебя, при первом случае намереваюсь написать тебе побольше.

Итак прощай, будь здоров, не забывай нас.

тебе...; есть чему радоваться! Не только тебе, но и Прасковье Петровне легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокетства. Было бы корыто, а свиньи будут. К чему тебе принимать мужчин, которые за тобою ухаживают? не знаешь, на кого нападешь. Прочти басню А. Измайлова о Фоме и Кузьме. Фома накормил Кузьму икрой и селедкой. Кузьма стал просить пить, а Фома не дал. Кузьма и прибил Фому, как каналью. Из этого поэт выводит следующее нравоучение: красавицы! не кормите селедкой, если не хотите пить давать: не то можете наскочить на Кузьму». Смягчая выражения, в следующем письме Пушкин возвращается к теме о кокетстве: «Повторяю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейственного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: уважения». В кокетстве раздражала Пушкина больше всего общественная, так сказать, сторона его. Интимная же сторона, боязнь быть «кокю» * не волновала так Пушкина. Эту особенность взглядов Пушкина на кокетство надо подчеркнуть и припомнить при изложении истории столкновения его с Дантесом.

У Пушкина был идеал замужней женщины, соответствие которому он желал бы видеть в Наталье Николаевне, — Татьяна замужем:

Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,

---

* Рогоносцем.

Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Всё тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...

. . . .

С головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.

«Кокетничать я тебе не мешаю, — обращался Пушкин к жене; но требую от тебя холодности, благопристойности, важности — не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему». И еще: «Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышней, всё, что не comme il faut, все что vulgar... Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой аристократический тон изменился, разведусь, вот-те христос». Но, несмотря на то, что жизнь в петербургском свете сильно преобразила московскую барышню Гончарову, ей было далеко до пушкинского идеала. Ложные шаги, которые ей ставил в строку Пушкин, снисходительная податливость на всяческие ухаживания делали этот идеал для нее недостижимым.

Как бы в ответ на постоянные напоминания мужа о кокетстве, Наталья Николаевна свои письма наполняла из'явлениями ревности; где бы ни был ее муж, она подозревала его в увлечениях, изменах, ухаживаниях. Она непрестанно выражала свою ревность и к прошлому, и к настоящему. Будучи невестой, она рев-

новала Пушкина к какой-то княгине Голицыной; когда Пушкин оставался в Петербуге, подозревала его в увлечении А. О. Смирновой; обвиняла его в увлечении неведомой Полиной Шишковой; опасалась его слабости к Софье Николаевне Карамзиной; сердилась на него за то, что он будто бы ходит в Летний сад искать привязанностей; не доверяла доброте его отношений к Евпраксии Вульф; думала в 1835 году, что между Пушкиным и А. П. Керн что-то есть... Когда читаешь из письма в письмо о многократных намеках, продиктованных ревностью Натальи Николаевны, то испытываешь нудную скуку однообразия и останавливаешься на мысли: а ведь это даже и не ревность, а просто привычный тон, привычная форма! Ревновать в письмах значило придать письму интересность. Ревность в ее письмах — манера, а не факт. Подчиняясь тону ее писем, и Пушкин усвоил особенную манеру писать о женщинах, с которыми он встречался. Он пишет о любой женщине, как будто наперед знает, что Наталья Николаевна обвинит его в увлечениях и изменах, и он заранее ослабляет силу ударов, которые будут на него направлены. Он стремится изобразить встреченную им женщину возможно непривлекательнее как с внешней, так и с внутренней стороны. Таковы отзывы его об А. А. Фукс, об А. П. Керн и др. Справедливо говорит автор, собравший указания на ревность Н. Н. Пушкиной: «(О женщинах) Пушкин писал (в письмах к жене) не для себя и потомства, а для жены, и судить по ним об его истинных отношениях к людям, особенно к женщинам, не следует». С другой стороны, нельзя не отметить отсутствие хороших отзывов о женщинах в письмах Пушкина к жене.

Не вдаемся в разбор вопроса, каковы фактические

основания для ревности Н. Н. Пушкиной. Княгиня В. Ф. Вяземская передавала П. И. Бартеневу, что в истории с Дантесом «Пушкин сам виноват был: он открыто ухаживал сначала за Смирновой, потом за Свистуновой (рожд. графиней Соллогуб). Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа. Сама она оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено». Верно, во всяком случае, то, что любовь Пушкина к жене в течение долгого времени была искреннейшим и заветнейшим чувством. А. Н. Вульф жестоко ошибся, предположив в 1830 году, что первым делом Пушкина будет развратить жену. Вульф, действительно, хорошо знал Пушкина в его отношениях к женщинам и ярко изобразил в своем дневнике полный своеобразной эротики любовный быт своих современников (или, по крайней мере, группы, кружка); примером же и образцом он считал Пушкина. Но Вульф не знал всего о любовном чувстве: ему была ведома феноменология пушкинской любви, но ее «вещь в себе» была для него за семью печатями. Пушкин с стыдливой застенчивостью скрывал свои чувства от всех и — от Вульфа. Этот «развратитель» упрашивает жену: «Не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе вообраэкения». Не станем приводить доказательств любви Пушкина к жене: их сколько угодно и в письмах, и в произведениях. Надо только внести поправки: с любовью к жене уживались увлечения другими женщинами, а затем в истории его чувств к жене был свой кризис.

Но, принимая к сведению свидетельства об увлечениях Пушкина, вроде рассказов княгини Вяземской, мы все-таки думаем, что чувство ревности у Н. Н. Пушкиной не возникало из душевных глубин,

а вырастало из настроений порядка элементарного: увлечение Пушкина, его предпочтение другой женщине было тяжким оскорблением, жестокой обидой ей, первой красавице, заласканной неустанным обожанием света, двора и самого государя. Итак, ревность Н. Н. Пушкиной — или манера в письмах, или оскорбленная гордость красивой женщины.

Но попробуем углубиться в вопрос об отношениях Пушкиных, попробуем измерить глубину чувства Натальи Николаевны. Пушкин имел дар строгим и ясным взором созерцать действительность в ее наготе в страстные моменты своей жизни. С четкой ясностью он оценил отношение к себе девицы Натальи Гончаровой, от первой встречи с которой у него закружилась голова. Его горькое признание в письме к матери невесты (в апреле 1830 г.) не обратило достаточного внимания биографов Пушкина, а оно — документ первоклассного значения для истории его семейной жизни. В нем нужно взвесить и оценить каждое слово: «Только привычка и продолжительная близость может доставить мне ее (Натальи Николаевны) привязанность; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство ее сердечного спокойствия и равнодушия».

Пушкин сознавал, что он не нравится семнадцатилетней московской барышне, и надеялся снискать ее привязанность (не любовь!) по праву привычки и продолжительной близости. Самое согласие ее на брак было для него символом свободы ее сердца и... равнодушия к нему.

В своей великой скромности Пушкин думал, что в нем нет ничего, что могло бы понравиться блестящей

красавице, и в моменты работы совести приходил к сознанию, что Наталью Николаевну отделяет от него его прошлое. В один из таких моментов создан набросок:

Когда в об'ятия мои
Твой стройный стан я заключаю
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю, —
Безмолвно, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой.
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья—
Уныло слушаешь меня.

Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей;
Кляну речей любовный шопот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот...

Не прошлое Пушкина отдаляло от него Наталью Николаевну. С горьким признанием Пушкина о равнодушии к нему невесты надо тотчас же сопоставить теснейшим образом к признанию примыкающее свидетельство о чувствах к нему молодой жены:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих об'ятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом всё боле, боле —
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

Пытаются внести ограничения в это признание. Так, Н. О. Лернер, возражая против толкования В. Я. Брюсова, рассуждает: «Брюсов видит здесь доказательство того, что Н. Н. Пушкина была чужда своему мужу. Между тем, это признание говорит, самое большее, лишь о физиологическом несоответствии супругов в известном отношении и холодности сексуального темперамента молодой женщины».

Неправильность этого рассуждения обнаруживается при сопоставлении признания в стихах с признанием в прозе. Если в начале любви было равнодушие с ее стороны и надежда на привычку и близость с его стороны, то откуда же возникнуть страсти? откуда быть соответствию восторгов? Да, Наталья Николаевна исправно несла свои супружеские обязанности, рожала мужу детей, ревновала, и при всем том можно утверждать, что сердце ее не раскрылось, что страсть любви не пробудилась. Дремотой было сковано ее чувство. Любовь Пушкина не разбудила ни ее души, ни ее чувства. Можно утверждать, что круг, заключавший внутреннюю жизнь Пушкина, и круг, заключавший внутреннюю жизнь Натальи Николаевны, не пересеклись и остались эксцентрическими.

Наталья Николаевна дала согласие стать женой Пушкина — и оставалась равнодушна и спокойна сердцем; она стала женой Пушкина — и сохранила сердечное спокойствие и равнодушие к своему мужу.

4

Зимний сезон 1833—1834 года был необычайно обилен балами, раутами. В этот сезон Наталья Николаевна Пушкина получила возможность бывать на дворцовых балах. «Двору хотелось, чтобы она танцовала в Аничкове», — и Пушкин был пожалован, в самом конце 1833 года, в камер-юнкеры. Впрочем, кончился сезон для Натальи Николаевны плохо. «Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла, — писал Пушкин П. В. Нащокину в начале марта 1834 года. — Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На масленице танцовали уже два раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед великим постом. Думаю: славу богу! балы с плеч долой! Жена во дворце. Вдруг смотрю — с нею делается дурно — я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает».

15 апреля Наталья Николаевна уехала с детьми в калужскую деревню своей матери, отчасти для поправления расстроенного здоровья, а главным образом для свидания со своими сестрами. Обе сестры, Александра и Екатерина Гончаровы, были старше Натальи Николаевны, сидели в девах, почти теряя надежду выйти замуж, и ужасно страдали от капризов своей матери, в ужасающей обстановке семейной жизни. По выражению Пушкина, мать, Наталья Ивановна, ходуном ходила около дочерей, крепко-накрепко заключенных.

Н. Н. Пушкина, беспредельно любившая сестер, во время летнего пребывания в деревне раздумалась над устройством их судьбы и решила увезти их от матери в Петербург, пристроить во дворец фрейлинами и выдать замуж. Своими проектами она делилась с мужем, но он отнесся к ним без всякого увлечения. Он

был решительно против того, чтоб его жена хлопотала о помещении своих сестер во дворец. «Подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтобы пускаться в просительницы... Мой совет тебе и сестрам — быть подалее от Двора: в нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться». По поводу планов Натальи Николаевны выдать одну сестру за Хлюстина, а другую за Убри Пушкин шутливо пишет жене: «Ничему не бывать! оба влюбятся в тебя, — ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоем присутствии». Наконец, к решению жены взять сестер в Петербург Пушкин отнесся отрицательно: «Эй, женка, смотри... Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети, покамест малы; родители, когда уж престарелы, а то хлопот не оберешься, и семейственного спокойствия не будет».

Доводы Пушкина не убедили Наталью Николаевну, и осенью 1834 года сестры ее — Азинька и Коко — появились в Петербурге и поселились под одной кровлей с Пушкиными. Мать Пушкина сообщала дочери Ольге Сергеевне об этом событии 7 ноября 1834 года: «Натали тяжела, ее сестры вместе с нею, нанимают пополам с ними очень хороший дом. Он (Пушкин) говорит, что в материальном отношении это его устраивает, но немного стесняет, так как он не любит, чтобы расстраивались его хозяйские привычки». Сестры, несомненно, способствовали заполнению досугов Натальи Николаевны, тотчас же по приезде вошли в круг ее жизни и вместе с нею стали выезжать в свет [1].

Красота Натальи Николаевны рядом с сестрами



Петербургский бал 1830-х годов
С картины Г. Г. Гагарина

казалась еще ослепительнее. Вот впечатления Ольги Сергеевны Павлищевой: «Александр представил меня своим женам: теперь у него целых три. Они красивы, его невестки, но они ничто в сравнении с Натали, которую я нашла очень похорошевшей. У нее теперь прекрасный цвет лица и она чуть пополнела: единственное, чего ей нехватало».

Старшая — Екатерина Николаевна, «высокая, рослая» [2], «далеко не красавица, представляла собою довольно оригинальный тип скорее южанки с черными волосами» [3]. Вскоре по приезде в Петербург, 6 декабря 1834 года, она была взята, по желанию Н. К. Загряжской, фрейлиной ко двору.

Средняя — Александра Николаевна [4], по словам А. П. Араповой, «высоким ростом и безукоризненным сложением подходила к Наталье Николаевне, но черты лица, хотя и напоминавшие правильность гончаровского склада, являлись как бы его карикатурой. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну, чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней в несомненно косой взгляд, — одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне». Это свидетельство А. П. Араповой находит полное подтверждение во впечатлениях баронессы Е. Н. Вревской, которая видела двух сестер — Наталью и Александру — в декабре 1839 года: «Пушкина в полном смысле слова восхитительна, но зато ее сестра (Александра) показалась мне такой безобразной, что я разразилась смехом, когда осталась одна в карете с моей сестрой». Княгиня Вяземская говорила П. И. Барте-

неву, что Александра Николаевна должна была заняться хозяйством и детьми, так как выезды и наряды поглощали все время ее сестер. Пушкин, по словам княгини, подружился с ней. Анна Николаевна Вульф 12 февраля 1836 года сообщала своей сестре Евпраксии, со слов сестры Пушкина, Ольги Сергеевны, что Пушкин очень сильно волочится за своей невесткой Александрой и что жена стала отъявленной кокеткой.

Сама Наталья Николаевна в 1834—1835 годах была в апогее своей красоты. Даем место двум восторженным отзывам современников, пораженных ее красотой. Один из них встретил Наталью Николаевну в салоне князя В. Ф. Одоевского, и эта встреча навсегда врезалась в его память. «Вдруг — никогда этого не забуду — входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал. Благородные, античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком».

Другой отзыв принадлежит графу В. А. Соллогубу: «Много видел я на своем веку красивых женщин, еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая; с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая кра-

савица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид всегда она была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге... она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но ее женщины находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота, рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень многих молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда собственно ее даже не видевших».

И такие невинные обожатели, как юный граф В. А. Соллогуб, привлекали раздраженное внимание Пушкина: в начале 1836 года Пушкин посылал вызов и ему. Но опытные, светские ловеласы были, конечно, страшнее: для них само имя Пушкина не имело значения. Ведь Пушкин был какой-то там сочинитель и не чиновный камер-юнкер! Впрочем, в этом взгляде сходилась с ними и жена Пушкина. По заключению недружелюбно настроенного наблюдателя, барона М. А. Корфа, «прелестная жена, которая любила славу свего мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире и — по странному противоречию — пользуясь всеми плодами литературной известности Пушкина, исподтишка немножко гнушалась тем, что она, светская женщина par excellence*, — привязана к мужу homme de lettres**, — эта жена, с семействен-

---

* По преимуществу.
** Литератору.

ными и хозяйственными хлопотами привила к Пушкину ревность»...

Самое близкое участие в семейной жизни Пушкиных принимала родная тетка сестер — Екатерина Ивановна Загряжская, фрейлина высочайшего двора (род. в 1779 г., ум. в 1842 г.). Она была самым близким лицом в доме Пушкиных и в развитии дуэльного недоразумения в ноябре 1836 года играла видную роль, а потому не лишнее сказать о ней несколько слов.

Тетушка заменила племянницам мать, устраивала их положение при дворе и в свете, оказывала им материальную поддержку, была для них моральным авторитетом, руководительницей и советчицей — и пользовалась огромным влиянием. Особенно она любила Наталью Николаевну, баловала ее, платила за ее наряды. Как-то взгрустнув о своем материальном положении, Пушкин писал (21 сентября 1835 г.) жене: «У меня ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Всё держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны». Наталья Николаевна платила тетке такой любовью и преданностью, что мать ее, Наталья Ивановна Гончарова, ревновала свою дочь к своей сестре. Если судить по письмам Пушкина жене, он хорошо относился к Екатерине Ивановне за ее любовь к своей жене. Он доверялся Загряжской и оставлял жену на тетку, когда уезжал из Петербурга. В письмах он не забывает переслать ей почтительный поклон, поцеловать с ермоловской нежностью ручку и поблагодарить ее за заботы о жене. Вот несколько отрывков из писем Пушкина к жене, рисующих отношения Пушкиных к Екатерине Ивановне Загряжской: «К тебе пришлют для подписания доверенность. Катерина Ивановна научит тебя,

как со всем этим поступить» (3 октября 1832 г.). «Благодари мою бесценную Катерину Ивановну, которая не дает тебе воли в ложе. Целую ей ручки и прошу, ради бога, не оставлять тебя на произвол твоих обожателей» (21 октября 1833 г.). «А Катерина Ивановна? как это она тебя пустила на божию волю» (30 октября 1833 г.). Когда уезжала Наталья Николаевна в калужскую деревню, тетка тревожилась и постоянно справлялась о ней у Пушкина. «Тетка тебя очень целует и по тебе хандрит» (22 апреля 1834 г.). «Целые девять дней от тебя не было известий. Тетка перепугалась» (28 апреля 1834 г.). «Зачем ты тетке не пишешь? Какая ты безалаберная!» (11 июня 1834 г.). «Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною в карете: я ей жаловался на свое житье-бытье, а она меня утешала» (11 июля 1834 г.). Любовь Загряжской к Наталье Николаевне была хорошо известна в свете и при дворе. Когда Пушкин представлялся императрице Александре Федоровне, императрица спросила у него о здоровье уехавшей жены и дабавила: «Sa tante est bien impatiente de la voir à bonne santé, la fille de son coeur, sa fille d'adoption»*... О близком участии Загряжской в семейных делах Пушкиных дает определенное свидетельство сестра Пушкина Ольга Сергеевна: «Загряжская бывала всякий день в доме Пушкиных, делала из Натальи Николаевны все, что хотела, имела большое влияние на Пушкина».

Так складывались обстоятельства семейной жизни Пушкина с зимы 1834—1835 года. Но еще до женитьбы своей, будучи женихом, Пушкин, отвечая Плетневу на его замечания о свете, писал 29 сентяб-

* «Тетке не терпится поскорей увидеть здоровой свою любимицу, свою приемную дочь».

ря 1830 года: «Все, что ты говоришь о свете, справедливо; тем справедливее опасения мои, чтоб тетушки да бабушки, да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Алеко Плетнев, как гуляет вольная луна etc ». Пушкин вспоминает те оправдания женской неверности, которые он вложил в «Цыганах» в уста старику, утешающему Алеко:

Утешься, друг; она дитя;
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна:
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она;
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит,
И вот, уж перешла в другое,
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься...

5

Дантес прибыл в Петербург в октябре 1833 года, в гвардию был принят в феврале 1834 года. По всей вероятности, тотчас же по приезде (а, может быть, только по зачислении в гвардию), при содействии барона Геккерена, Дантес завязал светские знакомства и появился в высшем свете.

Если Дантес не успел познакомиться с Н. Н. Пушкиной зимой 1834 года до наступления великого поста, то в таком случае первая встреча их приходится на осень этого года, когда Наталья Николаевна

блистала своей красотой в окружении старших сестер [1]. Почти с этого же времени надо вести историю его увлечения [2].

Ухаживания Дантеса были продолжительны и настойчивы. Впоследствии барон Геккерен в письме к своему министру иностранных дел от 30 января 1837 года сообщал: «Уже год, как мой сын отличает в свете одну молодую и красивую женщину, г-жу Пушкину». Сам Пушкин упоминает о двухлетнем постоянстве, с которым Дантес ухаживал за его женой.

Встретили ли его ухаживания какой-либо отклик, или остались безответными? Решения этого вопроса станем искать не у врагов Пушкина, а у него самого, у его друзей, наконец, в самых событиях.

В письме к барону Геккерену Пушкин пишет: «Я заставил вашего сына играть столь плачевную роль, что моя жена, пораженная такой плоскостью, не была в состоянии удержаться от смеха, и *чувство, которое она, может быть, испытывала к этой возвышенной страсти*, угасло в презрении». Уже намек, содержащийся в подчеркнутых строках, приводит к заключению, что Н. Н. Пушкина не осталась глуха и безответна к чувству Дантеса, которое представлялось ей возвышенной страстью.

В черновике письма к Геккерену Пушкин высказывается еще решительнее и определеннее: «Поведение вашего сына было мне хорошо известно... но я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда сочту это удобным. *Я знал, что хорошая фигура, несчастная страсть, двухлетнее постоянство всегда произведут вконце концов впечатление на молодую женщину*, и тогда муж, если он не дурак, станет вполне естественно доверенным своей жены и хозяи-

ном ее поведения. Я признаюсь вам, что несколько беспокоился».

Князь Вяземский, упоминая в письме к великому князю Михаилу Павловичу об об'яснениях, которые были у Пушкина с женой после получения анонимных писем, говорит, что «невинная в сущности жена призналась в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена».

Можно из этих слов заключить, что Наталья Николаевна «увлеклась» красивым и модным кавалергардом, — но как сильно было ее увлечение, до каких степеней страсти оно поднялось? Что оно не было только данью легкомыслия и ветрености, можно судить по ее отношению к Дантесу после тяжелого инцидента с дуэлью в ноябре месяце, после сватовства и женитьбы Дантеса на сестре Натальи Николаевны. Наталья Николаевна знала гневный и страстный характер своего мужа, видела его страдания и его бешенство в ноябре месяце 1836 года; казалось бы, всякое легкомыслие и всякая ветреность при таких обстоятельствах должны были исчезнуть навсегда. И что же? Вяземский, озабоченный охранением репутации Натальи Николаевны, все-таки не нашел в себе силы обойти молчанием ее поведение после свадьбы Дантеса: «Она должна бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее нехватило характера, — и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккереном, как и до его свадьбы; тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности».

Ясно, кажется, что сила притяжения, исходившего от Дантеса, была слишком велика, и ее не ослабили

ни страх перед мужем, ни боязнь сплетен, ни даже то, что чувственные симпатии Дантеса, до сих пор отдававшиеся ей всецело, оказались поделенными между ней и ее сестрой. Дантес взволновал Наталью Николаевну так, как ее еще никто не волновал. Il troublé* — сказал Пушкин о Дантесе и своей жене. Любовный пламень, охвативший Дантеса, опалил и ее, и она, стыдливо холодная красавица, пребывавшая выше мира и страстей, покоившаяся в сознании своей торжествующей красоты, потеряла свое душевное равновесие и потянулась к ответу на чувство Дантеса.

В конце концов, быть может, Дантес был как раз тем человеком, который был ей нужен. Ровесник по годам, он был ей пара по внешности своей, по внутреннему своему складу, по умственному уровню. Что греха таить: конечно, Дантес должен был быть для нее интереснее, чем Пушкин. Какой простодушной искренностью дышат ее слова княгине В. Ф. Вяземской в ответ на ее предупреждения и на ее запрос, чем может кончиться вся эта история с Дантесом! «Мне с ним (Дантесом) весело. Он мне просто нравится, будет то же, что было два года сряду». Княгиня В. Ф. Вяземская об'ясняла, что Пушкина чувствовала к Дантесу род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным.

Итак, сердца Дантеса и Натальи Николаевны Пушкиной с неудержимой силой влеклись друг к другу. Кто же был прельстителем и кто завлеченным? Друзья Пушкина единогласно выдают Наталью Николаевну за жертву Дантеса. Этому должно было бы поверить уже и потому, что она не была натурой

---

* Он смутил ее покой.

активной. Но были, вероятно, моменты, когда в этом поединке флирта доминировала она, возбуждая и завлекая Дантеса все дальше и дальше по опасному пути. Можно поверить, по крайней мере, барону Геккерену, когда он, позднее, после смерти Пушкина, предлагал допросить Н. Н. Пушкину и, не имея возможности предвидеть, что подобные расспросы не будут допущены, заявлял: «Она (Пушкина) сама может засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела; она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере я на это надеялся».

Какую роль играл в сближении Дантеса и Пушкиной голландский посланник барон Геккерен, ставший с лета 1836 года приемным отцом француза? Был ли он сводником, старался ли он облегчить своему приемному сыну сношения с Пушкиной и привести эпизод светского флирта к вожделенному концу? Пушкин, друзья его и император Николай Павлович отвечали на этот вопрос категорическим да. У всех них единственным источником сведений о роли Геккерена было свидетельство Натальи Николаевны. «Она раскрыла мужу, — писал князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, — все поведение молодого и старого Геккеренов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть». «Хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, — сообщал император Николай I своему брату, — столь же мало оправдывали поведение Дантеса, а в особенности гнусного его отца... Порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам

сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто умирал к ней любовью... Жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих».

Пушкин самому Геккерену так характеризовал его роль: «Вы, представитель коронованной особы, — вы были отеческим сводником вашего побочного сына... Все его поведение, вероятно, было направлено вами: вы, вероятно, нашептывали ему те жалкие любезности, в которых он рассыпался, и те пошлости, которые он писал. Подобно развратной старухе, вы отыскивали по всем углам мою жену, чтобы говорить ей о любви вашего сына, и когда он, больной в с...., оставался дома, принимая лекарства, вы уверяли, что он умирает от любви к ней, вы бормотали ей: «отдайте мне моего сына».

На личности барона Геккерена мы уже останавливались, но согласимся сейчас с самыми худшими о нем отзывами, согласимся в том, что барон Геккерен был человек низких нравственных качеств; согласимся, что он не остановился бы ни перед какой гадостью, раз она была средством к известной цели. Но все, что мы о нем знаем, не дает нам права на заключение, что он совершал гадости ради них самих. Спрашивается, какой для него был смысл в сводничестве своему приемному сыну? Еще до усыновления он мог бы секретно оказывать Дантесу свое содействие, свое посредничество, но, связав с ним свое имя, он не стал бы рисковать своим именем и положением. Светский скандал был неизбежен, все равно — завершился бы флирт Дантеса тайной связью и он увез бы Наталью Николаевну за границу, или же Дантес и его приемный отец добились бы развода и второго брака для Н. Н. Пушкиной. Второе пред-

положение, конечно, чистая утопия; разводы были в то время очень затруднены, и Николай Павлович не был их покровителем. Но в том или другом случае барон Геккерен, полномочный нидерландский министр, представитель интересов своего государства, подвергал не только словесному сраму, но и серьезному риску всю свою карьеру. Надо признать, что в жизненные расчеты барона Геккерена отнюдь не могло входить поощрение любовных ухаживаний Дантеса. А если мы приложим к барону Геккерену ту мерку, с которой подходили к нему многие из обвинявших его в сводничестве, и если на минуту согласимся с ними в том, что любовь Геккерена к Дантесу заходила далеко за пределы отцовской и была любовью мужчины к мужчине, то тогда обвинение в сводничестве станет совсем невероятным. И если Геккерен был действительно человек извращенных нравов, то, ревнуя Н. Н. Пушкину к Дантесу, не сводить его с ней он был должен, а разлучать во что бы то ни стало.

До нас дошли оправдания Геккерена как раз против обвинений в сводничестве. Защищаясь от них, он ссылается на признания Пушкиной и на свидетельства лиц посторонних. «Я будто бы подстрекал моего сына к ухаживаниям за г-жею Пушкиной. Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой... Если г-жа Пушкина откажет мне в этом признании, то я обращусь к свидетельству двух высокопоставленных дам, бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь» [3]. Трудно допустить, чтобы Геккерен писал эти признания графу Нессельроде на ветер, заранее будучи уверен, что ни Пушкину, ни высокопоставленных дам не

спросят: ведь он знал, что его письма к графу Нессельроде будут известны императору Николаю, и должен был считаться с возможностью того, что император возьмет да и прикажет расспросить всех указанных им свидетельниц по делу! Наконец, Геккерен в своем оправдании указывает на один любопытный факт, остающийся невыясненным для нас и по сей день: «Мне скажут, что я должен был бы повлиять на сына? Г-жа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына, — письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки»[4].

Если поверить Геккерену, то этот факт с письмом заставляет многое в истории Дантеса и Н. Н. Пушкиной отнести за ее счет. К вышеприведенным словам Геккерен делает ехидное добавление: «Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы доказать мужу и родне, что она никогда не забывала своих обязанностей». Итак, следуя соображениям здравого смысла, мы более склонны думать, что барон Геккерен не повинен в сводничестве, скорее всего он действительно старался о разлучении Дантеса и Пушкиной. Вспоминается одна фраза из письма Геккерена к Дантесу, писанного из Петербурга после высылки последнего за границу: «Боже мой, Жорж, что за дело оставил ты мне в наследство! А все недостаток доверия с твоей стороны. Не скрою от тебя, меня огорчило это до глубины души; не думал я, что заслужил от тебя такое отношение». Отношения, очерченные в этих строках, не позволяют принять огульно утверждение о сводническoй роли барона Геккерена.

Ухаживания Дантеса за Н. Н. Пушкиной стали

сказкой города. О них знали все и с пытливым вниманием следили за развитием драмы[5]. Свет с зловещим любопытством наблюдал и ждал, чем разразится конфликт. Расцвет светских успехов Натальи Николаевны больно поражал сердце поэта. В марте 1836 года Пушкина была в наибольшей моде в петербургском свете, а Пушкин внимательным и близким наблюдателям казался все более и более скучным и эгоистичным. В октябре того же года, т. е. накануне рассылки пасквилей, в Петербурге говорили о Пушкиной гораздо больше, чем о ее муже. Анна Николаевна Вульф признавала, что о Пушкине в Тригорском больше говорили, чем в Петербурге. И никто из видевших не подумал о том, что надо помочь Пушкину, надо предупредить возможный роковой исход. «Вашему императорскому высочеству, — писал после смерти поэта князь Вяземский Михаилу Павловичу, — небезызвестно, что молодой Геккерен ухаживал за г-жею Пушкиной. Это неумеренное и довольно открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа». Михаилу же Павловичу писал тоже после смерти поэта и император Николай: «Давно ожидать должно было, что дуэлью кончится их неловкое положение. И этот монарх, считавший для себя все позволенным, не сделал ровно ничего к предупреждению рокового исхода. П. И. Бартенев слышал от графа В. Ф. Адлерберга о его попытке устранить столкновение Пушкина с Дантесом: «Зимой 1836—1837 гг. на одном из бывших вечеров граф В. Ф. Адлерберг увидел, как стоявший позади Пушкина молодой князь П. В. Долгорукий кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами... Находясь в постоянных дружеских сношениях с Жуков-

ским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслью о сем последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выражал желание проехаться на Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к великому князю Михаилу Павловичу (который тогда был главнокомандующим Гвардейским корпусом) и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало бы хоть на время удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали там украшением балов. Он подкупал и своим острословием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную графом Адлербергом, не успели привести в исполнение».

Неумеренное и довольно открытое ухаживание Дантеса за Н. Н. Пушкиной порождало сплетни в гостиных. Дантес и Пушкина встречались на балах, в великосветских гостиных. Местом встреч был также и дом ближайших друзей Пушкина, князей Вяземских. Хозяйка дома, обязанная принимать и Дантеса и Пушкина, была поставлена в двусмысленное положение. «Н. Н. Пушкина бывала очень часто, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Геккерен, про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина очень ему нравится. Оберегая честь своего дома, княгиня-мать напрямик об'явила нахалу-французу, что она просит его свои ухаживания за женою Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно — приказать швейцару, коль скоро у под'езда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена. После

этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных».

У Карамзиных Дантес был принят наилучшим образом. В особенно дружеских отношениях он был с Андреем Николаевичем Карамзиным: после смерти Пушкина А. Н. Карамзин должен был употребить усилие, дабы не стать вновь на такую же дружескую ногу, как было раньше [6].

Мы уже говорили о том, что обвинения Геккерена в сводничестве вряд ли имеют под собой почву. Но были добровольцы, принявшие на себя эту гнусную обязанность. К таковым молва упорно причисляет Идалию Григорьевну Полетику, незаконную дочь графа Григория Александровича Строганова. «Она была известна, — говорит один современник, князь А. В. Мещерский, — в обществе, как очень умная женщина, но с весьма злым языком, в противоположность своему мужу, которого называла «божьей коровкой». «Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех» [7]. С этой Идалией подружилась Наталья Николаевна; сближению сильно содействовало то обстоятельство, что отец Идалии, граф Г. А. Строганов, был двоюродным братом матери Пушкиной, Натальи Ивановны Гончаровой, рожденной Загряжской. Муж Полетики — в то время ротмистр Кавалергардского полка, был приятелем Дантеса. Идалия Полетика дожила до преклонной старости (умерла в 1889 г.) и до самой смерти питала совершенно исключительное чувство ненависти к самой памяти Пушкина [8].

Причины этой ненависти нам неизвестны и непонятны. Редкие упоминания о Полетике в письмах

Пушкина к жене рисуют довольно дружественные отношения Пушкиных к Идалии. Но Идалия не платила им той же монетой. Княгиня В. Ф. Вяземская обвиняла Идалию Полетику в том, что она сводила Дантеса с Натальей Николаевной и предоставляла свою квартиру для свиданий. В последней главе истории дуэли мы еще встретимся с Полетикой.

Своеобразной пособницей Дантесу и Пушкиной явилась, по словам княгини В. Ф. Вяземской, и сестра Натальи Николаевны, девица Екатерина Гончарова. Она была влюблена в Дантеса и нарочно устраивала свидания своей сестры с Дантесом, чтобы только в качестве наперсницы повидать лишний раз предмет своей тайной страсти.

Пушкин знал об ухаживаниях Дантеса; он наблюдал, как крепло и росло увлечение Натальи Николаевны. До получения анонимных писем в ноябре он, повидимому, не пришел к определенному решению, как ему поступить в таких обстоятельствах. Вяземский писал впоследствии: «Пушкин, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, не воспользовался своей супружеской властью, чтобы во-время предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело к неслыханной катастрофе».

Сам Пушкин в письме к Геккерену пишет, что поведение его сына было ему давно известно, и что он не мог оставаться равнодушным; но до поры до времени он довольствовался ролью наблюдателя, откладывая свое вмешательство до удобного момента. В Пушкине сидел человек XVIII века, рационалист, действующий по известным максимам, которых было так много в этот век. Он теоретически верил тому, что при нарастании любовного конфликта жены с

третьим человеком, муж в определенный момент и может, и должен стать доверенным своей жены и взять в свои руки управление поведением жены. Но этот принцип, удобный теоретически, на практике оказался неудобоприменимым. Из письма Пушкина к барону Геккерену видно, что он только по получении анонимных писем счел момент подходящим для того, чтобы стать доверенным своей жены и хозяином ее поведения, но из всех дальнейших событий ясно, что Пушкин упустил момент: доверенность жены не оказалась полной, и полновластным хозяином поведения молодой женщины он уже не мог стать. Несмотря на свою пассивность, робость, Наталья Николаевна не имела сил подчиниться исключительно воле мужа и противостоять сладкому влиянию Дантеса.

6

«4 ноября по утру, — писал Пушкин в неотправленном письме к Бенкендорфу [1], — я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены»...

После некоторых справок и розысков Пушкин узнал, что «в тот же день семь или восемь лиц также получили по экземпляру того же письма, в двойных конвертах, запечатанных и адресованных на мое имя. Почти все, получившие эти письма, подозревая какую-нибудь подлость, не отослали их ко мне». Нам известно, что такие письма получили князь П. А. Вяземский, граф М. Ю. Виельгорский, тетка графа В. А. Соллогуба — г-жа Васильчикова, Е. М. Хитрово.

«4 ноября, — писал князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, — моя жена вошла ко мне в

кабинет с запечатанной запиской, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрела в ту же минуту, что здесь крылось что-либо оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрения и воспользовавшись правом дружбы, которая связывала меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем документ. Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женой дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы». «В первых числах ноября 1836 г., — читаем мы в воспоминаниях графа В. А. Соллогуба, — тетка моя Васильчикова, у которой я жил тогда на Большой Морской, велела однажды утром меня позвать к себе и сказала: «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?» Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым лакейским почерком: Александру Сергеевичу Пушкину. Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить его я не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас сказал мне: «Я уж знаю, что

такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитрово: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитрово». Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами»[2].

В конце концов анонимные письма, которым нередко приписывают гибель Пушкина, явились лишь случайным возбудителем. Не будь их — все равно раньше или позже настал бы момент, когда Пушкин вышел бы из роли созерцателя любовной интриги его жены и Дантеса. В сущности, зная страстный и нетерпеливый характер Пушкина, надо удивляться лишь тому, что он так долго выдерживал роль созерцателя. Отсутствие реакции можно приписать тому состоянию оцепенения, в которое его в 1836 году повергали все его дела: и материальные, и литературные, и иные. О состоянии Пушкина в последние месяцы жизни следовало бы сказать особо и подробно.

Анонимные письма были толчком, вытолкнувшим Пушкина из колеи созерцания. Чести его была нанесена обида, и обидчики должны были понести наказание. Обидчиками были те, кто подал повод к самой мысли об обиде, и те, кто причинил ее, кто составил и распространил пасквиль[3].

Повод был очевиден: ухаживания Дантеса. Лица, с которыми Пушкин говорил по этому поводу, по его собственным словам, «пришли в негодование от неосновательного и низкого оскорбления». «Все, повторяя, что поведение моей жены безукоризненно, гово-

рили, что поводом к этой клевете послужило слишком явное ухаживание за нею Дантеса», — писал Пушкин в письме к Бенкендорфу. Произошли об'яснения с женой, которые, конечно, только утвердили общую молву. Наталья Николаевна, передавая мужу об ухаживаниях Дантеса, подчеркивала его навязчивость, а заодно указала и на то, что старый Геккерен старался склонить ее к измене своему долгу; о себе она призналась только в том, что, по легкомыслию и ветрености, слишком снисходительно отнеслась к приставаниям Дантеса. Ее об'яснения, если верить словам Вяземского и самого Пушкина, оставили в Пушкине впечатление полной ее невинности и решительной гнусности ее соблазнителей. «Пушкин, — говорит Вяземский, — был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала, но, обладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен; мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета чьей-то неизвестной рукой, он послал вызов молодому Геккерену, как единственному виновнику, в его глазах, в двойной обиде, нанесенной ему в самое сердце [4]. «Я не мог допустить, — писал Пушкин в письме к Бенкендорфу, — чтобы в этой истории имя моей жены было связано клеветою с именем кого бы то ни было. Я просил сказать об этом г. Дантесу».

4 ноября Пушкин получил анонимные письма и на другой день, 5 ноября [5], отправил вызов Дантесу на квартиру его приемного отца барона Геккерена. Как раз в этот день Дантес находился дежурным по дивизиону [6], дома не был, и вызов попал в руки барона

Геккерена. Со слов К. К. Данзаса сообщалось в свое время, что «Пушкин послал вызов Дантесу через офицера Генерального штаба К. О. Россета» [7]. Вряд ли это сообщение верно. Вызов был письменный. Когда графу Соллогубу пришлось позднее выступить в роли секунданта, д'Аршиак, секундант Дантеса, желая ознакомить его с обстоятельствами дела, предъявил ему документы и среди них «вызов Пушкина Дантесу». По всей вероятности, вызов был просто послан, а не передан кем-либо, ибо попасть не по назначению он мог только в том случае, если бы он был послан, и ни один секундант в мире не позволил бы себе передать вызов кому-либо иному, а не вызываемому. Вызов Пушкина не был мотивирован.

Вызов Пушкина застал барона Геккерена в расплох. О его замешательстве, о его потрясении свидетельствуют и дальнейшее его поведение, и сообщения Жуковского в письмах к Пушкину. Он в тот же день отправился к Пушкину, заявил, что он принимает вызов за своего сына, и просил отложить окончательное решение на 24 часа — в надежде, что Пушкин обсудит еще раз все дело спокойнее и переменит свое решение. Через 24 часа, т. е. 6 ноября, Геккерен снова был у Пушкина и нашел его непоколебимым. Об этом его свидании с Пушкиным князь Вяземский рассказывает в письме к великому князю Михаилу Павловичу следующее: «Геккерен рассказал Пушкину о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был его исход; он говорил ему о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь с целью обеспечить ему благосостояние. Он прибавил, что видит здание всех своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда

считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю. Принимая вызов от лица молодого человека, т. е. своего сына, как он его называл, он тем не менее уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о котором ему скажут в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю,— я вам даю две недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло[8]. Пушкин в письме к Бенкендорфу излагает кратко историю отсрочки: «Барон Геккерен является ко мне — и принимает вызов за г. Дантеса, прося отсрочки поединка на 15 дней».

7

Геккерену удалось отсрочить поединок и выиграть таким образом время. Теперь надо было употребить все старания к тому, чтобы устранить самое столкновение с возможным роковым исходом. Эта забота легла на сердце не одному Геккерену. Переполошилась, конечно, прежде всего Наталья Николаевна, а за нею — ее сестры и тетушка, покровительница всех сестер Гончаровых — фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская. Вызов был сделан; срам грозил ее любимой («fille de son coeur, sa fille d'adoption»)* племяннице, так хорошо принятой при дворе и, конечно, ей самой, опекавшей и охранявшей сестер Гончаровых. Надо было сделать все возможное, чтобы предупредить скандал, устранить дуэль, затушить дело. Ни

* «Ее любимице, ее приемной дочери».

Наталья Николаевна, ни ее сестры, конечно, ничего тут не могли сделать, и надо было действовать самой Загряжской. Она так и поступила и приняла деятельное участие в развитии дальнейших событий. 6 ноября молодой Гончаров, брат Натальи Николаевны, с'ездил в Царское село к Жуковскому, и в тот же день Жуковский был уже в Петербурге. Жуковский был другом, которого Пушкин слушался в мирских делах, Жуковский любил Пушкина и был миролюбив, и Гончаровы поступили правильно, вызвав его и вмешав в разыгравшиеся события.

Пушкин отправил вызов. Надо было убедить его отказаться от вызова. Над вопросом, как это сделать, ломали голову барон Геккерен, Е. И. Загряжская и Жуковский.

6 ноября Жуковский, по вызову Гончарова, приехал в Петербург и направился к Пушкину. В то время как он находился у него, явился Геккерен. Это было второе посещение Пушкина Геккереном, когда он добился двухнедельной отсрочки. Жуковский оставил Пушкина и спустя некоторое время снова вернулся к нему. Конец дня Жуковский провел у графа Виельгорского и князя Вяземского. Очевидно, разговор шел о деле Пушкина. Вечером Жуковский получил письмо от Е. И. Загряжской.

На другой день утром 7 ноября Жуковский был уже у Загряжской. «От нее к Геккерену», — кратко гласит конспективная записка Жуковского, которой мы в дальнейшем изложении будем пользоваться; она является важнейшим источником для истории ноябрьского столкновения Пушкина с Дантесом; к сожалению, многие заметки в записке Жуковского слишком конспективны, писаны были про себя и толкованию не поддаются.

«Поутру у Загряжской. От нее к Геккерену. (Mes antécédents*—неизвестное, совершенное прежде бывшего)». Эти краткие указания нетрудно развернуть. Загряжская обратилась к Жуковскому с просьбой о содействии и помощи при разрешении конфликта и рассказала оставшиеся ему неизвестными обстоятельства, происшедшие до вызова. Эти «antécédents» мы не можем выяснить ни по заметкам Жуковского, ни по другим источникам. А что-то было, действительно! На это есть намеки и в разорванном черновике письма Пушкина к Геккерену [1].

От Загряжской Жуковский поехал к Геккерену. Ясно, что посещение Геккерена было продиктовано Жуковскому именно Загряжской. Во всяком случае, сообщение Вяземского о том, что барон Геккерен бросился к Жуковскому и Михаилу Виельгорскому с уговорами о посредничестве, не верно, по крайней мере по отношению к Жуковскому. Если Геккерен искал помощи в Жуковском и других, то и они, в свою очередь, искали его содействия. Неясно, было ли внушенное Загряжскою посещение Жуковским Геккерена первым опытом ее сношений с Геккереном, или они обменялись встречами еще до наступления этого момента и Жуковский явился официальным посредником? Неясен, по связи с только что поставленным, и следующий вопрос: был ли у Загряжской уже определенный (но пока не сообщенный Жуковскому) план предотвращения беды, или она отправила Жуковского к Геккерену только поговорить и посмотреть, нельзя ли что-либо сделать?

У Геккерена Жуковского ждали «открытия»: «о любви сына к Катерине; открытие о родстве; о пред-

---

* Прежние соображения.



Екатерина Гончарова

полагаемой свадьбе». По поводу первого открытия Жуковский в скобках заметил: «моя ошибка насчет имени». Дело, кажется, надо представлять себе так. Геккерен сказал Жуковскому, что его сын любит не m-me Пушкину, а ее сестру. Жуковский назвал Александрину и ошибся. Второе открытие Геккерена невразумительно: о каком родстве мог открыться Геккерен? О родстве с Дантесом? Но об этом говорили только сплетни, а в действительности его не было. Быть может, Геккерен говорил о далеком родстве, или, вернее, свойстве Дантеса с Пушкиным [2].

Итак, уже 7 ноября, через 48 часов после вызова, была пущена в оборот мысль об ошибочных подозрениях Пушкина и о предполагавшейся свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой. Как, у кого возникла эта мысль? Жуковский услышал ее впервые от Геккерена, но это не значит, что эта мысль его создание. Обычное представление таково: Геккерены так перепугались вызова и были в таком смятении, что готовы были пойти на все, что открывало просвет среди темных и тревожных обстоятельств. Прежде всего подставили вместо Натальи Николаевны Катерину Николаевну и заявили, что чувства Дантеса относились к последней. Ну, а если такое заявление поведет к женитьбе? Не беда: можно и жениться, но только бы не драться, только бы не подставлять грудь под выстрел Пушкина! Такое обычное представление должно признать не соответствующим действительности. П р о е к т с в а т о в с т в а Д а н т е с а к Е к а т е р и н е Г о н ч а р о в о й с у щ е с т в о в а л д о в ы з о в а. Жуковский в одном из «дуэльных» писем к Пушкину упоминает о бывшем в его руках и полученном от Геккерена материальном доказательстве, что «дело, о коем теперь идут толки (т. е. женитьба Дан-

теса) затеяно было еще гораздо прежде вызова». Геккерен в письме к Загряжской от 13 ноября тоже говорит о том, что проект свадьбы Екатерины Гончаровой и Дантеса существует уже давно, и что сам он отрицательно относился к этому проекту по мотивам, известным Загряжской. В переписке отца Пушкина с дочерью Ольгой Сергеевной есть упоминания о возможном браке m-lle Гончаровой и Дантеса еще в письме от 2 ноября 1836 года. В этот день Ольга Сергеевна писала из Варшавы своему отцу: «Вы мне сообщаете новость о браке Гончаровой». А Сергей Львович Пушкин жил в то время в Москве и, следовательно, по крайней мере во второй половине октября в Москву уже дошли слухи о возможной женитьбе.

Итак, мысль о женитьбе Дантеса на Гончаровой существовала до вызова. В каких реальных формах нашла выражение эта мысль, определить затруднительно. Было ли Геккеренами только брошено на ветер слово о возможности брака Екатерины Гончаровой и Дантеса, или мысль эта дебатировалась подробно, неизвестно. Нам представляется наиболее вероятным, что и в самый момент возникновения проект женитьбы на Гончаровой уже представлялся средством отвести глаза Пушкину и скрыть от него истинный смысл ухаживаний Дантеса. Мысль была высказана не только между Дантесом и Геккереном, но пошла, как мы видели, и дальше и, следовательно, не могла быть чуждой и Загряжской с ее племянницами.

Геккерен в свое время отринул проект женитьбы, но произошли новые события, Пушкин прислал вызов; надо было отбиться от поединка, — и вот отверженная мысль становится спасительной. Но ведь точно

так же, как Геккерен, и Загряжская, не менее Геккерена желавшая потушить все дело, могла схватиться за отброшенную в свое время мысль о женитьбе, как за якорь спасения. Как ни была мимолетна эта мысль, она тотчас же всплыла на поверхность, лишь только грянул гром и Пушкин послал свой вызов. Геккерен заметался, ища выхода, ища спасения от дуэли, а Дантес, лишь только осведомился о вызове, сейчас же принял позу.

В об'яснениях своих перед русским министром иностранных дел графом Нессельроде и перед нидерландским правительством Геккерен определенно говорил о том, что Дантес решился на брак с исключительной целью не компрометировать дуэлью m-me Пушкину. «Сын мой, — писал Геккерен своему министру барону Верстолку, — понимая хорошо, что дуэль с г. Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре г-жи Пушкиной, молодой и хорошенькой особе, жившей в доме супругов Пушкиных; этот брак, вполне приличный с точки зрения света, так как девушка принадлежала к лучшим фамилиям страны, спасал все: репутация г-жи Пушкиной оставалась вне подозрений, муж, разуверенный в мотивах ухаживания моего сына, не имел бы поводов считать себя оскорбленным (повторяю, клянусь честью, что он им никогда и не был), и, таким образом, поединок не имел бы уже смысла. Вследствие этого я полагал своей обязанностью дать согласие на этот брак».

В письме к графу Нессельроде Геккерен выражается еще резче, еще определеннее. Опровергая предположение, выставлявшее Дантеса автором подмет-

ных писем, Геккерен пишет: «С какой целью? Разве для того, чтобы заставить ее броситься в его об'ятия, не оставив ей другого исхода, как погибнуть в глазах света и отвергнутой мужем? Но подобное предположение плохо вяжется с тем высоконравственным чувством, которое заставило моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины. Или он хотел вызвать тем поединок, надеясь на благоприятный исход? Но три месяца тому назад он рисковал тем же; однако, будучи далек от подобной мысли, он предпочел безвозвратно себя связать с единственной целью — не компрометировать г-жу Пушкину».

Прусский посланник Либерман, доносивший после смерти Пушкина об истории дуэли и почерпавший свои сведения, по всей вероятности, от самого Геккерена, по поводу брака Дантеса сообщил между прочим: «Чтобы положить конец поднявшемуся по поводу этого дела шуму, молодой барон Геккерен совершенно добровольно решился жениться на сестре m-me Пушкиной, которой он также оказывал большое внимание. Хотя девушка не имела никакого состояния, приемный отец молодого человека дал свое согласие на брак».

Каковы были психологические мотивы решимости Дантеса «закабалить» себя браком на немилой женщине? Действительно ли для него на первом плане стояло счастье любимой женщины, и для того лишь только, чтобы не омрачить его, он, как рыцарь, приносил в жертву своей любви счастье своей жизни? Или же он попросту испугался поединка и ради устранения его, ради устранения возможного рокового исхода предпочел «закабалить» себя на всю жизнь? Такие вопросы ставил себе в 1842 году, значит че-

рез пять лет после смерти Пушкина, его приятель Н. М. Смирнов. И не мог их разрешить. «Что понудило Дантеса вступить в брак с девушкою, которой он не мог любить, трудно определить; хотел ли он, жертвуя собой, успокоить сомнения Пушкина и спасти женщину, которую любил, от нареканий света, или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь, как брат, свободный доступ к Наталье Николаевне; испугался ли он дуэли — это неизвестно».

Прежде чем ответить на эти вопросы, приведем любопытные рассуждения князя Вяземского в письме к великому князю Михаилу Павловичу: «Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в его поведении относительно нее не допускает мысли о чем-либо подобном».

В рассуждениях Вяземского следует отметить, что он и другие друзья Пушкина не решались приписать поступка Дантеса побуждению трусливого характера. Очень темны сообщения Вяземского о темных интригах Геккерена, которые будто бы вызвали Дантеса на такой поступок. Не согласнее ли с истиной вещей признать, что решение Дантеса, как и большинство человеческих решений, не является следствием одного какого-либо мотива, а есть результат взаимодей-

ствия мотивов? Остается, во всяком случае, фактом то, что он был влюблен в Наталью Николаевну, желал ее, тянулся к ней через все препятствия, не останавливаясь и перед смертельной опасностью. После всего того, что случилось в ноябре, не удержался же он от соблазна новых сближений с ней в январе после своей свадьбы! Чего достигал он, об'являя о своих матримониальных намерениях и вступая в брак? Да, конечно, прежде всего он мог питать надежду, что его решение отведет гнев Пушкина от головы Натальи Николаевны и охранит ее репутацию, ослабив светское злословие и светские сплетни. Но были и еще выгоды. Поединок оторвал, отдалил бы его навсегда от Пушкиной, а брак с ее сестрой, наоборот, приблизил бы, облегчил бы возможность встреч, сближений под покровом родственных отношений и чувств. Стоило только бракосочетанию совершиться, как Дантес сейчас же стал пользоваться такой возможностью. О том, что между ними станет третий человек — Екатерина Гончарова, Дантес, по всей вероятности, и не думал: он слишком был легок для таких долгих мыслей и слишком победитель женских сердец. Екатерина Гончарова была вся в его власти, ибо она была страстно влюблена в него, и, зная, конечно, об отношениях Дантеса к сестре, об его влюбленности в нее, ни на минуту не задумалась соединить свою руку с рукой Дантеса. «Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не об'ясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из разряда старых дев» — писал князь Вяземский, забывая добавить, что к этому, вполне законному желанию присоединялось и страстное увлечение Геккереном. Припомним и рассказ княгини Вяземской о том, как

Екатерина Николаевна содействовала свиданиям сестры с Дантесом, чтобы лишний раз насладиться лицезрением предмета своей страсти. А затем, как бы ни было сильно чувство любви Дантеса к Н. Н. Пушкиной, выливавшееся, главным образом, в стремлении к обладанию, оно не исключало возможности любовных достижений у других женщин. И даже перед Натальей Николаевной Дантес мог бы выиграть своим решением, — она должна была оценить самоотвержение, с каким он бросился в кабалу. И такое рассуждение могло быть у Дантеса, когда он решался об'явить свое намерение жениться на Екатерине Гончаровой.

8

Возвратимся к Жуковскому, выслушавшему «открытия» Геккерена. По рассказу князя Вяземского, «Геккерен уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, — что сын его влюблен не в жену его, а в свояченицу, что уже давно сын его умоляет своего отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашался, но теперь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, наконец, дал свое согласие». Свои действия и свое впечатление Жуковский отметил в конспективной записке кратко: «Мое слово. — Мысль все остановить». «Слово» Жуковского, по всей вероятности, верно передано в воспоминаниях со слов К. К. Данзаса: «Жуковский советовал барону Геккерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи». Рассказ Геккерена открыл умственным очам Жуковского ранее не

существовавшую возможность расстроить дуэль, внушил «мысль все остановить». Все оказывалось таким простым: стоило сказать Пушкину, что он ошибся, что Дантес желал в действительности не его жену, а Екатерину Гончарову, — и дело образуется.

Но сделать это было не легко. Геккерен открылся Жуковскому в своих планах, но потребовал от него строжайшего сохранения всего им сказанного в величайшей тайне ото всех, и от Пушкина в том числе, представляя Жуковскому положение вещей в таком виде. Обстоятельства складывались в пользу брака, он сам дает свое разрешение, брак мог бы осуществиться, но теперь его осуществлению мешает вызов Пушкина, ибо теперь в свете скажут, что угроза поединка заставила Дантеса неожиданно и против воли жениться на Гончаровой; а такое мнение — мало того, что оно неверно, — оскорбительно и Геккеренами не может быть допущено. Но в то же время раз их действительные желания таковы и раз вообще действительность такова, какою рисуют ее они, а не Пушкин, то поединок явно нелеп и должен быть устранен. Об этом уж пусть заботятся друзья Пушкина. А Дантес исполнит то, что велит ему долг: он принял вызов, примет и поединок и после поединка об'явит о сватовстве своем к Екатерине Гончаровой. Поединок мог бы быть устранен, по мнению Геккеренов, в том случае, если б Пушкин взял свой вызов обратно и при том отнюдь не на основании предполагаемой возможности брака: Геккерены не приняли бы вожделенного отказа от вызова, если бы он был мотивирован именно таким образом. Выходило так, что действительным основанием для прекращения дуэли была мысль о женитьбе Дантеса на Гончаровой, но Пушкин должен был взять обратно свой вызов на ином, мнимом

основании, а не действительном. Жуковскому предстояло вести тонкую двойную игру. То, что Геккерен открыл ему под великим секретом, он должен был передать Пушкину под таким же секретом. Пушкин внутри себя должен был решать в зависимости от узнанного под секретом, а вне, в рассуждениях с другими, он не мог опираться на внутренние основания.

Вслед за словами «мысль все остановить» в конспективной записке следуют краткие, но выразительные фразы: «Возвращение к Пушкину. Les révélations *. Его бешенство». Révélations —это конечно те открытия, которые только что выслушал Жуковский от Геккерена. Открытия эти возмутили Пушкина до крайней степени, до степени «бешенства». Простодушному Жуковскому можно было отвести глаза, можно было внушить, что предметом исканий Дантеса была не жена Пушкина, а ее сестра! Но как можно было убедить в этом Пушкина, как можно было пытаться говорить об этом Пушкину, когда об ухаживаниях Дантеса за Натальей Николаевной, об его влюбленности в нее он знал от нее самой. Она сама созналась в легкомысленной снисходительности к ухаживаниям Дантеса; наконец Пушкин видел, что «красивая наружность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство» произвели уже действие на сердце его жены. Смешно было убеждать Пушкина в противном и потому нетрудно представить «бешенство» Пушкина в ответ на открытия Жуковского и Геккерена.

В упоминании о проекте женитьбы он увидел низкую и трусливую попытку увильнуть от дуэли. Пушкин способен был на бешеное излияние своих стра-

---

* Открытия.



Е. И. Загряжская

стей, но он был прямой человек. И если, вызывая Дантеса, он мог думать, что тот по-своему, но все-таки искренно увлечен Натальей Николаевной, то теперь этот, так легко отрекающийся от любимой им женщины человек показался ему неизмеримо низким, ничтожным и, вдобавок, презренным трусом, готовым ускользнуть от выстрела противника в немилые объятия. Не имея решительно никакой возможности поверить в свою ошибку (жена вместо свояченицы), Пушкин не поверил и серьезности намерения Дантеса сочетаться браком с Екатериной Николаевной Гончаровой; он думал, что Геккеренам было важно лишь добиться с его стороны отказа от вызова и сорвать поединок. Для этого надо было пустить мысль о браке, а потом можно было и отложить ее осуществление навеки.

Итак, предстояла тяжелая задача — переубедить Пушкина. Время было лучшим помощником.

Непоколебимость Пушкина в своем решении о дуэли нужно было сломить не натиском, а продолжительной и настойчивой осадой. Эту осаду повели Жуковский, Геккерен, Загряжская. Начались переговоры, в которые был вовлечен и Пушкин. Цель их была, с одной стороны, вывести Геккеренов из области слов о предложении, о свадьбе к определенным действиям теперь же, до наступления момента дуэли; с другой стороны — освоить Пушкина с мыслью о браке Гончаровой и Дантеса и убедить его в непременном осуществлении этой мысли.

Под 7 ноября Жуковский отметил еще следующие события: «свидание с Геккереном. Извещение его Виельгорским. Молодой Геккерен у Виельгорского». День 8 ноября был посвящен переговорам. «Геккерен у Загряжской» — пометил Жуковский. Тут, оче-

видно, разговор сводился к убеждению Геккеренов поскорее выявить свои намерения. Жуковский был у Пушкина. «Большое спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях». Под 9 ноября Жуковский занес опять неясное слово «Les révélations de Heckern». Какие разоблачения сделал на этот раз Геккерен, остается неизвестным. Но в результате их Жуковский предложил посредничество. «Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания». Чтобы понять эту запись Жуковского, надо вспомнить двойственность его игры. Официально о предполагаемой женитьбе Дантеса Жуковский не мог говорить, ибо Геккерен взял с него слово держать это в тайне. Неофициальная попытка воздействовать на Пушкина не только была безуспешна, но и чрезмерно раздражила его. Таким образом, дело не подвинулось ни на шаг. Оставался путь официальный, требовавший в данном случае особого дипломатического такта, и Жуковский предложил себя в посредники по переговорам. Мало того, он наметил и первый пункт своей посреднической программы. По его мысли, необходимо было устроить свидание Дантеса с Пушкиным. В этом свидании Пушкин должен был играть роль человека, официально ни о чем не знающего, и пойти на выяснение мотивов своего немотивированного вызова. Затем вступал в дело Дантес и, очевидно, излагал свой настоящий взгляд насчет женитьбы. В результате Пушкин должен был взять вызов обратно. Таков был замысел Жуковского. Ему принадлежит инициатива посредничества и свидания, но для Пушкина эта инициатива должна была исходить от самого Геккерена. Официальная версия: именно Геккерен обратился к Жуковскому с просьбой о посредни-

честве. Так Геккерен и поступил. 9 ноября он написал Жуковскому следующее письмо:

9/21 ноября 1836 года.

Милостивый государь!

Навестив m-lle Загряжскую, по ее приглашению, я узнал от нее самой, что она посвящена в то дело, о котором я вам сегодня пишу. Она же передала мне, что подробности вам одинаково хорошо известны, поэтому я могу полагать, что не совершаю нескромности, обращаясь к вам в этот момент. Вы знаете, милостивый государь, что вызов г. Пушкина был передан моему сыну при моем посредничестве, что я принял его от его имени, что он одобрил это принятие, и что все было решено между г. Пушкиным и мною. Вы легко поймете, как важно для моего сына и для меня, чтоб эти факты были установлены непререкаемым образом: благородный человек, даже если он несправедливо вызван другим почтенным человеком, должен прежде всего заботиться о том, чтобы ни у кого в мире не могло возникнуть ни малейшего подозрения по поводу его поведения в подобных обстоятельствах.

Раз эта обязанность исполнена, мое звание отца налагает на меня другое обязательство, которое представляется мне не менее священным.

Как вам также известно, милостивый государь, всё происшедшее по сей день совершилось без вмешательства третьих лиц. Мой сын принял вызов; принятие вызова было его первой обязанностью, но, по меньшей мере, надо об'яснить

ему, ему самому по каким мотивам его вызвали. Свидание представляется мне необходимым, обязательным, — свидание между двумя противниками, в присутствии лица, подобного вам, которое сумело бы вести свое посредничество со всем авторитетом полного беспристрастия и сумело бы оценить реальное основание подозрений, послуживших поводом к этому делу. Но после того, как обе враждующие стороны исполнили долг честных людей, я предпочитаю думать, что вашему посредничеству удалось бы открыть глаза Пушкину и сблизить двух лиц, которые доказали, что обязаны друг другу взаимным уважением. Вы, милостивый государь, совершили бы таким образом почтенное дело, и если я обращаюсь к вам в подобном положении, то делаю это потому, что вы один из тех людей, к которым я особливо питал чувства уважения и величайшего почтения, с каким я имею честь быть ваш, милостивый государь, покорнейший слуга барон Геккерен.

С письмом Геккерена в руках Жуковский пришел к Пушкину и предложил ему устроить свидание с Дантесом. «Дантес хотел бы видеться и говорить с Пушкиным», — сказал Пушкину Жуковский. Как Жуковский об'яснял положение вещей, как он мотивировал желание Дантеса, с каким дипломатическим подходом подошел он к Пушкину, обо всем этом ясное представление дают его письма к Пушкину, которые теперь уже можно датировать. Предложение свидания Жуковский сделал 9 ноября; Пушкин, очевидно (если судить по письмам Жуковского), отнесся резко определенно к предложению Жуковского, столь рез-

ко определенно, что Жуковский не успел даже развить перед ним всю силу своей дипломатической аргументации и был вынужден убеждать Пушкина письменно. В тот же день 9 ноября Жуковский отправил Пушкину следующую записку: «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерену; я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видавшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но ради бога одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Я теперь у Виельгорского, у которого обедаю».

Вечером 9 ноября Пушкин был у Виельгорского, и разговоры его с Жуковским на тему о дуэли продолжались здесь. Придя к Виельгорскому, Пушкин увидел, что Виельгорский знает о дуэли, и взволновался: ему показалось, что слухи о дуэли распространяются слишком быстро, и недостает только того, чтобы о дуэли узнали жандармские власти. На другой день утром Жуковский написал новое письмо Пушкину. Он успокаивал Пушкина и убеждал его в том, что тайна сохранится. Но главная задача письма была не в этом:

Пишу это, однако, не для того только, чтобы тебя успокоить насчет сохранения тайны. Хочу, чтобы ты не имел никакого ложного понятия о том участии, какое принимает в этом деле молодой Геккерен. Вот его история. Тебе уже известно, что было с первым твоим вызовом, как он не попался в руки сыну, а пошел через отца, и как сын узнал о нем только по истечении

24 часов, т. е. после вторичного свидания отца с тобою. В день моего приезда, в то время, когда я у тебя встретил Геккерена, сын был в карауле и возвратился домой. А на другой день в час, за какую-то ошибку, он должен был дежурить три дня не в очередь. Вчера он в последний раз был в карауле и нынче с часа пополудни будет свободен. Эти обстоятельства из'ясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец, силясь отбиться от несчастия, которого одно ожидание сводит его с ума. Сын, узнав положение дел, хотел непременно видеться с тобой, но отец, испугавшись свидания, обратился ко мне. Не желая быть зрителем или актером в трагедии, я предложил свое посредство, то есть хотел предложить его, написав в ответ отцу то письмо, которого брульон тебе показывал, но которого не послал и не пошлю. Вот все. Нынче поутру скажу старому Геккерену, что не могу взять на себя никакого посредства, ибо из разговоров с тобою вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит, почему я и не намерен никого подвергать неприятности отказа. Старый Геккерен таким образом не узнает, что попытка моя с письмом его не имела успеха. Это письмо будет ему возвращено, и мое вчерашнее официальное свидание с тобою может считаться не бывшим.

Всё это я написал для того, что счел святейшею обязанностью засвидетельствовать перед тобою, что молодой Геккерен во всем том, что делал его отец, был совершенно посторонний, что он так же готов драться с тобой, как и ты с

ним, и что он так же боится, чтобы тайна не была как-нибудь нарушена. И отцу отдать ту же справедливость. Он в отчаянии, но вот что мне сказал: «Я приговорен к гильотине, я прибегаю к милости; если мне это не удастся — придется взойти на гильотину. И я взойду, так как люблю честь моего сына так же, как и его жизнь». — Этим свидетельством роль, весьма жалко и неудачно сыгранная, оканчивается...

Но Пушкин был непреклонен, и Жуковскому пришлось поступить так, как он хотел: он вернул Геккерену его письмо. Это письмо хранится до сего дня в архиве барона Дантес-Геккерена. В своем конспекте событий под датой 10 ноября Жуковский записал: «Молодой Геккерен у меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо к Геккерену. Его ответ. Мое свидание с Пушкиным».

Пушкин не пошел ни на какие компромиссы, и роль Жуковского, весьма жалко и неудачно сыгранная, закончилась. Дружеское воздействие Жуковского не принесло желанных результатов и уступило место воздействию родственному. В дело вступила Екатерина Ивановна Загряжская, а отказавшийся Жуковский играл роль ее пособника. В его конспективных записках читаем помету: «посылка ко мне Е. И. Что Пушк. сказал Александрине». Слова Пушкина Александрине, очевидно, заключали в себе что-то значительное, но что именно, сказать мы сейчас не можем, да и вряд ли будем иметь возможность. Но, очевидно, результатом посещения Жуковским Загряжской было отмеченное им в записке его «посещение Геккерена». У Геккерена Жуковский, конечно, говорил всё о том же, — как уладить дело. Если бы Геккере-

ны привели в исполнение свой матримониальный проект, то Пушкин взял бы вызов обратно — в этом, очевидно, и Жуковский, и Загряжская были убеждены. Но Геккерен упирался и говорил, что невозможно приступить к осуществлению этого проекта до тех пор, пока Пушкин не возьмет вызова, ибо в противном случае в свете намерение Дантеса жениться на Гончаровой приписали бы трусливому желанию избежать дуэли. Упомянув в конспекте о посещении Геккерена, Жуковский записывает: «Его требование письма». Путь компромисса был указан, и инициатива замирения, по мысли Геккерена, должна была исходить от Пушкина. Он, Пушкин, должен был послать Геккерену письмо с отказом от вызова. Этот отказ устраивал бы господ Геккеренов. Но Пушкин не пошел и на это. «Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве», — записывает в конспекте Жуковский. Эта запись легко поддается комментарию. Пушкин соглашался написать письмо с отказом от вызова, но такое письмо, в котором было бы упомянуто о сватовстве, как о мотиве отказа. Пушкин хотел сделать то, что Геккерену было всего неприятнее. Есть основания утверждать, что такое письмо было действительно написано Пушкиным и вручено Геккерену отцу[1]. Но оно, конечно, оказалось неприемлемым для Геккеренов.

12 ноября произошло новое совещание Геккерена с Загряжской, на котором выработан новый план воздействия на Пушкина. Загряжская должна была лично переговорить с Пушкиным и утверждать, что инициатива брака Дантеса и Гончаровой исходит от нее, что старый Геккерен долго не соглашался на этот брак, но теперь согласился, и брак состоится сейчас же после дуэли. Сколько правды в этих заявлениях

Загряжской и сколько дипломатии, которою надо было опутать Пушкина, сказать трудно. Я выше указывал на то, что слухи о женитьбе Дантеса на Гончаровой существовали гораздо раньше 4 ноября. Содержание той беседы, которую должна была иметь Загряжская с Пушкиным, можно узнать из неизданного письма Геккерена к Загряжской, которое он написал ей 13 ноября утром:

> После беспокойной недели я был так счастлив и спокоен вечером, что забыл просить вас, сударыня, сказать в разговоре, который вы будете иметь сегодня, что намерение, которым вы заняты, о К. и моем сыне существует уже давно, что я противился ему по известным вам причинам, но когда вы меня пригласили притти к вам, чтобы поговорить, я вам заявил, что дальше не желаю отказывать в моем согласии, с условием, во всяком случае, сохранять все дело в тайне до окончания дуэли; потому что с момента вызова П. оскорбленная честь моего сына обязывала меня к молчанию. Вот в чем главное, так как никто не может желать обесчестить моего Жоржа, хотя, впрочем, и желание было б напрасно, ибо достигнуть этого никому не удалось бы. Пожалуйста, сударыня, пришлите мне словечко после вашего разговора, страх опять охватил меня, и я в состоянии, которое не поддается описанию.
>
> Вы знаете тоже, что с Пушкиным не я уполномочивал вас говорить, что вы это делаете сами, по своей воле, чтобы спасти своих.

Читая это письмо, чувствуешь, что Геккерен боится, как бы Загряжская чего не напутала, не сбилась,

и, простившись с ней накануне, спешит послать к ней подробнейшие наставления.

В какой мере Пушкин был убежден речами Загряжской, мы не знаем, но он, во всяком случае, согласился на свидание с Геккереном у Загряжской, которое и состоялось, может быть, уже 13 ноября или же 14 ноября. Очевидно, Пушкин тут уже в несколько официальной обстановке, в присутствии Загряжской и Геккерена, выслушал сообщение о предполагаемой свадьбе Дантеса и Гончаровой, и тут же с него было взято слово, что все сообщенное ему останется тайной. К этому именно свиданию относится упоминание Жуковского в письме к Пушкину: «Все это очень хорошо, особливо после обещания, данного тобою Геккерену в присутствии твоей тетушки (которая мне о том сказывала), что все происшедшее останется тайною». Выслушав официальное заявление, Пушкин нашел возможным пойти на уступки и согласился взять свой вызов обратно. Старший Геккерен должен был передать отказ Пушкина своему приемному сыну.

Пушкин дал слово держать в тайне сообщенный ему проект бракосочетания Дантеса и Гончаровой, но, кажется, он не считал себя особо связанным им. Тут были особые причины. Ведь он-то знал, что все симпатии Дантеса были на стороне Натальи Николаевны и что проект женитьбы на Екатерине Николаевне есть только отвод глаз; не верил он в искренность и действительность желаний Дантеса и укрепился в убеждении, что все это делается с исключительным намерением избежать дуэли. Этот образ действий ему был противен, и он в некоторой степени афишировал низость Дантеса, рассказывая, правда, в ближайшем кругу, о матримониальных планах Дантеса. От не-

скромности Пушкина трепетал Жуковский, который все боялся, что разглашение тайны Пушкиным станет известно Геккеренам, они откажутся от брака и, следовательно, дуэли не миновать. До нас дошло два длиннейших письма к Пушкину Жуковского, в которых он выговаривает поэту за его нескромность. Он с необыкновенным жаром ратует за Геккеренов, за чистоту их намерений. Письма Жуковского столь характерны, что я позволю себе привести их почти целиком:

Ты поступаешь весьма неосторожно, невеликодушно и даже против меня несправедливо. Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне?[2] Чего ты хочешь? Сделать невозможным то, что теперь должно кончиться для тебя самого наилучшим образом. Думал долго о том, что ты мне вчера говорил; я нахожу твое предположение совершенно невероятным, и имею причину быть уверенным, что во всем том, что случилось для отвращения драки, молодой Геккерен ни мало не участвовал. Все это дело отца, и весьма натурально, чтобы он на все решился дабы отвратить свое несчастие. Я видел его в таком положении, которого нельзя выдумать и сыграть, как роль. Я остаюсь в полном убеждении, что молодой совершенно в стороне, и на это вчера еще имел доказательство. Получив от старого Г. доказательство материальное, что дело, о коем теперь идут толки, затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова, я дал ему совет поступить так, как он и поступил, основываясь на том, что если тайна сохранится, то никакого безчестия не падет на его сына, что и ты сам не

можешь предполагать, чтобы он хотел избежать дуэли, который им принят, именно потому, что не он хлопочет, а отец о его отвращении. В этом последнем я уверен, вчера еще более уверился и всем готов сказать, что молодой Г. с этой стороны совершенно чист. Это я сказал и Карамзиным, запретив им крепко-накрепко говорить о том, что слышали об тебе, и уверив их, что вам непременно надобно будет драться, если тайна теперь или даже после откроется. Итак, требую от тебя уже собственно для себя, чтобы эта тайна у нас умерла навсегда. Говорю д л я с е б я вот почему: полагая, что все обстоятельства, сообщенные мне отцом Геккереном, справедливы (в чем я не имел причины и нужды сомневаться), я сказал, что почитаю его, как отца, вправе и даже обязательно предупредить несчастие открытием дела к а к о н о е с т ь; что это открытие будет в то же время и репарацией того, что было сделано против твоей чести перед светом. Хотя я не вмешан в самое дело, но совет мною дан. Не могу же я согласиться принять участие в посрамлении человека, которого честь пропадает, если тайна будет открыта. А эта тайна хранится теперь м е ж д у н а м и; нам ее должно и беречь. Прошу тебя в этом случае беречь и мою совесть. Если что-нибудь откроется и я буду это знать, то уже мне по совести нельзя будет утверждать того, что неминуемо должно нанести бесчестие. Напротив, я должен буду подать совет противный. Избавь меня от такой горестной необходимости. Совесть есть человек; не могу же находить приличным другому такого поступка, который осра-

мил бы самого меня на его месте. Итак, требую тайны теперь и после. Сохранением этой тайны ты также обязан и самому себе, ибо в этом деле и с твоей стороны есть много такого, в чем должен ты сказать: виноват! Но более всего ты должен хранить ее для меня: я в это дело замешан невольно, и не хочу, чтобы оно оставило мне какое-нибудь нарекание; не хочу, чтобы кто-нибудь имел право сказать, что я нарушил доверенность, мне оказанную. Я увижусь с тобою перед обедом. Дождись меня.

Это письмо не подействовало на Пушкина, и он продолжал совершать нескромности. Жуковский вновь писал ему: «Вот что приблизительно ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра перед тем, что я намерен сделать» и тому подобное».

Но Жуковский не считался с Пушкиным, не принимал во внимание его взглядов на виновников события и только, как завороженный, продолжал твердить об одном: о том, что надо хранить тайну и что несохранение тайны компрометирует его, Жуковского.

Все это очень хорошо, — продолжал в письме Жуковский, — особливо после обещания, данного тобою Геккерену в присутствии твоей тетушки (которая мне о том сказывала), что все происшедшее останется тайною. Но скажи мне, какую роль во всем этом я играю теперь и какую должен буду играть после перед доб-

рыми людьми, как скоро все тобою самим обнаружится и как скоро узнают, что и моего тут меду капля есть? И каким именем и добрые люди и Геккерен, и сам ты наградите меня, если, зная предварительно *о том, что ты намерен сделать*, приму от тебя письмо, написанное Геккерену, и, сообщая его по принадлежности, засвидетельствую, что все между вами кончено, что тайна сохранится и что каждого честь останется неприкосновенною. Хорошо, что ты сам обо всем высказал и что все это мой добрый гений довел до меня заблаговременно. Само по себе разумеется, что я ни о чем случившемся не говорил княгине. Не говорю теперь ничего и тебе: делай, что хочешь. Но булавочку свою беру из игры вашей, которая теперь с твоей стороны жестоко мне не нравится. А если Геккерен вздумает от меня истребовать совета, то не должен ли я по совести сказать ему: остерегитесь. Я это и сделаю.

9

Дело все же казалось слаженным. Как бы то ни было, а Пушкин все-таки согласился отказаться от вызова. Но тут пришла новая беда — с совершенно противоположной стороны. На сцену явилось действующее лицо, которое до сих пор выступало без слов. Это — Дантес.

До сих пор о нем говорили, за него высказывались, за него принимали решения, — теперь начал действовать он сам. По существу дело было очевидное: женитьба на Екатерине Гончаровой была компромиссной сделкой, средством избежать дуэли (пусть

так было для Геккерена) или охранить репутацию Натальи Николаевны (пусть так было для Дантеса). Для Дантеса было ясно, что так понимал дело Пушкин. Наступил момент ликвидировать дело, и тут, когда Дантес остался наедине с самим собой, перед его умственным взором осветилась вдруг вся закулисная действительность, заговорили голоса чести и благородства, и он сделал неожиданный ход, который, конечно, был принят без ведома Геккерена и который чуть было не спутал все карты в этой игре. Об этом движении души Дантеса, неведомом для биографов поэта, мы узнаем впервые из найденных нами материалов.

В архиве барона Геккерена хранится листок, писанный Дантесом. На этом листке изложены следующие размышления Дантеса:

«Я не могу и не должен согласиться на то, чтобы в письме находилась фраза, относящаяся к m-lle Гончаровой: вот мои соображения, и я думаю, что г. Пушкин их поймет. Об этом можно заключить по той форме, в которой поставлен вопрос в письме.

«Жениться или драться». Так как честь моя запрещает мне принимать условия, то эта фраза ставила бы меня в печальную необходимость принять последнее решение. Я еще настаивал бы на нем, чтобы доказать, что такой мотив брака не может найти места в письме, так как я уже предназначил себе сделать это предложение после дуэли, если только судьба будет мне благоприятна. Необходимо, следовательно, определенно констатировать, что я сделаю предложение m-lle Екатерине не из-за соображений сатисфакции или улажения дела, а только потому, что она мне нравится, что таково мое желание и что это решено единственно моей волей».

Эти размышления набросаны Дантесом сейчас же вслед за такой заметкой, им же написанной вверху листка:

«В виду того, что г. барон Жорж де Геккерен принял вызов на дуэль, отправленный ему при посредстве барона Геккерена, я прошу г. Ж. де Г. благоволить смотреть на этот вызов, как на несуществовавший, убедившись случайно, по слухам, что мотив, управлявший поведением г. Ж. де Г., не имел в виду нанести обиду моей чести — единственное основание, в силу которого я счел себя вынужденным сделать вызов».

Это, очевидно, составленный самим Дантесом проект письма, которое должен был бы написать Пушкин и которое было бы приемлемо для Геккеренов.

От размышлений Дантес перешел к делу. Он возмутился и написал примечательное письмо к Пушкину, также впервые появившееся среди наших материалов. Прежде чем привести это письмо, необходимо остановиться на недоумении, вызываемом первыми его строками. «Барон Геккерен сообщил ему, что он уполномочен уведомить его, что все те основания, по которым он был вызван Пушкиным, перестали существовать, и что посему он может смотреть на этот поступок, как на не имевший места» — вот слова Дантеса. Выходит, как будто барон Геккерен не сообщил Дантесу о письме Пушкина с упоминанием о сватовстве, и будто он словесно передал об отказе Пушкина от поединка без каких бы то ни было мотивов. А в записке, писанной про себя, Дантес даже говорит о форме, в которой поставлен вопрос; значит, о письме не только знал, но и читал. В об'яснение этого разноречия приходится сделать ссылку на двойственность, проникающую все поступки действующих

в истории дуэли лиц: официально — одно, неофициально — другое; все играют роли, перед одними одну, перед другими другую, иногда прямо противоположного амплуа! Официально обращаясь к Пушкину, Дантес хотел бы убедить его в том, что о письме его он не знает и отказ Пушкина от поединка дошел до него совершенно немотивированным. Дантес писал Пушкину:

Милостивый государь.

Барон Геккерен сообщил мне, что он уполномочен г-ном...[1] уведомить меня, что все те основания, по которым вы вызвали меня, перестали существовать, и что посему я могу смотреть на этот ваш поступок, как на не имевший места.

Когда вы вызвали меня без об'яснения причин, я без колебаний принял этот вызов, так как честь обязывала меня это сделать. В настоящее время вы уверяете меня, что вы не имеете более оснований желать поединка. Прежде чем вернуть вам ваше слово, я желаю знать, почему вы изменили свои намерения, не уполномочив никого представить вам об'яснения, которые я располагал дать вам лично. Вы первый согласитесь с тем, что прежде чем взять свое слово обратно, каждый из нас должен представить об'яснения для того, чтобы впоследствии мы могли относиться с уважением друг к другу.

Письмо это передано было Пушкину. Одновременно или почти одновременно Дантес сделал еще один «рыцарский» ход, отправив к Пушкину секунданта Аршиака с заявлением, что срок двухнедельной отсрочки кончился, и он, Дантес, к услугам Пушкина.

Напрашивается предположение, не было ли письмо передано именно Аршиаком и не являлся ли составленный Дантесом проект письма от имени Пушкина руководственным указанием того, чего должен был добиваться Аршиак. Дантес не жаждал, очевидно, кровавой встречи; он надеялся на мирное разрешение вопроса с непременным условием соблюдения приличий. Мы знаем теперь, что у Пушкина в это время уже был определенный взгляд на лица и дела; брачный проект Дантеса казался ему низким и его роль— жалкой (pitoyable), а о Геккерене он знал достоверно, что он был автором подметных писем. Можно себе представить, какое впечатление произвела на Пушкина выходка Дантеса, предпринятая с «благородными» намерениями! В конспективных заметках Жуковского читаем выразительную строчку, не требующую никаких пояснений:

«Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство» [2].

10

Обращение Дантеса к Пушкину с письмом и с предложением своих услуг по части дуэли произвело эффект, на который он уж никак не рассчитывал: Пушкин пришел в ярость, и Дантесу пришлось спасаться от его гнева. Вслед за упоминанием о «бешенстве» Пушкина в конспективных заметках Жуковский записал:

«Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина».

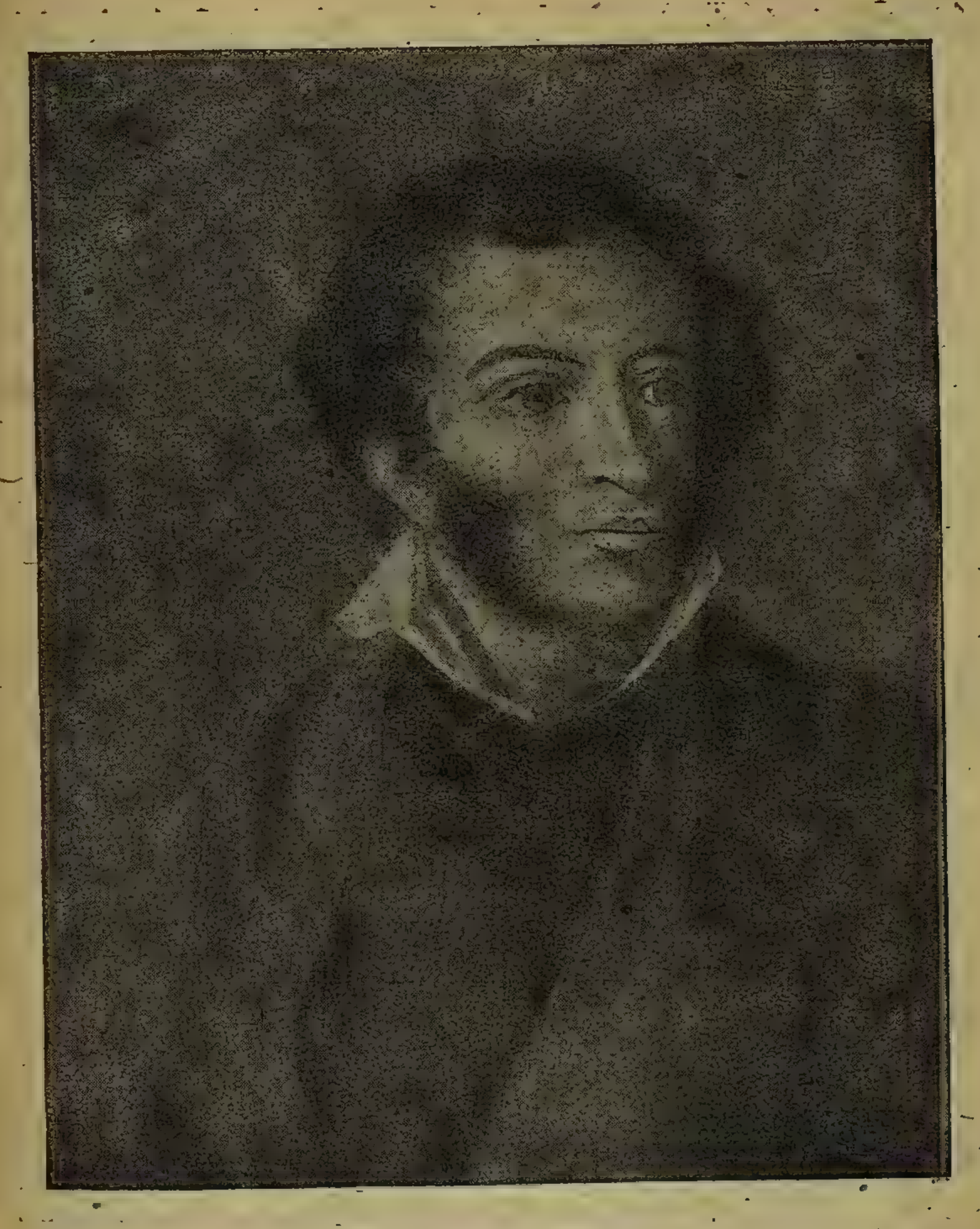
Эти фразы расшифровать нетрудно. Участником событий, очерченных в этих пяти словах, был «секундант» граф В. А. Соллогуб, оставивший воспоминания, в общем своем содержании весьма достоверные и ошибочные лишь в частностях. Предоставим слово

этому очевидцу и участнику, попутно указывая неточности его рассказа.

Мы уже знаем, что граф В. А. Соллогуб доставил Пушкину присланный в конверте на его имя пасквиль. При встрече с поэтом через несколько дней Соллогуб спросил его, не добрался ли он до составителя подметных писем. Пушкин отвечал, что не знает, но подозревает одного человека. Граф. В. А. Соллогуб предложил Пушкину свои услуги в качестве секунданта. Пушкин сказал: «Дуэли никакой не будет; но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного об'яснения, при котором присутствие светского человека мне желательно для надлежащего заявления, в случае надобности». Этот разговор происходил до получения письма Дантеса и до истечения двухнедельной отсрочки дуэли. Повидимому, сам Пушкин уже пришел к заключению, что дуэли не будет, но получение письма Дантеса изменило его настроение. Граф Соллогуб рассказывает:

«У Карамзиных праздновался день рождения старшего сына [1]. Я сидел за обедом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой: «Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие об'яснения не соглашайтесь». Потом он продолжал шутить и разговаривать, как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений». В этом описании Соллогуба чувствуются отголоски того «бешенства», картину которого наблюдал Жуковский.

Вечером 16 ноября граф Соллогуб поехал на большой раут к графу Фикельмону, австрийскому послан-



Пушкин

Эскиз маслом на дереве В. Тропинина, 1827 г. Третьяковская галлерея. Москва

нику. К этому рауту относится, надо думать, темная для нас запись Жуковского в конспекте: «Записка Н. Н. ко мне и мой совет. Это было на (бале) рауте Фикельмона». Запись свидетельствует, несомненно, о тянущемся, неопределенном положении. Не только прямым участникам, но и лицам, ближайшим к действующим, было известно, что Дантес собирается жениться, а официально дело все не получало соответственного разрешения; и неизвестная нам записка Натальи Николаевны Пушкиной к Жуковскому, по всей вероятности, была вызвана побуждением ликвидировать дело.

«На рауте, — вспоминает граф Соллогуб, — все дамы были в трауре, по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было) отличалась от прочих белым платьем. С ней любезничал Дантес-Геккерен. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как я узнал потом, самому Дантесу высказал несколько более чем грубых слов. С д'Аршиаком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. «Я человек честный, — отвечал он, — и надеюсь скоро это доказать». Затем он стал об'яснять, что не понимает, чего от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден; но никаких ссор и скандалов не желает. Ночь я, сколько мне помнится, не мог заснуть: я понимал, какая лежала на мне ответственность перед всей Россией. Тут уже было не то, что история со мной [2]. Со мной я за Пушкина не боялся. Ни у одного русского

рука на него бы не поднялась; но французу русской славы жалеть было нечего.

На другой день[3] погода была страшная — снег, метель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на Мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условиться насчет материальной стороны самого беспощадного поединка, и, наконец, с замирающим сердцем, отправился к д'Аршиаку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов д'Аршиак об'явил мне, что он сам всю ночь не спал: что он, хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела. Затем он мне показал:

1. Экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина.

2. Вызов Пушкина Дантесу, после получения диплома.

3. Записку посланника барона Геккерена, в которой он просил, чтоб поединок был отложен на две недели[4].

4. Собственноручную записку Пушкина, в которой он об'являл, что берет свой вызов назад, на основании слухов, что г. Дантес женится на его невестке К. Н. Гончаровой[5].

Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слыхал, ничего не ведал и только тут понял причину вчерашнего белого платья[6], причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел[7].

«Вот положение дела — сказал д'Аршиак. — Вчера кончился двухнедельный срок[8], и я был у г. Пушкина

с извещением, что мой друг Дантес готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если г. Пушкин откажется просто от своего вызова без всякого об'яснения, не упоминая о городских слухах. Г. Дантес не может допустить, чтоб о нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежание поединка. Уговорите г. Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастие». Этот д'Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью, и сам скоро потом умер насильственной смертью на охоте. Мое положение было самое неприятное: я только теперь узнавал сущность дела; мне предлагали самый блистательный исход, — то, что я и требовать и ожидать бы никак не смел, а между тем я не имел поручения вести переговоры. Потолковав с д'Аршиаком, мы решились с'ехаться в три часа у самого Дантеса. Тут возобновились те же предложения, но в разговорах Дантес не участвовал, все предоставив секунданту».

Секундантам, действительно, было над чем поломать голову. Дантес не соглашался принять отказ Пушкина от вызова, так как отказ этот был мотивирован дошедшими до Пушкина «слухами» о намерении Дантеса жениться. В письме к Пушкину Дантес сделал вид, что этот мотив ему даже неизвестен, что отказ передан ему без всяких мотивов, и наивно требовал от Пушкина, чтобы тот об'яснился с ним, дабы впоследствии они «могли относиться с уважением друг к другу». Пушкин, ответивший новым вызовом на выходку Дантеса, был в таком состоянии, что убеждать его в необходимости вступить в об'яснения с Дантесом или изменить мотивы отказа от первого

вызова было бы делом прямо невозможным. И если в этом столкновении одна из сторон должна была в чем-то поступиться, то такой стороной мог быть только Дантес — так смотрели на дело секунданты; и потому в разговорах, происходивших без участия Дантеса, они решились принести в жертву его интересы. Быть может, они решились на это потому, что видели, что и Дантесу хотелось только одного: закончить дело без скандалов и поединков, и были уверены, что Дантес посмотрит сквозь пальцы на отступления от его воли, которые собирались допустить секунданты.

В результате переговоров граф Соллогуб написал Пушкину записку. В «Воспоминаниях» своих граф Соллогуб приводит по памяти эту записку, добавляя: «точных слов я не помню, но содержание верно». Записка Соллогуба после смерти Пушкина была найдена в бумагах Пушкина и передана на хранение в III отделение. Опубликована только в самое последнее время [9]. Приводим текст записки в переводе с французского подлинника.

«Я был, согласно вашему желанию, у г. д'Аршиака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботе, так как в пятницу я не могу быть свободен, в стороне Парголова, ранним утром, на 10 шагов расстояния. Г. д'Аршиак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерен окончательно решил об'явить о своем брачном намерении, но, удерживаемый опасением показаться желающим избежать дуэли, он может сделать это только тогда, когда между вами все будет кончено и вы засвидетельствуете словесно передо мной или г. д'Аршиаком, что вы не приписываете его брака расчетам, не достойным благородного человека.

Не имея от вас полномочия согласиться на то, что я одобряю от всего сердца, я прошу вас, во имя вашей семьи, согласиться на это предложение, которое примирит все стороны. Нечего говорить о том, что г. д'Аршиак и я будем порукой Геккерена. Будьте добры дать ответ тотчас»[10].

Записка Соллогуба заключала минимум желаний, с которыми можно было обратиться к Пушкину. В то же время по содержанию своему она не соответствовала вожделениям Дантеса; они остались пренебреженными, и текст записки не был сообщен Дантесу. Надо отметить, что Соллогуб просил у Пушкина не письменного, а словесного заявления об уверенности в благонамеренности поступка Дантеса.

«Д'Аршиак, — рассказывает Соллогуб, — прочитал внимательно записку, но не показал ее Дантесу, несмотря на его требование, а передал мне и сказал: «Я согласен. Пошлите». Я позвал своего кучера, отдал ему в руки записку и приказал везти на Мойку, туда, где я был утром. Кучер ошибся и отвез записку к отцу моему, который жил тоже на Мойке и у которого я тоже был утром. Отец мой записки не распечатал, но, узнав мой почерк и очень встревоженный, выглядел условия о поединке. Однако он отправил кучера к Пушкину, тогда как мы около двух часов оставались в мучительном ожидании. Наконец, ответ был привезен. Он был в общем смысле следующего содержания: «Прошу гг. секундантов считать мой вызов недействительным, так как по городским слухам я узнал, что г. Дантес женится на моей свояченице. Впрочем, я готов признать, что в настоящем деле он вел себя честным человеком».

Это письмо Пушкина, переданное Соллогубом по памяти, хранится в архиве барона Геккерена; впервые

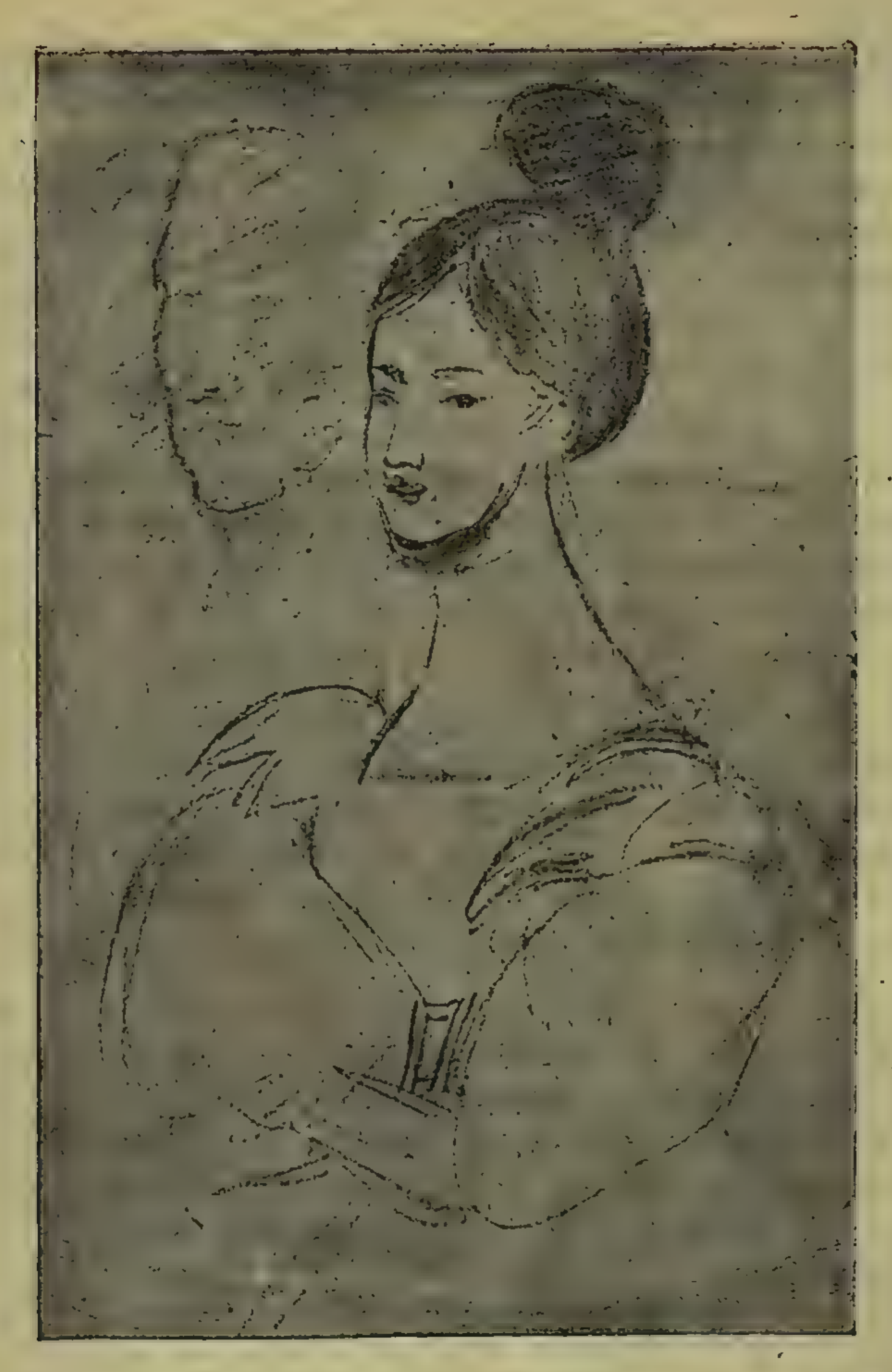


Рисунок Пушкина, изображающий его жену и его самого

оно стало нам известным по копии в военно-судном деле, изданном в 1900 году[11]. Приводим подлинный текст в переводе.

«Я не колеблюсь написать то, что я могу заявить словесно[12]. Я вызвал г. Ж. Геккерена на дуэль, и он принял ее, не входя ни в какие об'яснения. Я прошу господ свидетелей этого дела соблаговолить рассматривать этот вызов, как не существовавший, осведомившись по слухам, что г. Жорж Геккерен решил об'явить свое решение жениться на m-lle Гончаровой после дуэли. Я не имею никакого основания приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека. Я прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом по вашему усмотрению».

В этом письме Пушкин не сделал никакой уступки. Он опять повторил, что берет вызов назад только потому, что по слухам узнал о намерении Дантеса жениться после дуэли. Совершенно механически он добавил только, по просьбе Саллогуба, что не приписывает брачного проекта неблагородным побуждениям. Такое письмо не могло бы удовлетворить самолюбия Дантеса, но секунданты не посчитались с ним.

Соллогуб рассказывает, как было встречено письмо Пушкина. «Этого достаточно» — сказал д'Аршиак, ответа Дантесу не показал и поздравил его женихом. Тогда Дантес обратился ко мне со словами: «Ступайте к г. Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться, как братья». Поздравив со своей стороны Дантеса, я предложил д'Аршиаку лично повторить эти слова Пушкину и ехать со мной. Д'Аршиак и на это согласился. Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благо-

дарность, переданную ему д'Аршиаком. «С моей стороны, — продолжал я, — я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем, как с знакомым». — «Напрасно,—воскликнул запальчиво Пушкин. — Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может». Мы грустно переглянулись с д'Аршиаком. Пушкин затем немного успокоился. «Впрочем, добавил он, — я признал и готов признать, что г. Дантес действовал, как честный человек». — «Больше мне и не нужно», — подхватил д'Аршиак и поспешно вышел из комнаты.

Вечером на бале С. В. Салтыкова свадьба была об'явлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказание, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил. «У него, кажется, грудь болит, — говорил он, — того гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет. Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее». «А вы проиграете мне все ваши сочинения». — «Хорошо». (Он был в это время как-то желчно весел)» [13].

Как бы там ни было, женитьба Дантеса была оглашена, и дело на этот раз было слажено. С чувством облегчения, после всех передряг, писала тетушка невесты, Е. И. Загряжская, Жуковскому: «Слава богу, кажется все кончено. Жених и почтенной его батюшка были у меня с предложением. К большому счастию за четверть часа перед ними приехал из Москвы старшой Гончаров, и он об'явил им родительское согласие, итак, все концы в воду. Сегодня жених подает просьбу по форме о позволении женитьбы и завтре от невесте поступаить к Императрице [14]. Теперь позвольте мне от всего моего сердца

принести вам мою благодарность и простите все мучении, которые вы претерпели во все сие бурное время, я бы сама пришла к вам, чтоб от благодарить, но право, сил нету». Жуковский кратко отметил этот момент в своем конспекте: «Сватовство. Приезд братьев».

Весть о женитьбе Дантеса на Е. Н. Гончаровой вызвала огромное удивление у всех, кто не был достаточно близок, чтобы знать историю этой помолвки, и в то же время не был достаточно далек, чтобы не знать о бросавшемся в глаза ухаживании Дантеса за Н. Н. Пушкиной. Приведем несколько современных свидетельств.

Вот что писал Андрей Николаевич Карамзин своей матери, узнав о предстоящей свадьбе из ее письма, посланного из Петербурга 20 ноября. «Не могу притти в себя от свадьбы, о которой мне сообщает Софья [15]. И когда я думаю об этом, я, как Екатерина Гончарова, спрашиваю себя, не во сне ли я, или по меньшей мере, не во сне ли сделал свой ход Дантес; и если брачное счастие есть что-то иное, чем сон, то я боюсь, как бы оно навсегда не исчезло из сферы достижения. Этим я был очень огорчен, потому что я люблю их обоих. Какого чорта хотели этим сказать? Когда мне нечего делать и я курю свою трубку, потягивая свой кофий, я всегда думал об этом и не подвинулся дальше, чем я был в первый день. Это было самоотвержение...» Андрей Карамзин принадлежал, очевидно, к той части общества, которая, по словам князя Вяземского, захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести Пушкиной.

В письме сестры Пушкина, Ольги Сергеевны, к отцу из Варшавы от 24 декабря 1836 года находится

любопытнейшее сообщение по поводу новости о предстоящем бракосочетании Дантеса и Е. Н. Гончаровой. «По словам Пашковой, которая пишет своему отцу, эта новость удивляет весь город и пригород не потому, что один из самых красивых кавалергардов и один из наиболее модных мужчин, имеющий 70 000 рублей ренты, женится на m-lle Гончаровой, — она для этого достаточно красива и достаточно хорошо воспитана, — но потому, что его страсть к Наташе не была ни для кого тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в Петербурге, и я довольно потешалась по этому поводу; поверьте мне, что тут должно быть что-то подозрительное, какое-то недоразумение и что, может быть, было бы очень хорошо, если бы этот брак не имел места».

Анна Николаевна Вульф писала из Петербурга своей сестре, баронессе Евпраксии Вревской, 28 ноября: «Вас заинтересует городская новость: фрейлина Гончарова выходит замуж за знаменитого Дантеса, о котором вам Ольга наверное говорила, и способ, которым, говорят, устроился этот брак, восхитителен». 22 декабря Анна Николаевна Вульф сообщала подробности: «Про свадьбу Гончаровой так много разного рассказывают и так много, что я думаю, лучше тебе это рассказать при свидании. Entre autres choses on prétend que Pouchkine a reçu par la petite poste un diplome avec des cornes en or, souscris par les personnes les plus marquantes de la haute société et reconnues de la confrerie, qui lui ècrivent qu'ils sont tout fiers d'avoir un homme aussi célèbre dans leur catégorie et qu'ils s'empressent de lui envoyer ce diplome comme à un membre de leur société, и что с радостью они принимают в свое общество et qu'à la suite de cela s'est arrangé le mariage de

M-lle Gontcharoff Poúr les autres versions je les garde pour avoir quelque chose à vous raconter quand nous nous reverrons»*.

Умалчивая о подробностях, А. Н. Вульф верно передает основной факт: женитьба Дантеса на Гончаровой была средством отвести глаза, но общество или свет оценил этот брак надлежащим образом.

Приведем еще не лишенный интереса отрывок из письма барона П. А. Вревского к брату. Барон П. А. Вревский жил в декабре месяце в Ставрополе и встречался здесь с братом Пушкина, Львом Сергеевичем, который и явился источником его сведений. 23 декабря 1836 года барон Вревский писал: «Знаете ли вы, что старшая из его кузин, которая напоминает нескладную дылду или ручку у метлы — сравнения кавказской вежливости! — вышла замуж за барона Геккерена, бывшего Дантеса... Влюбленный в жену поэта Дантес, выпровоженный, вероятно, из Сен-Сирской школы, должно быть, пожелал оправдать свои приставания в глазах света».

Сам Пушкин был доволен, что история с Дантесом так кончилась и что положение, в которое он поставил Дантеса, было не из почетных. «Случилось, — резюмировал Пушкин события в письме к Бенкендорфу, — что в продолжение двух недель г. Дантес влю-

* «Между прочим утверждают, что Пушкин получил по городской почте диплом с золотыми рогами, подписанный самыми видными лицами высшего света и признанными в обществе, которые ему пишут, что они очень горды иметь столь знаменитого человека в своей среде и что они спешат послать этот диплом ему, как члену их общества, и что с радостью они принимают его в свое общество, и что в результате этого устроился брак Гончаровой. Что же касается других версий, то я об них умолчу, чтобы иметь что тебе порассказать при свидании».

бился в мою свояченицу, Гончарову, и просил у нее руки. Молва меня предупредила — и я просил передать г. д'Аршиаку, секунданту г. Дантеса, что я отказываюсь от своего вызова». А в письме к Геккерену Пушкин писал: «Я заставил вашего сына играть столь жалкую роль, что моя жена, удивленная такою низостию и плоскостию его, не могла воздержаться от смеха, и ощущение, которое бы она могла иметь к этой сильной и высокой страсти, погасло в самом холодном презрении и заслуженном отвращении».

Таким образом, Пушкину представлялось, что нападение на его честь, произведенное по вине Дантеса, отражено извне и внутри—как в недрах семейных, так и в свете. Знаменательно упоминание о том, что в цели Пушкина входило и намерение произвести определенное впечатление на свою жену, показать ей Дантеса разоблаченного и тем погасить ее чувство к нему. Показать своим друзьям и знакомым Дантеса до нелепости смешным, заставив его под угрозой дуэли жениться на Е. Н. Гончаровой,—значило для Пушкина подорвать его репутацию в обществе. Но всякая психология имеет два конца. Вышло так, что вскоре обнаружился другой конец, которым ударило по Пушкину.

11

Отойдем от эпизода с Дантесом. Пока длилась двухнедельная отсрочка, данная Пушкиным Геккерену, и пока разыгрывались вокруг Дантеса все рассказанные нами события, в представлении Пушкина центр тяжести всей этой истории постепенно перемещался. Пушкин начал с Дантеса, как главного виновника, давшего повод к обиде подметных писем, но

ему было важно разыскать и составителей пасквиля и подметчиков. По «Воспоминаниям» графа Соллогуба, передавшего Пушкину экземпляр пасквиля в день его получения, выходит, что в первый момент Пушкин заподозрил в составлении диплома на звание рогоносца одну даму, которую он и назвал графу Соллогубу. Но Пушкин в непосланном письме к Бенкендорфу дает иные сведения: «4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма... По бумаге, по слогу письма и по манере изложения я удостоверился в ту же минуту, что оно от иностранца, человека высшего общества, дипломата». Князь Вяземский сообщал великому князю Михаилу Павловичу, что, как только были получены анонимные письма, Пушкин заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. «Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение»[1]... В черновых набросках письма к Геккерену Пушкин напрямик об'являет Геккерена автором писем. В этих обрывках нам многое неясно и в высшей степени возбуждает наш интерес, но обвинение Геккерена из них можно извлечь без всякого труда. «2 ноября вы полагали, что сын ваш вследствие... (много) удовольствия. Он сказал вам... что моя жена... безыменное письмо... (у нее голова пошла кругом)... нанести решительный удар... сочиненное вами и (три экземпляра) (безыменного письма)... роздали... Смастерили с... на... беспокоился более. Действительно, не прошло и трех дней в розысках, как я узнал, в чем дело. Если дипломатия ничто иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость, сознаваясь, что сами потерпели поражение на всех пунктах»...

Позволяем себе еще раз привести уже цитированный нами в своем месте отрывок из письма Жуковского: «Вот что приблизительно ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит человека в грязь: громкие подвиги Раевского — детская игра перед тем, что я намерен сделать», и т. д.

Заявления Пушкина княгине Вяземской совершенно раз'ясняют нам, почему Пушкин не считал нужным прилагать усилия к охранению тайны Геккеренов, о чем так убедительно просил его Жуковский: он пришел к твердому убеждению, что автором анонимных писем был барон Геккерен. А уверившись в этом, он пришел к какому-то определенному плану действий, плану, который, по его расчету, должен был окончательно уничтожить репутацию Геккерена и повергнуть его в прах. Приведение этого плана он откладывал на неделю. Кажется, будет верным предположение, что, откладывая на неделю свою месть, Пушкин ждал окончания им самим данной Геккерену отсрочки на две недели. Но вот вопрос о дуэли с Дантесом был решен 17 ноября: быть может, Пушкин так легко согласился исполнить просьбу Соллогуба именно потому, что в это время Дантес его уже не интересовал так сильно, а все его внимание перешло на Геккерена.

Уместно дать слово теперь опять графу Соллогубу. Через несколько дней после 17 ноября он был у Пушкина. Если принять указанную дальше в его рассказе субботу за ближайшую к событиям и, следовательно, приходившуюся на 21 ноября, то полу-

чим точную дату этого посещения Пушкина — 21 ноября. Произошел следующий разговор: «Послушайте, — сказал он мне через несколько дней, — вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет». Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день князя Одоевского), то поехал к князю Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось; через несколько дней он об'явил мне у Карамзиных, что дело он уладил, и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай!»

Когда граф В. А. Соллогуб писал свои воспоминания о поединке Пушкина, документы по истории дуэли были опубликованы Аммосовым, в 1863 году, по оригиналам, принадлежавшим К. К. Данзасу; среди этих документов было напечатано впервые ходившее до тех пор в списках известное письмо Пушкина к барону Геккерену, от 26 января 1837 года. Граф В. А. Соллогуб утверждает, что это письмо — то же самое, которое Пушкин прочел ему в ноябре месяце: «только прежнее было, если не ошибаюсь, длиннее и, как оно ни покажется невероятным, еще

оскорбительнее». С легкой руки графа Соллогуба многие из биографов повторяют, что письмо Геккерену, написанное в ноябре, Пушкин в январе только переписал и отправил по адресу. Редактор же переписки Пушкина в академическом издании печатает это письмо дважды: и в ноябре (по снимку, сделанному Аммосовым с подлинного пушкинского автографа, бывшего у К. К. Данзаса), и в январе (по копии военно-судного о дуэли дела, тоже с подлинного пушкинского автографа, доставленного в военно-судную комиссию Геккереном). Но к этому сообщению графа В. А. Соллогуба надо отнестись с величайшей осторожностью. И сам Соллогуб высказывается за тожество ноябрьского и январского писем с оговоркой, да и действительно трудно, не имея перед глазами подлинников, утверждать тожество двух документов, к тому же весьма однообразных по содержанию, ибо задача и ноябрьского, и январского писем была одна и та же: нанести возможно более резкое и тяжкое оскорбление Геккерену. Трудно предположить, что Пушкин так долго хранил не отправленное в ноябре письмо к Геккерену, что Пушкин, пережив 25—26 января сильнейшую вспышку гнева и негодования, не излил свои чувства набросанным тут же злым письмом, а порылся в своем столе, достал оттуда документ и отправил его Геккерену. Наконец, и по содержанию своему январское письмо не могло быть написано в ноябре [2].

Не признавая январское письмо Геккерену тожественным тому письму, которое Пушкин прочел графу Соллогубу в ноябре или, точнее,—если наше предположение верно,—именно 21 ноября, мы не отрицаем реального содержания в его сообщении: по нашему мнению, оно намечает еще одну стадию в

истории ноябрьских событий,—ту стадию, намек на которую заключается в цитированном отрывке из письма В. А. Жуковского. Пушкин думал над осуществлением плана какого-то необычайного отомщения Геккерену. Может быть план был таков, как рассказывает граф Соллогуб, может быть иной. Осуществление части этого плана мы находим в известном письме к графу А. Х. Бенкендорфу, датированном 21 ноября 1836 года: «Я вправе и думаю даже, что обязан довести до сведения вашего сиятельства о случившемся в моем семействе»—так начинается это письмо. Изложив кратко историю событий до отказа своего от вызова Дантесу, Пушкин пишет: «между тем я убедился, что анонимное письмо было от г. Геккерена, о чем считаю обязанностью довести до сведения правительства и общества. Будучи единственным судьею и хранителем моей чести и чести моей жены — почему и не требую ни правосудия, ни мщения,—не могу и не хочу представлять доказательств кому бы то ни было, в том, что я утверждаю»[3]. Итак, задача этого письма—обличение Геккерена-старшего, составителя анонимного пасквиля, и таким образом сильнейшая компрометация посланника европейской державы. По всей вероятности и по показаниям традиции, письмо это осталось непосланным и план неслыханной мести Геккерену остался неосуществленным ни в целом, ни в части.

Но у Пушкина создалось уже не покидавшее его глубокое убеждение в том, что главный его оскорбитель — Геккерен-старший, а Геккерен-младший — лицо второстепенное.

12

В фамильном архиве баронов Геккерен-Дантесов сохранилось несколько писем Дантеса-жениха к своей невольной невесте Екатерине Гончаровой. Эта письменная идиллия показывает нам, что Дантес с добросовестностью отнесся к задаче, возложенной на него судьбой, и попытался в исполнение обязанностей невольного жениха внести тон искреннего увлечения. Вот письмо, писанное, очевидно, в самом начале жениховства:

> Завтра я не дежурю, моя милая Катенька, но я приду в двенадцать часов к тетке, чтобы повидать вас. Между ней и бароном условлено, что я могу приходить к ней каждый день от двенадцати до двух, и, конечно, мой милый друг, я не пропущу первого же случая, когда мне позволит служба; но устройте так, чтобы мы были одни, а не в той комнате, где сидит милая тетя. Мне так много надо сказать вам, я хочу говорить о нашем счастливом будущем, но этот разговор не допускает свидетелей. Позвольте мне верить, что вы счастливы, потому что я так счастлив сегодня утром. Я не мог говорить с вами, а сердце мое было полно нежности и ласки к вам, так как я люблю вас, милая Катенька, и хочу вам повторять об этом сам с той искренностью, которая свойственна моему характеру и которую вы всегда во мне встретите. До свидания, спите крепко, отдыхайте спокойно: будущее вам улыбается. Пусть все это заставит вас видеть меня во сне... Весь ваш, моя возлюбленная.

Вот еще два письма, весьма стильных для Дантеса: по этим немногим строкам можно схватить характерные черты его личности.

Если бог, производя на свет два существа, которые вы называете вашими статс-дамами, хотел доказать своему созданию, что он может сделать его уродливым и безобразным, сохраняя ему дар речи, я готов преклониться и признать его всемогущество; во всю мою жизнь я не видел ничего менее похожего на женщину, чем та из вашей свиты, которая говорит по-немецки.

...P. S. Я писал сегодня утром моему отцу и передал ему от вашего имени миллион нежностей. Я думаю, что это доставит удовольствие виновнику моего существования».

Вот письмо поздравительное:

Мой дорогой друг, я совсем забыл сегодня утром поздравить вас с завтрашним праздником. Вы мне сказали, что это не завтра; однако, я имею основание не поверить вам на этот раз; так как я испытываю всегда большое удовольствие, высказывая пожелания вам счастья, то не могу решиться упустить этот случай. Примите же, мой самый дорогой друг, мои самые горячие пожелания; вы никогда не будете так счастливы, как я этого хочу вам, но будьте уверены, что я буду работать изо всех моих сил и надеюсь, что при помощи нашего прекрасного друга[1] я этого достигну, так как вы добры и снисходительны. Там, увы, где я не достигну, вы будете, по крайней мере, верить в мою добрую волю и простите меня.

Безоблачно наше будущее, отгоняйте всякую боязнь, а главное—не сомневайтесь во мне никогда; все равно, кем бы мы ни были окружены, — я вижу и буду видеть всегда только вас; — я ваш, Катенька, вы можете положиться на меня, и, если вы не верите словам моим, поведение мое докажет вам это.

Последние слова этого письма свидетельствуют о том ревнивом чувстве, с которым следила Екатерина Николаевна за своим женихом. В число тех, кто мог бы окружать чету Дантесов, входила, конечно, и Наталья Николаевна.

Не менее стилен ответ Дантеса своей невесте на ее просьбу о портрете. Екатерина Николаевна желала иметь портрет любимого ею человека, и любимый человек отвечал следующим письмом:

Милая моя Катенька, я был с бароном [2], когда получил вашу записку. Когда просят так нежно и хорошо—всегда уверены в удовлетворении; но, мой прелестный друг, я менее красноречив, чем вы: единственный мой портрет принадлежит барону и находится на его письменном столе. Я просил его у него. Вот его точный ответ. «Скажите Катеньке, что я отдал ей «оригинал», а копию сохраню себе».

Еще одна записочка, последняя в коллекции писем Дантеса-жениха, сохранившейся в фамильном архиве баронов Геккеренов-Дантесов.

Моя милая и дорогая Катенька, единственный мой ответ на ваше письмо: я говорю вам, что вы—большой ребенок, если так благодари-

те меня. Цель моей жизни—доставить вам удовольствие, и если я достиг этого, то я уже слишком счастлив. До завтра от всего сердца...

Нельзя отказать в известной искренности этим куртуазным письмам, но Дантес, повидимому, тщетно боролся с самим собой, если только боролся, и со своими чувствами к Наталье Николаевне.

Пушкин в конце декабря 1836 года писал своему отцу: «У нас свадьба. Моя свояченица Катенька выходит замуж за барона Геккерена, племянника и приемного сына посланника короля голландского. Это— un très beau et bon garçon fort à la mode *, богатый и моложе своей невесты на 4 года. Приготовление приданого очень занимает и забавляет мою жену и ее сестер, но выводит меня из себя, так как мой дом похож на модную и бельевую лавку».

1 января 1837 года в приказе по Кавалергардскому ее величества полку было отдано о разрешении поручику барону Геккерену вступить в законный брак с фрейлиною двора Екатериной Гончаровой, а через два дня, 3 января, приказом по полку было предписано: «Выздоровевшего г. поручика барона де Геккерена числить налицо, которого по случаю женитьбы его не наряжать ни в какую должность до 18 сего января, т. е. в продолжение 15 дней». Бракосочетание было совершено 10 января по католическому обряду—в римско-католической церкви св. Екатерины и по православному—в Исаакиевском соборе. Свидетелями при бракосочетании расписались: барон Геккерен, граф Г. А. Строганов, ротмистр Кавалергардского полка Августин Бетанкур,

* Весьма красивый и славный молодой человек, очень на виду.

виконт д'Аршиак, л.-гв. Гусарского полка поручик Иван Гончаров и полковник Кавалергардского полка Александр Полетика.

Екатерина Николаевна вошла в семью Геккеренов-Дантесов и стала жить их жизнью. Вот ее первое письмо своему свекру.

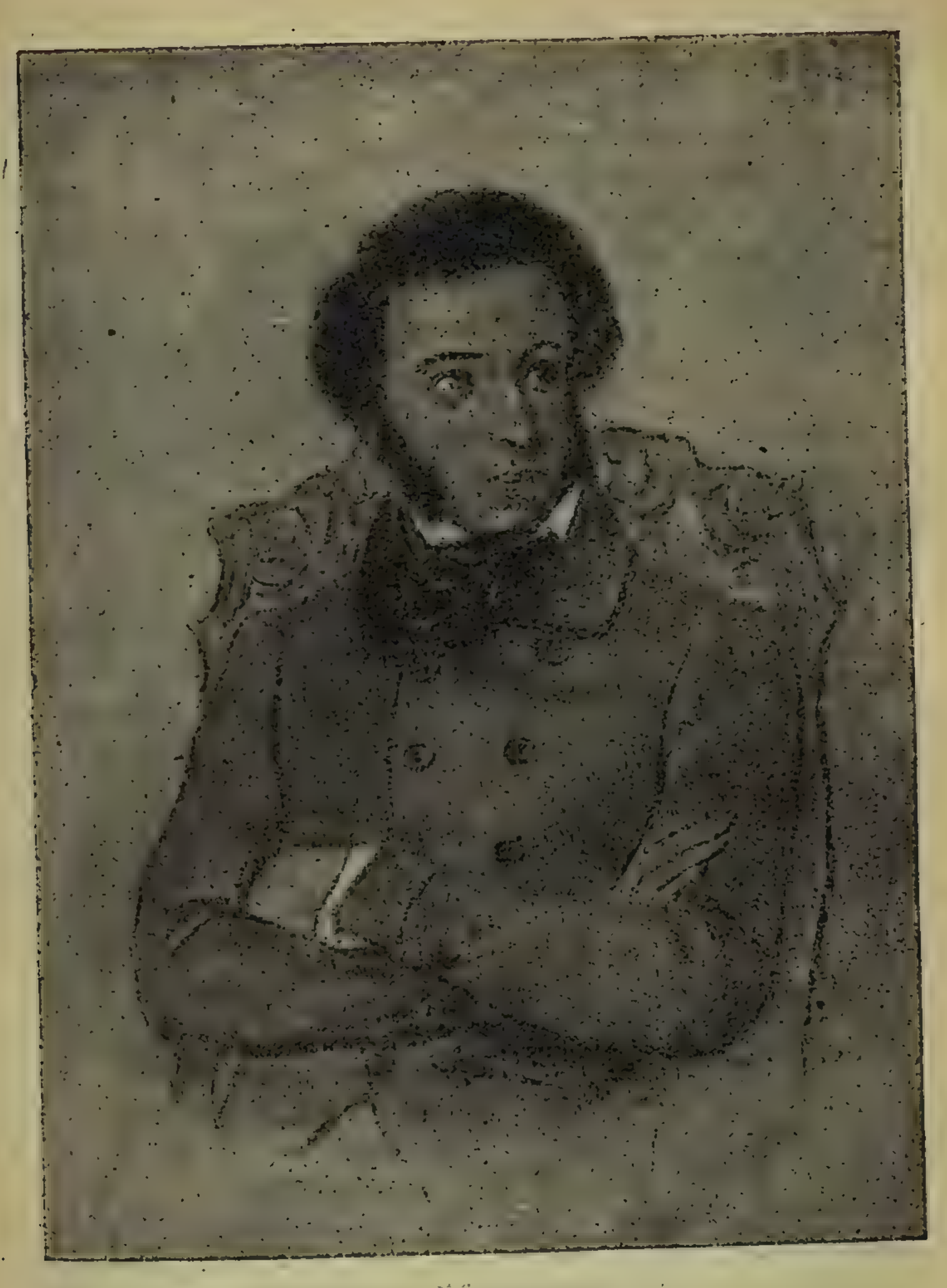
Милый папа, я очень счастлива, что, наконец, могу написать вам, чтобы благодарить от всей глубины моего сердца за то, что вы удостоили дать ваше согласие на мой брак с вашим сыном, и за благословение, которое вы прислали мне и которое, я не сомневаюсь, принесет мне счастие. Наша свадьба состоялась в последнее воскресенье 22 текущего месяца, в 8 часов вечера, в двух церквах — католической и греческой. Моему счастью недостает возможности быть около вас, познакомиться лично с вами, с моим братом и сестрами и заслужить вашу дружбу и расположение. Между тем, это счастие не может осуществиться в этом году, но барон обещает нам наверное, что будущий год соединит нас в Зульце. Я была бы очень рада, если бы, в виду этого, моя сестра Нанина вступила со мной в переписку и давала мне сведения о вас, милый папа, и о вашей семье. С своей стороны я беру на себя держать вас в курсе всего, что может вас здесь интересовать, а ей я дам те мелкие подробности интимной переписки, какие получаются с радостью, когда близких разделяет такое большое расстояние. Мое счастие полно и я надеюсь, что муж мой так же счастлив, как и я; могу вас уверить, что посвящу всю мою жизнь любви

к нему и изучению его привычек, и когда-нибудь представлю вам картину нашего блаженства и нашего домашнего счастия. Я ограничусь теперь очень нежным поцелуем, умоляя вас дать мне вашу дружбу. До свидания, милый папа, будьте здоровы, любите немного вашу дочь Катю и верьте нежному и почтительному чувству, которое она всегда питает к вам.

Читая любовные письма Дантеса-жениха и это идиллическое письмо, прямо не можешь себе и представить ту трагедию, которая разыгрывалась около баронессы Дантес-Геккерен и которой, кажется, только она одна в своей ревнивой влюбленности в мужа не хотела заметить или понять. Она ни в чем не винила своего мужа и во всем виноватым считала Пушкина, до такой степени, что, покидая после смерти Пушкина Россию, имела дерзкую глупость сказать: «Я прощаю Пушкину».

13

Между тем ни помолвка, ни совершившийся брак не внесли радикальных перемен в положение действующих лиц трагедии. Сам Пушкин на свадьбе Дантеса не был. Он только, по показанию Дантеса впоследствии в военно-судной комиссии, «прислал жену к Дантесу в дом на его свадьбу». Отсутствие Пушкина и присутствие одной Пушкиной на свадьбе, по мнению Дантеса, «вовсе не означало, что все наши сношения должны были прекратиться». На самом деле такого заключения Дантес не имел права делать: оно соответствовало всего-навсего только его желанию видеть действительность такой, чтобы воз-



А. С. Пушкин

С портрета П. Ф. Соколова (1830-е годы)

можность его сношений с Натальей Николаевной продолжалась. Но Пушкин «непременным» условием требовал от Геккерена, чтобы не было «никаких сношений между семействами [1]». Геккерены стремились, действительно, к восстановлению мирных отношений. По рассказу Данзаса, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом, но не был принят. Данзас прибавляет, что Дантес пытался писать Пушкину, но он возвратил письмо старшему Геккерену непрочитанным. О сцене, разыгравшейся при возвращении письма, скажу дальше. Нам понятно, почему Дантес стремился к примирению, но почему этого же добивался Геккерен, не совсем ясно. Желание, чтобы хотя по внешности все представлялось высоко-приличным, играло тут, конечно, большую роль.

Геккерены не бывали у Пушкиных, но сношения не только не прекратились после бракосочетания, но участились, сделались, как кажется, легче, интимнее. Дантес ведь стал родней Пушкиным. Встречалась Пушкина с Дантесом у своей тетушки, Е. И. Загряжской, на вечерах, на балах, которых в январе 1837 года было особенно много. Ухаживания Дантеса сейчас же обратили на себя общее внимание. Н. М. Смирнов через пять лет после событий следующим образом описывал положение дел после свадьбы: «Поведение Дантеса после свадьбы дало всем право думать, что он точно искал в браке не только возможность приблизиться к Пушкиной, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своею невесткой; он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что насмехается над ревностью непримирившегося с ним мужа. На балах он танцовал и любезничал с Натальею Николаевной, за ужином

пил за ее здоровье, — словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Геккерен стал явно помогать ему, как говорят, желая отмстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса».

В одном современном дневнике под 22 января 1837 года записана следующая любопытная сцена, которую наблюдала на балу романтически настроенная девица [2].

«На балу я танцовала. Было слишком тесно.

В мрачном молчании я восхищенно любовалась г-жею Пушкиной. Какое восхитительное создание!

Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Он оживленно беседовал с пожилою дамою, которая, как можно было заключить из долетевших до меня слов, ставила ему в упрек экзальтированность его поведения.

Действительно—жениться на одной, чтобы иметь некоторое право любить другую, в качестве сестры своей жены,—боже, для этого нужен порядочный запас смелости...

Я не расслышала слов, тихо сказанных дамой. Что же касается Дантеса, то он отвечал громко с оттенком уязвленного самолюбия:

— Я понимаю то, что вы хотите дать мне понять, но я совсем не уверен, что сделал глупость!

— Докажите свету, что вы сумеете быть хорошим мужем... и что распространяемые слухи неосновательны.

— Спасибо, но пусть меня судит свет.

Минуту спустя я заметила проходившего А. С. Пушкина. Какой урод!

Рассказывают,—но как дерзать доверять всему, о чем болтают?!—Говорят, что Пушкин, вернувшись

как-то домой, застал Дантеса tête-à-tête * с своею супругою.

Предупрежденный друзьями, муж давно уже искал случая проверить свои подозрения; он сумел совладать с собою и принял участие в разговоре. Вдруг у него явилась мысль потушить лампу. Дантес вызвался снова ее зажечь, на что Пушкин отвечал: «Не беспокойтесь, мне, кстати, нужно распорядиться насчет кое-чего»...

Ревнивец остановился за дверью и через минуту до слуха его долетело нечто похожее на звук поцелуя...

Впрочем, о любви Дантеса известно всем. Ее якобы видят все.

Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил взорами за тем углом, где находилась она. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным для того, чтобы, надев маску равнодушия, рискнуть появиться с нею среди танцующих».

И Дантеса, и Наталью Николаевну вновь неодолимо потянуло друг к другу. Победа над Екатериной Николаевной не могла особенно льстить самолюбию Дантеса: достиженья были легки. Не то с Натальей Николаевной, желанной ему и трудно достижимой. Брак не насытил любовного жара Дантеса, и когда он оказался на положении родственника Натальи Николаевны, то частые встречи с нею у Е. И. Загряжской, на балах, раздразнили вновь его любовные стремления к Наталье Николаевне. Если он, из любви к Наталье Николаевне принес себя в жертву и женился на женщине, которая не была для него особливо желанной, то должен же он был вознагра-

---

* Наедине.

дить себя за воздержание и за жертву и добиться достижений. Он возобновил свои нападения на Наталью Николаевну, и любовная схватка началась. Пушкина так сильно потянулась к своему бофреру, что впечатления этой любви вытеснили из области ее памяти и сознания тяжелые ноябрьские переживания. Атмосфера сгустилась. Князь Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу нарисовал следующими чертами картину положения после бракосочетания Дантеса:

«Это новое положение, эти новые отношения мало изменили сущность дела. Молодой Геккерен продолжал, в присутствии своей жены, подчеркивать свою страсть к г-же Пушкиной. Городские сплетни возобновились и оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силою на действующих лиц драмы, происходящей на его глазах. Положение Пушкина сделалось еще мучительнее; он стал озабоченным, взволнованным, на него тяжело было смотреть. Но отношения его к жене от этого не пострадали. Он сделался еще предупредительнее, еще нежнее к ней. Его чувства, в искренности которых невозможно было сомневаться, вероятно, закрыли глаза его жене на положение вещей и его последствия. Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее нехватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккереном, как и до его свадьбы; тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности».

Нельзя не отметить, что из всех свидетельств о последней дуэли Пушкина, оставленных друзьями Пушкина и редактированных в духе строгой охраны чести вдовы Пушкина, приведенные слова князя

Вяземского являются единственным свидетельством, несущим осуждение поведению Натальи Николаевны. В письме к А. Я. Булгакову от 9 февраля 1837 года[3], предназначенном для разглашения в обществе, тот же князь Вяземский почти в тех же самых выражениях рисует положение дел после брака, так же характеризует поведение Дантеса и отношение Пушкина, но... опускает сообщение, касающееся Пушкиной. «Отношения к жене не пострадали,—говорит князь П. А. Вяземский в этом письме к А. П. Булгакову,—и стали еще нежнее».

Конспективные заметки, набросанные Жуковским, не позволяют нам принять утверждение Вяземского за истинное. В действительности отношения Пушкина к жене были очень сложны. Прежде всего, неровны. «После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной» — записал Жуковский. Что значит эта двойственность в отношениях Пушкина: при жене мрачен, без нее весел?

За только что приведенной заметкой следует в заметках Жуковского совершенно нерасшифровываемая запись «les révélations d'Alexandrine» *. Какие разоблачения и кому сделала старшая из трех сестер, Александрина? Кому?—Кажется, по контексту надо думать: Жуковскому. Вслед за этой загадочной записью Жуковский заносит: «При тетке ласка к жене, при Александрине и других, кои могли бы рассказать,— ces brusqueries **. Дома же веселость и большое согласие[4]. В этой заметке все неясно. При тетке Пушкин ласков к жене, при других, кто мог бы рассказать, грубоват. Кому рассказать? Дан-

---

* Разоблачения Александрины.
** Резкости.



Александра Николаевна Гончарова, позже баронесса Фризенгоф

тесу, что ли? Если Дантесу, то почему же Пушкину нужно, чтобы до Дантеса дошли сведения не о том, что он ласков с женой, а о том, что он с ней груб? Последняя фраза записи: «Дома же веселость и большое согласие», как-будто противоречит приведенной раньше записи: «Мрачность при ней. Веселость за ее спиной». Слишком скудны заметки Жуковского, не дают они ответа на бесчисленные вопросы, не дают представления о том, что же было? Они бросают намеки, тревожат наше воображение и остаются немыми. Все, кто занимается Пушкиным, кто любит его, будут склоняться в тревожном раздумье над записями Жуковского, и их жадная и раздраженная пытливость вряд ли будет удовлетворена. И будут ли разрешены когда-либо загадки, заключенные в словах и фразах, набросанных для памяти Жуковским? Вот последние три строки во втором листке конспективных заметок Жуковского:

История кровати.
Le gaillard très bien [5].
Vous m'avez porté bonheur *.

История кровати?.. Какое значение имела эта история в событиях последних дней жизни поэта? Но помета «история кровати» связывается невольно в нашем уме с тем рассказом, который приводит в своих воспоминаниях А. П. Арапова, дочь Н. Н. Пушкиной. Пушкин вошел в интимное общение с сестрой своей жены Александриной—Азинькой, как звали ее в семье. Случай будто бы обнаружил эту связь. «Раз как-то,—рассказывает А. П. Арапова в своих

* Повеса очень хорошо.
Вы принесли мне счастье.

воспоминаниях,—Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставила на ноги, чтобы его отыскать. Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда камердинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича,—это совпало с родами его жены,—нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков и хотя других данных обвинения няня не могла привести, она с убеждением повторяла мне: «Как вы там ни об'ясняйте, это ваша воля, а по моему—грешна была тетенька перед вашей маменькой!».

И вот Жуковский, как нечто примечательное для истории последних дней Пушкина, отмечает «историю кровати», а строчкой выше—не комментированный им факт «les révélations d'Alexandrine». Создается навязчивая ассоциация, но соответствует ли она в какой-либо мере действительности? Ответить на этот вопрос нет возможности. А Александрина Гончарова знала много: недаром из всех домочадцев Пушкина ей одной было известно о том, что Пушкин послал 26 января письмо Геккерену.

14

Итак, на виду у всего света Дантес недвусмысленно ухаживал за Пушкиной. Не мог не видеть этого и Пушкин. Он узнавал об ухаживаниях из тех же источников—от жены и из анонимных писем. Жена передавала ему плоские остроты Дантеса и рассказывала о той игре, которую вел Дантес, и об участии в ней Геккерена-старшего. Приходится думать, что Пушкину в этом новом сближении роль Натальи Николаевны не казалась активной. Ее соблазняли, и

она была жертвой двух Геккеренов. Недалеко от правды предположение, что после всего происходившего в ноябре Пушкин не считал искренним и сколько-нибудь серьезным увлечение Дантеса Натальей Николаевной. Наоборот, новая игра в любовь со стороны Дантеса должна была представляться Пушкину сознательным покушением не на верность его жены, а на его честь, обдуманным отмщением за то положение, в которое были поставлены Геккерены им, Пушкиным. Само собой разумеется, в своих рассказах мужу Наталья Николаевна не выдвигала своей активности и, конечно, во всем винила Геккеренов, в особенности старшего. Иного она не могла рассказать своему мужу. В ноябрьском столкновении Пушкин на момент почувствовал некий романтизм в страсти Дантеса; теперь же романтизм исчез бесследно и осталась одна грубая проза житейских отношений. Мотивы действий противников были обнажены для Пушкина, и положение стало безмерно тягостнее, чем прежде. Гораздо острее почувствовалась Пушкину роль «света». Он не мог не сознавать, что он и его жена — притча во языцех, предмет злорадства многих и многих светских людей, у которых было немало своих причин негодовать на Пушкина. Князь П. А. Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу так изображает душевное состояние Пушкина:

«Когда друзья Пушкина, желая его успокоить, говорили ему, что не стоит так мучиться, раз он уверен в невинности своей жены, и уверенность эта разделяется всеми его друзьями и всеми порядочными людьми общества, то он им отвечал, что ему недостаточно уверенности своей собственной, своих друзей и известного кружка, что он принадлежит всей

стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где его знают. За несколько часов до дуэли он говорил д'Аршиаку, секунданту Геккерена, об'ясняя причины, которые заставляли его драться: «Есть двоякого рода рогоносцы; одни носят рога на самом деле; те знают отлично, как им быть; положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним». Вот в каком настроении он был, когда приехали его соседки по имению, с которыми он часто виделся во время своего изгнания. Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории, и, вероятно, вести были для него неблагоприятны. По крайней мере, со времени приезда этих дам он стал еще раздражительнее, тревожнее, чем прежде. Бал у Воронцовых, где, говорят, Геккерен был сильно занят г-жей Пушкиной, еще увеличил его раздражение. Жена передала ему остроту Геккерена, на которую Пушкин намекал в письме к Геккерену-отцу, по поводу армейских острот. У обеих сестер был общий мозольный оператор, и Дантес сказал г-же Пушкиной, встретив ее на вечере: «Je sais maintenant que votre cor est plus beau que celui de ma femme» *. Вся эта болтовня, все эти мелочи растравляли рану Пушкина. Его раздражение должно было выйти из границ».

Вот еще рассказ о каламбуре Дантеса по воспоминаниям княгини В. Ф. Вяземской, записанным П. И. Бартеневым: «На одном вечере Геккерен, по обыкновению, сидел подле Пушкиной и забавлял ее

---

* Непереводимая игра слов, основанная на созвучии слов «cor» — «мозоль» и «corps» — «тело». Буквально: «Я теперь знаю, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены».

собою. Вдруг муж, следивший за ними, заметил, что она вздрогнула. Он немедленно увез ее домой и дорогою узнал от нее, что Геккерен, говоря о том, что у него был мозольный оператор, тот самый, который обрезывал мозоли Наталье Николаевне, прибавил: «Il m'a dit que le cor de madame Pouchkine est plus beau que le mien» *. Пушкин сам передавал об этой наглости княгине Вяземской».

О степени раздражения Пушкина рассказывают современники. Так, со слов княгини В. Ф. Вяземской передает П. И. Бартенев: «Накануне Нового года у Вяземских был большой вечер. В качестве жениха Геккерен явился с невестою. Отказывать ему от дому не было уже повода. Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женою, она не решилась бы вернуться с ним домой. Наталья Николаевна с ним была то слишком откровенна, то слишком сдержанна. На раз'езде с одного бала Геккерен, подавая руку жене своей, громко сказал, так что Пушкин слышал: «Allons, ma légitime»**.

В воспоминаниях А. О. Россета сохранился следующий случай: «В воскресенье (перед поединком Пушкина: значит 24 января) Россет пошел в гости к князю П. И. Мещерскому (зятю Карамзиной, они

---

* «Он мне сказал, что мозоль госпожи Пушкиной красивее моей».

Вероятно французская фраза в записи Бартенева передана неверно. По сопоставлению с письмом Вяземского Вяземской, вероятно, было сказано: «Il m'a dit que le cor de la femme de Pouchkine est plus beau que celui de la mienne».>

** «Пойдем, моя законная».

жили в д. Виельторских), и из гостиной прошел в кабинет, где Пушкин играл в шахматы с хозяином. «Ну, что,—обратился он к Россету,—вы были в гостиной: он уже там, возле моей жены?» Даже не назвал Дантеса по имени. Этот вопрос смутил Россета, и он отвечал, заминаясь, что Дантеса видел. Пушкин был большой наблюдатель физиономий,—он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над смущением 23-летнего офицера».

Данзас рассказывает один эпизод из этого периода, рисующий степень раздражения Пушкина. Мне кажется, что в рассказе Данзаса не все соответствует действительности, но он может об'яснить, почему вызов был направлен не Дантесу, а Геккерену.

«Геккерен заставлял сына своего писать к нему
75 письма, в которых Дантес убеждал его забыть прошлое и помириться. Таких писем Пушкин получил два, одно еще до обеда, бывшего у графа Строганова, на которое и отвечал за этим обедом барону Геккерену на словах, что он не желает возобновлять с Дантесом никаких отношений. Несмотря на этот ответ, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом, но Пушкин его не принял. Вслед за этим визитом, который Дантес сделал Пушкину, вероятно, по совету Геккерена, Пушкин получил второе письмо от Дантеса. Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к бывшей тогда фрейлине г-же Загряжской, с которою был в родстве. Пушкин через нее хотел возвратить письмо Дантесу; но, встретясь у ней с бароном Геккереном, он подошел к нему, и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не толь-

ко читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет.

Верный принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина, Геккерен отвечал, что так как письмо это писано было к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его.

Этот ответ взорвал Пушкина и он бросил письмо в лицо Геккерену со словами: «Tu la recevras, gredin!*»

Ну, конечно, последняя фраза не была сказана. Как ни смотреть на Геккерена, нельзя, конечно, не признать, что, выслушав такое оскорбление, Геккерен тотчас же должен был вызвать Пушкина. Недопустимо, чтобы он смолчал.

Ближайший повод рассказан дочерью Пушкиной (от П. П. Ланского) — А. П. Араповой в ее воспоминаниях. В них личность Пушкина изображена темными красками, и ей трудно верить в очень многих сообщениях о Пушкине, но в том рассказе, который я сейчас приведу, ей можно и должно поверить, ибо это говорит дочь о матери.

«Геккерен, окончательно разочарованный в своих надеждах, так как при редких встречах в свете Наталья Николаевна избегала, как огня, всякой возможности разговоров, хорошо проученная их последствиями, прибегнул к последнему средству.

Он написал ей письмо, которое было—вопль отчаяния с первого до последнего слова.

Цель его была добиться свидания. Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью, что прибегает к

---

* «Получи его, подлец!»

ней единственно, как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит ее достоинства и чистоту. Письмо, однако же, кончалось угрозою, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносилен смертному приговору, а может быть даже и двум. Жена в своей безумной страсти способна последовать данному им примеру, и, загубленные в угоду трусливому опасению, две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу».

«Года за три перед смертью,—пишет в своих воспоминаниях А. П. Арапова,—она рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ее слов я узнала, что, дойдя до этого эпизода, мать, со слезами на глазах сказала: «Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своей кровью, а я—счастьем и покоем всей своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же кратко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве сострадания... Но кто допустит его искренность?»

Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетики, в Кавалергардских казармах, так как муж ее состоял офицером этого полка... Чтобы предотвратить опасность возможных последствий, Полетика сочла нужным посвятить в тайну предпо-

лагавшейся встречи своего друга, влюбленного в нее кавалергардского ротмистра П. П. Ланского (впоследствии второго мужа Пушкиной), поручив ему под видом прогулки около здания зорко следить за всякой подозрительной личностью».

Когда Наталье Николаевне пришлось давать объяснения по поводу свидания своему мужу, получившему анонимное уведомление об этом событии, она так рассказала (в передаче ее дочери) о том, что происходило во время этого свидания: «Она не только не отперлась, но с присущим ей прямодушием поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание ее не имело того значения, которое она предполагала, а было лишь хитростью влюбленного человека. Этого открытия было достаточно, чтобы возмутить ее до глубины души, и тотчас же, прервав беседу, своей таинственностью одинаково оскорбляющую мужа и сестру, она твердо заявила Геккерену, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям и что это первое его, угрозами вынужденное свидание непреклонною ее волею станет и последним».

А. П. Арапова окружает свой рассказ роем психологических и моральных соображений. Мы можем оставить их без внимания и взять только одно утверждение о факте свидания. Да, на квартире у Идалии Григорьевны Полетики состоялось свидание Дантеса с Натальей Николаевной.

Об этом свидании мы знаем и из другого источника—из рассказов княгини В. Ф. Вяземской, записанных П. И. Бартеневым: «Madame N. N., по настоянию Геккерена, пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что когда она осталась с глазу на

глаз с Геккереном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастию, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату и гостья бросилась к ней»[1].

Наталья Николаевна, передававшая мужу всякие волновавшие его пустые подробности своих отношений к Дантесу, на этот раз не сочла нужным рассказать ему о столь выдающемся и столь компрометирующем событии, как свидание наедине с Дантесом, и Пушкин, по рассказу А. П. Араповой, узнал о свидании на другой же день из анонимного письма. Носило ли свидание в Кавалергардских казармах тот характер, какой стремилась придать ему Н. Н. Пушкина, или иной, гораздо более обидный для ее женской чести,—все равно, чаша терпения Пушкина была переполнена, и раздражению уже не могло быть положено никакого предела. Оно стремительно вышло из границ. Пушкин решил—быть поединку.

В своем решении он открылся накануне вызова давнишней своей приятельнице из Тригорского, дочери П. А. Осиповой, Зине Вульф. Впрочем в это время она уже не была «Зиной Вульф», а была замужем и звалась баронессой Евпраксией Николаевной Вревской. За несколько дней до дуэли, в январе 1837 года, она приехала в Петербург к жившей здесь сестре своей Аннете Вульф и видалась с Пушкиным. Пушкин был очень близок с П. А. Осиповой и ее дочерьми; с ними он мог говорить совершенно откровенно и просто, говорить так, как он, пожалуй, ни с кем в Петербурге не мог говорить. И действи-

тельно, надо думать, он имел с Вульф значительный разговор. В письме к брату Николаю Ивановичу от 28 февраля 1837 года Александр Иванович Тургенев пишет: «Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, у коей я был в Тригорском, что он будет драться. Она не умела или не могла помешать, и теперь упрек жены, которая узнала об этом, на них падает». Когда Тургенев, отвозивший тело Пушкина в Святогорский монастырь, навестил Тригорское, Осипова рассказывала ему о разговоре дочери своей с Пушкиным и впоследствии писала о том же. По поводу ее письма Тургенев писал ей 24 февраля: «Умоляю вас написать мне все, что вы умолчали и о чем только намекнули в письме вашем,—это важно для истории последних дней Пушкина. Он говорил с вашей милой дочерью почти накануне дуэли; передайте мне верно и обстоятельно слова его; их можно сообразить с тем, что он говорил другим,—и правда об'яснится. Если вы потребуете тайны, то обещаю вам ее: но для чего таить то, на чем уже лежит печать смерти!»

Письма Осиповой к Тургеневу до нас не дошли, и неизвестно, ответила ли она на запрос Тургенева. Есть еще одно свидетельство о разговоре Пушкина с сестрами Вульф. Муж Евпраксии Николаевны, барон Б. А. Вревский, писал 28 февраля 1837 года мужу сестры Пушкина, Н. И. Павлищеву: «Евпраксия Николаевна была с покойным Александром Сергеевичем все последние дни его жизни. Она находит, что он счастлив, что избавлен этих душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования».

Очевидно, задушевные беседы Пушкина с тригор-

скими приятельницами имели влияние на его душу, что-то выяснили, были значительными. Недаром и князь Вяземский отметил факт разговора Пушкина с сестрами Вульф. «Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории и, верно, вести были для него неблагоприятны. По крайней мере, со времени приезда этих дам он стал еще раздраженнее и тревожнее, чем прежде». До последних дней в памяти князя и княгини Вяземских сохранялось впечатление о том, что беседа с дочерьми П. А. Осиповой имела какое-то решительное значение в истории поединка. По позднейшим их рассказам, записанным П. И. Бартеневым, «в Петербург приехали девицы Осиповы, тригорские приятельницы поэта; их расспросы, что значат ходившие слухи, тревожили Пушкина. Между тем, он молчал, и на этот раз никто из друзей его ничего не подозревал». Но почему Осипова не передала Тургеневу всего, что говорил Пушкин ее дочерям? Что он сказал им такого, что Осипова не сочла возможным сообщить Тургеневу? Ясно, во всяком случае, что ее сообщения далеко не соответствовали той версии истории дуэли, которую распространяли друзья Пушкина,—той версии, которая тщательно умалчивала об интимных событиях в семье Пушкина. В прямую связь с тем обстоятельством, что Осипова и ее дочери знали о дуэли Пушкина больше того, что хотели бы оповестить о ней друзья Пушкина, надо поставить их отрицательное отношение к Наталье Николаевне. А. И. Тургенев опасался даже, что П. А. Осипова окажет плохой прием Наталье Николаевне. 31 мая 1837 года он писал князю П. А. Вяземскому: «Не пошлешь ли ты Осиповой выписки из своего письма к Давыдову всего, что ты говоришь о вдове Пушкина.

Не худо ее вразумить прежде, нежели Пушкина приедет к ней».

Евпраксия Николаевна писала 25 апреля 1837 года своему брату А. Н. Вульфу: «Недавно читали мы из «Сенатских ведомостей» приговор Дантеса: разжаловать в солдаты и выслать из России с жандармом за то, что он дерзким поступком с женою Пушкина вынудил последнего написать обидное письмо отцу и ему, а он за это вызвал Пушкина на дуэль. Тут жена не очень приятную играет роль, во всяком случае. Она просит у маменьки позволения приехать отдать последний долг бедному Пушкину — так она его называет. Какова?»

Вообще в семействе Осиповых-Вульф Пушкин оставил по себе долгую память. Проходили годы, а Пушкин все еще оставался живым в преданиях этой семьи, в разговорах, письмах. С этим культом Пушкина хочется сопоставить отношение к Пушкину и его памяти со стороны Гончаровых. И если неприязнь П. А. Осиповой и ее дочерей, любивших Пушкина и осведомленных в истории последних месяцев его жизни, является лишь косвенным свидетельством о степени прикосновенности Натальи Николаевны к трагическим событиям, преждевременно лишившим нас Пушкина, то таким же косвенным доказательством может послужить отношение Гончаровых к памяти Пушкина. Вот их-то память оказалась чрезвычайно коротка. Пушкин умер для них 29 января 1837 года и не был забыт окончательно лишь по той простой причине, что с его памятью была крепко связана материальная жизнь его вдовы, его детей. Никакого культа Пушкина у Натальи Николаевны не оказалось, да и не могло оказаться, и не прошло 7 лет, как Наталья Николаевна, выйдя замуж за

П. П. Ланского, вошла в тихую и счастливую жизнь, заставившую ее забыть о годах первого своего замужества. Даже малонаблюдательный старик Пушкин, отец поэта, повидав Наталью Николаевну осенью 1837 года, нашел, что сестра ее Александра Николаевна «более ее огорчена потерею ее мужа» [2].

А о других Гончаровых и говорить нечего. Разговоры о том, будто общение между Гончаровыми и Дантесами было порвано, действительностью не оправдываются: в архиве Дантесов-Геккеренов сохранилось немало пространных и задушевных писем Н. И. Гончаровой и ее сыновей к Екатерине Николаевне и ее мужу Дантесу. Эта переписка с очевидностью говорит нам о том, что деяние Жоржа Дантеса не диктовало Гончаровым никакой сдержанности в отношениях к убийце Пушкина. Следовательно, его поведение не встречало с их стороны отрицательной оценки. Воздерживалась от переписки с сестрой и ее мужем только Наталья Николаевна, а об'яснения ее воздержания, данные ее братом Д. Н. Гончаровым в письме к Екатерине Николаевне, весьма любопытны: «Вы спрашиваете меня, по какой причине Nathalie вам не пишет; честное слово, не знаю, но думаю, что нет никаких других причин, кроме опасения скомпрометировать перепиской с вами свое достоинство или скорее свое положение в свете». Итак, между Пушкиной и Дантесами стояла всего лишь боязнь скомпрометировать себя в свете—и больше ничего.

Еще одно косвенное доказательство против Пушкиной имеется в весьма категорическом указании Геккерена-старшего. В своих об'яснениях графу Нессельроде барон Геккерен возложил ответственность за случившееся на Наталью Николаевну. «Я якобы

подстрекал моего сына к ухаживаниям за г-жею Пушкиной. Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела, она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся». Известно, что следственная комиссия не нашла возможным обращаться с какими-либо вопросами к Наталье Николаевне Пушкиной.

Дантес не считал себя виновным и утверждал, что доказательства его невиновности находятся в руках Натальи Николаевны. Летом 1837 года в Баден-Бадене Дантес встретился с Андреем Николаевичем Карамзиным, — и вот как описывал эту встречу А. Н. Карамзин в письме к матери от 28 июня 1837 года: «Вечером на гулянии увидал я Дантеса с женой: они оба пристально на меня поглядели, но не кланялись; я подошел к ним первый, и тогда Дантес à la lettre * бросился ко мне и протянул мне руку. Я не могу выразить смешения чувств, которые тогда толпились у меня в сердце при виде этих двух представителей прошедшего, которые так живо напоминали мне и то, что было, и то, что уж нет и не будет. Обменявшись несколькими обыкновенными фразами, я отошел и пристал к другим: русское чувство боролось у меня с жалостью и каким-то внутренним голосом, говорящим в пользу Дантеса. Я заметил, что Дантес ждет меня, и в самом деле он

* Буквально.

скоро опять пристал ко мне и, схватив меня за руку, потащил в пустые аллеи.

Не прошло двух минут, что он уже рассказывал мне со всеми подробностями свою несчастную историю и с жаром оправдывался в моих обвинениях, которые я дерзко ему высказывал. Он мне показывал копию с страшного пушкинского письма, протокол ответов в Военном суде и клялся в совершенной невинности. Всего более и всего сильнее отвергал он малейшее отношение к Наталье Николаевне после обручения с сестрою ее и настаивал на том, что второй вызов a été comme une tuile qui lui est tombée sur la tête *. Со слезами на глазах говорил он о поведении вашем в отношении к нему и несколько раз повторял, что оно глубоко огорчило его... «Votre famille que j'estimais de coeur, votre frère surtout que j'aimais et dans lequel j'avais confience m'abandonnait en devenant mon ennemi sans vouloir m'entendre ni me donner la possibilité de me justifier, c'était cruel, c'était mal à lui». Он прибавил: «Ma justification complète ne peut venir que de m-me Pouchkine, dans quelques années, quand elle sera calme, elle dira peut-être, que j'ai tout fait pour les sauver et que si je n'y ai pas réussi, cela n'a pas été de ma faute» ** и т. д.

---

* Упал ему как снег на голову (буквально—черепица).

** «Ваша семья, которую я глубоко уважаю, в особенности ваш брат, к которому я питал доверие, покинул меня, сделавшись моим врагом, не желая выслушать меня и не давая мне возможности оправдаться. Это было жестоко, это было дурно с его стороны».

«Мое полное оправдание зависит от мадам Пушкиной. Через несколько лет, когда она успокоится, она скажет, может быть, что я сделал все, чтобы спасти их, и если это мне не удалось, то не по моей вине».

Разговор и гулянье наше продолжалось от 8 до 11 час. вечера. Бог их рассудит, я буду с ним знаком, но не дружен по-старому — c'est tout ce que ej puis faire*.

«Я сделал все, чтобы «их спасти», — говорил Дантес А. Н. Карамзину. Когда Е. И. Загряжская собиралась переговорить с Пушкиным о брачных намерениях Дантеса, барон Геккерен накануне разговора писал ей: «Вы знаете, что я не уполномочивал вас говорить с Пушкиным, что вы делаете это по своей воле, чтобы спасти своих». Этого заявления Дантеса и Геккерена нельзя не оценивать.

Приведенными свидетельствами—прямыми (рассказы дочери Н. Н. Пушкиной и княгини В. Ф. Вяземской со слов самой Н. Н.) и косвенными—исчерпываются все данные, имеющиеся в нашем распоряжении в настоящее время о вине Натальи Николаевны. Эти свидетельства достаточно красноречивы.

15

Во вторник, 26 января, Пушкин отправил барону Геккерену письмо, в котором, по выражению князя Вяземского, «он излил все свое бешенство, всю скорбь раздраженного, оскорбленного сердца своего, желая, жаждая развязки, и пером, омоченным в желчи, запятнал неизгладимыми поношениями и старика, и молодого»[1]. Письмо было нужно лишь как символ нанесения неизгладимой обиды, и этой цели оно удовлетворяло вполне — даже в такой мере, что ни один из друзей Пушкина, ни один из светских людей, ни один дипломат, ни сам Николай Павлович не могли извинить Пушкину этого письма. «Пос-

* Вот все, что я могу сделать.

ледний повод к дуэли, которого никто не постигает и заключавшийся в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, сделал Дантеса правым в сем деле»— заключил император Николай Павлович в письме к брату своему, великому князю Михаилу Павловичу. Н. М. Смирнов позднее отзывался об этом письме: «оно было столь сильно, что одна кровь могла смыть находившиеся в нем оскорбления».

Приводим это письмо в переводе, сделанном (не вполне точно, зато стильно) в следственной по делу о дуэли комиссии.

«Господин барон! Позвольте мне изложить вкратце все случившееся. Поведение вашего сына было мне давно известно, и я не мог остаться равнодушным.

Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый взяться за дело, когда почту за нужное. Случай, который во всякую другую минуту был бы мне очень неприятным, представился весьма счастливым, чтобы мне разделаться. Я получил безыменные письма и увидел, что настала минута, и я ею воспользовался. Остальное вы знаете. Я заставил вашего сына играть столь жалкую роль, что моя жена, удивленная такой низостью и плоскостью его, не могла воздержаться от смеха, и ощущение, которое бы она могла иметь к этой сильной и высокой страсти, погасло в самом холодном презрении и заслуженном отвращении. Я должен признаться, господин барон, что поведение собственно ваше было не совершенно прилично. Вы, представитель коронованной главы, вы родительски сводничали вашему сыну; кажется, что все поведение его (довольно неловкое, впрочем) было вами руководимо. Это вы, вероятно, внушали ему все заслуживающие жалости выходки и глупости, которые он позволял себе писать. Подобно старой

развратнице, вы сторожили жену мою во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына, и когда больной венерической болезнью, он оставался дома, вы говорили, что он умирал от любви к ней; вы ей бормотали: «возвратите мне сына». — Вы согласитесь, господин барон, что после всего этого я не могу сносить, чтоб мое семейство имело малейшее сношение с вашим. С этим условием я согласился не преследовать более этого гадкого дела и не обесчестить вас в глазах вашего Двора и нашего, на что я имел право и намерение. Я не забочусь, чтоб жена моя еще слушала ваши отцовские увещания, не могу позволить, чтобы сын ваш после своего отвратительного поведения осмелился обращаться к моей жене и еще менее того говорил ей казарменные каламбуры и играл роль преданности и несчастной страсти, тогда как он подлец и негодяй. Я вынужден обратиться и просить вас окончить все эти проделки, если вы хотите избежать новой огласки, пред которой я верно не отступлю.

Имею честь быть, господин барон, ваш покорный и послушный слуга А. Пушкин»[2].

Князь Вяземский — очевидно, со слов д'Аршиака — приводит сказанную ему Пушкиным за час до поединка фразу: «С начала этого дела я вздохнул свободно только в ту минуту, когда именно написал это письмо». В тот день, когда письмо было отправлено к Геккерену, Тургенев видел Пушкина два раза, и оба раза Пушкин был весел. Он провел с ним часть утра и видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости; Тургенев и Пушкин долго разговаривали о многом, и Пушкин шутил и смеялся[3].

Почти никто из окружавших Пушкина не знал о письме, которое было послано 26 января барону Геккерену. Веселость его, так запомнившаяся А. И. Тургеневу, могла обмануть все подозрения. Один только человек в доме Пушкина знал об этом письме: то была Александра Николаевна Гончарова[4].

Каких результатов ждал Пушкин от своего письма? Конечно, он должен был предвидеть, что может последовать вызов на дуэль, но можно ли думать, что Пушкин, зная характер Геккерена, мог рассчитывать и на то, что Геккерен не пойдет на дуэль, промолчит о письме и только примет меры к действительному прекращению флирта и каких-либо сношений с домом Пушкина? Такое мнение было высказано в литературе о пушкинской дуэли, но вряд ли с ним можно согласиться. Пушкин жаждал именно развязки, а пока существовал свет и в этом свете были своими Геккерены, до той поры не мог бы успокоиться Пушкин. Наоборот: если бы письмо не подействовало, Пушкин, конечно, не остановился бы и перед дальнейшими воздействиями.

Предоставим слово барону Геккерену. 30 января в донесении своему министру он следующим образом излагал историю дуэли:

«Мы в семье наслаждались полным счастьем; мы жили, обласканные любовью и уважением всего общества, которое наперерыв старалось осыпать нас многочисленными тому доказательствами. Но мы старательно избегали посещать дом господина Пушкина, так как его мрачный и мстительный характер нам был слишком знаком. С той и другой стороны отношения ограничивались лишь поклонами.

Не знаю, чему следует приписать нижеследующее

обстоятельство: необ'яснимой ли ко всему свету вообще, и ко мне в частности, зависти, или какому-либо другому неведомому побуждению, — но только прошлый вторник (сегодня у нас суббота), в ту минуту, когда мы собирались на обед к графу Строганову, без всякой видимой причины я получаю письмо от господина Пушкина. Мое перо отказывается воспроизвести все отвратительные оскорбления, которыми наполнено было это подлое письмо.

Все же я готов представить вашему превосходительству копию с него, если вы потребуете, но на сегодня разрешите ограничиться только уверением, что самые презренные эпитеты были в нем даны моему сыну, что доброе имя его достойной матери, давно умершей, было попрано, что моя честь и мое поведение были оклеветаны самым гнусным образом.

Что же мне оставалось делать? Вызвать его самому? Но, во-первых, общественное звание, которым королю было благоугодно меня облечь, препятствовало этому; кроме того, тем дело не кончилось бы. Если бы я остался победителем, то обесчестил бы своего сына; недоброжелатели всюду бы говорили, что я сам вызвался, так как уже раз улаживал подобное дело, в котором сын обнаружил недостаток храбрости; а если бы я пал жертвой, то его жена осталась бы без поддержки, так как мой сын неминуемо выступил бы мстителем. Однако, я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан».

Эти строки подтверждают рассказ Данзаса: «Говорят, что, получив это письмо, Геккерен бросился за советом к графу Строганову, и что граф, прочитав

письмо, дал совет Геккерену, чтобы сын его, барон Дантес, вызвал Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом». Этот граф Григорий Александрович Строганов (1770—1857) был родственником Натальи Николаевны: он был по матери двоюродный брат матери Натальи Николаевны — Н. И. Гончаровой. В свое время, будучи посланником в Испании (1805—1813), граф Г. А. Строганов приобрел шумную известность своими победами над женскими сердцами.

Вызов Пушкину от лица Дантеса передал в тот же день виконт д'Аршиак вместе с письмом Геккерена.

«Милостивый государь! — писал барон Геккерен. — Не зная ни вашего почерка, ни вашей подписи, я обратился к виконту д'Аршиаку, который передаст вам это письмо, с просьбой удостовериться, точно ли письмо, на которое я отвечаю, от вас».

Начало письма неудачное и фальшивое. Геккерен пишет, что не знает ни подписи, ни почерка Пушкина, а тремя строками ниже, упоминая о письме с отказом от вызова, он говорит, что это письмо, писанное рукою Пушкина, налицо: значит, почерк и подпись Пушкина были ему знакомы, и удостоверяться в подлинности письма Пушкина от 26 января было делом лишним [5].

«Содержание письма, — продолжал Геккерен, — до такой степени переходит всякие границы возможного, что я отказываюсь отвечать на подробности этого послания». — Но менее всего Пушкин хотел бы об'яснений Геккерена! — «Мне кажется, вы забыли, милостивый государь, что вы сами отказались от вызова, сделанного барону Жоржу Геккерену,

принявшему его. Доказательство того, что я говорю, писанное вашей рукой, налицо и находится в руках секундантов. Мне остается только сказать, что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Геккереном; прибавляю при этом, что эта встреча должна состояться без всякой отсрочки. Впоследствии, милостивый государь, я найду средство научить вас уважению к званию, в которое я облечен и которое никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может».

Под письмом, кроме подписи барона Геккерена, находится еще подпись Дантеса: «Читано и одобрено мною».

В письме Геккерена останавливает внимание последняя фраза. Очевидно, Геккерен не верил в серьезность дуэли, если писал, что впоследствии, после дуэли, он найдет средство научить Пушкина уважению к его званию. Не лишенная интереса черточка!

16

Письмо к барону Геккерену Пушкин написал и отправил днем: Геккерен получил его, собираясь на обед к графу Строганову. Ответное письмо Геккерен сочинил, вернувшись с обеда от графа Строганова, с которым он посоветовался по поводу своих действий, и повидавшись с д'Аршиаком, который дал согласие вручить письмо Геккерена Пушкину и быть секундантом Дантеса. Д'Аршиак запросил Пушкина записочкой на визитной карточке: «Прошу г. Пушкина сделать мне честь сообщить, может ли он меня принять, и если он не может сейчас, то в каком часу это будет возможно». Сохранилась записка Пушкина к А. И. Тургеневу, писанная, по обозначению Турге-

нева, накануне дуэли: «Не могу отлучиться. Жду вас до 5 часов». Из сопоставления записок Пушкина и д'Аршиака можно с вероятностью заключить, что Пушкин не мог отлучиться в этот день, 26 января, так как он назначил час д'Аршиаку. Таким образом посещение д'Аршиака можно отнести ко времени перед вечером. Князь Вяземский сообщает следующую подробность этого посещения: «Д'Аршиак принес ответ. Пушкин его не читал, но принял вызов, который был ему сделан от имени сына». Своего секунданта Пушкин, конечно, не мог назвать сразу и сказал, что он в тот же день пришлет к д'Аршиаку лицо, которое им будет избрано. В тот же день д'Аршиак сообщил Пушкину, что он будет ждать секунданта его, Пушкина, до 11 часов вечера, у себя на дому, а после этого часа — на балу у графини Разумовской.

Выбор секунданта оказался для Пушкина делом нелегким. Сейчас мы расскажем о неудачном его обращении к англичанину Медженису. Друзья Пушкина об'яснили это обращение нежеланием Пушкина подводить своих соотечественников под неприятность следствия. Нам кажется, у Пушкина было и другое, важнейшее соображение: он боялся, что, пригласив в секунданты кого-либо из друзей своих или ближайших знакомых своего круга, он встретит с их стороны противодействие своей решимости и попытку опять устроить промедление, примирение вроде того, что было устроено в ноябре месяце. Пушкин боялся, что опять вмешаются Жуковский, князь Вяземский, потянется опять надоедливая канитель в деле, развязки которого он страстно жаждал. И Пушкин достиг своей цели. «Все мы, — писал впоследствии П. А. Плетнев, — узнали об общем нашем несчастии толь-

ко тогда, когда уже удар совершился». Пушкин вел дело с крайней стремительностью. 26 января он послал вызов и в этот же день было решено, что дело должно быть окончено на другой день — 27 января. Вечер 26 января Пушкин, по всей вероятности, посвятил поискам секунданта, не давшим результата. На короткое время Пушкин заходил к Вяземским. Князя не было дома, и Пушкин открылся в том, что он послал вызов, княгине Вере Федоровне, которая с давнего времени, еще с одесской поры, была близким его другом и поверенной в весьма интимных событиях его жизни. Сказал он ей о вызове или потому, что был уверен в том, что она не примет мер к активному противодействию, или потому, что знал, что колесо событий теперь уже нельзя повернуть в обратную сторону никакими вмешательствами. По всей вероятности, Пушкин не сказал о стремительности, с которой развивались события. Княгиня Вяземская не знала, что ей делать; не помогли ей в этом и бывшие у нее в тот вечер В. А. Перовский и граф М. Ю. Виельгорский. Князь же Вяземский на беду вернулся очень поздно [1].

Вечером Пушкин был на балу у графини Разумовской. Здесь он имел разговор с д'Аршиаком. Кто-то обратил внимание князя Вяземского на Пушкина и д'Аршиака: «Пойдите, посмотрите, Пушкин о чем-то об'ясняется с д'Аршиаком, тут что-нибудь недоброе», — сказали Вяземскому. Вяземский направился в сторону Пушкина и д'Аршиака, но при его приближении разговор прекратился.

По всей вероятности, на балу же Пушкину пришла мысль обратиться с просьбой быть его секундантом к Артуру Медженису (Arthur C. Magenis), состоявшему при английском посольстве. В рассказах Н. М.

Смирнова есть несколько строк об этом Медженисе: «Он часто бывал у графини Фикельмон — долгоносый англичанин (потом он был посол в Португалии), которого звали perroquet malade *, очень порядочный человек, которого Пушкин уважал за честный нрав». Артур Меджепис не дал категорического согласия, а только обещал переговорить с д'Аршиаком тут же на балу.

Меджепис сказал д'Аршиаку, что Пушкин только что сообщил ему о своем деле с Геккереном и просил его быть секундантом; но Меджепис добавил, что он не дал окончательного согласия, а только обещал Пушкину переговорить с ним, д'Аршиаком. Но д'Аршиак отказался вступить в какие-либо переговоры с Медженисом, так как формально он не являлся секундантом Пушкина. Меджепис бросился искать по залам Пушкина, но не нашел его: он уже уехал домой. Было за полночь. Меджепис не решился лично заехать к Пушкину в такой поздний час, не желая вызвать своим посещением подозрения у хозяйки дома, и во втором часу ночи отправил Пушкину письмо. Изложив свой разговор с д'Аршиаком, Медженис закончил письмо отказом от секундантства, мотивируя его тем, что дело, на его взгляд, не могло окончиться миром, а только надежда на возможность мирного улажения дела и могла побудить его принять участие в деле.

Таким образом, в течение дня 26 января Пушкин не успел найти секунданта [2].

17

В решительный день 27 января, день дуэли, Пушкин находился с утра в возбужденном, бодром и ве-

* Больной попугай.

селом настроении. Жуковский в заметках, впервые оглашенных в нашей книге, записал следующие подробности этого утра Пушкина: «Встал весело в 8 часов — после чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. — Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни — потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. — Вошли в кабинет, запер дверь. — Через несколько минут послал за пистолетами. — По от'езде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу. — Возвратился. — Велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика.— Это было в 1 час».

Вернулся домой Пушкин уже после дуэли, раненым. Эти краткие, сжатые и необычайно ценные записи Жуковского мы можем несколько развернуть при помощи известных уже нам данных. Жуковский писал свои заметки на основании показаний домочадцев Пушкина, домочадцы судили о настроении Пушкина по его внешности, но было бы рискованно утверждать, что внутреннее его состояние соответствовало его наружному виду, что он внутренне был так же спокоен и бодр, как это казалось по его внешности.

27 января Пушкин встал весело в 8 часов. После чаю много писал — часу до 11-го. В начале 10-го часа Пушкин получил записку от д'Аршиака, который 26 января так и не дождался встречи с секундантом Пушкина. «Я ожидаю, — писал д'Аршиак, — сегодня же утром ответа на мою записку, которую я имел честь послать к вам вчера вечером. Мне необходимо переговорить с секундантом, которого вы выберете, при том в возможно скором времени. До полудня я буду дома; надеюсь еще до этого времени увидеться с тем, кого вам будет угодно прислать ко мне». На

это обращение Пушкин отвечал письмом, которое ему далось не сразу. Сохранились клочки черновика с поправками, свидетельствующие о неспокойном, нервном состоянии духа Пушкина; содержание ответа говорит о том же. Один опыт с секундантом накануне не удался, приглашать нового, посвящать его в подробности и рисковать получить отказ значило для Пушкина давать пищу петербургским празднолюбам. Разглашение же дела могло повести к вмешательству друзей. Поэтому он писал д'Аршиаку: «Я вовсе не желаю, чтобы праздные петербургские языки вмешивались в мои семейные дела; поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я приведу моего только на место поединка».

Из этих слов видно, что у Пушкина как будто уже наметился секундант. Но следующие слова письма приводят к обратному заключению: «Так как г. Геккерен — обиженный и вызвал меня, то он может сам выбрать для меня секунданта, если увидит в том надобность: я заранее принимаю всякого, если даже это будет его егерь». Предложение Пушкина шло против правил дуэльного кодекса и, понятно, ни в коем случае не могло быть принято противной стороной. Пушкин, конечно, знал это прекрасно, и если писал об этом д'Аршиаку, так потому только, что не мог сдержать себя, своей досады на невольную и не легко исполнимую обязанность найти секунданта. Не удержался он еще от одного выпада—уже по адресу д'Аршиака. «Что касается времени и места — я всегда готов к его услугам. По понятиям каждого русского это совершенно достаточно, — писал Пушкин. — Виконт, прошу вас верить, что это мое последнее слово, что мне нечего больше отвечать вам по поводу этого дела, и что я не тронусь с места до окончательной

встречи». Этот ответ д'Аршиаку был написан около 10 часов утра и тотчас же был отправлен по адресу.

Но этот ответ не разрешил дела. Он освобождал Пушкина лишь на некоторое время от настойчивости д'Аршиака. Секунданта еще не было и найти его нужно было непременно и безотлагательно. Мы не знаем, каким образом всплыла в памяти Пушкина мысль о лицейском товарище и друге Константине Карловиче Данзасе.

В 1837 году Данзас, в чине подполковника, служил в С.-Петербургской инженерной команде и аттестовался по кондуитному списку отлично-благородным. Благородство своего характера он доказал в деле Пушкина. Нелишнее привести его характеристику: «Данзас, по словам знавших его, был весельчак по натуре, имел совершенно французский склад ума, любил острить и сыпать каламбурами; вообще он в полном смысле был bon vivant. Состоя вечным полковником, он только за несколько лет до смерти, при выходе в отставку, получил чин генерала, вследствие того, что он в мирное время относился к службе благодушно, индиферентно и даже чересчур беспечно; хотя его все любили, даже его начальники, но хода по службе не давали... Данзас жил и умер в бедности, без семьи, не имея и не нажив никакого состояния, пренебрегая постоянно благами жизни, житейскими расчетами. Его и хоронили на счет казны. Открытый, прямодушный характер, соединенный с саркастическим взглядом на людей и вещи, не дал ему возможности составить, как говорится, себе карьеру. Несколько раз ему даже предлагались равные теплые и хлебные места, но он постоянно отказывался от них, говоря, что чувствует себя неспособным занимать такие места» [1].

Пушкин вспомнил о Данзасе и послал за ним. Мы



К. К. Да́нзас

не верим принятой и распространенной версии о нечаянной встрече Пушкина с Данзасом на улице утром 27 января и всецело принимаем сообщение Жуковского, что Пушкин встретил радостно Данзаса у себя в доме около 12 часов [2].

Среди размышлений о дуэли Пушкин вспомнил об А. О. Ишимовой, составительнице «Русской истории в рассказах для детей». Он хотел привлечь ее к работе для «Современника» и заказать ей перевод из любимого им Барри Корнуэля. 22 января он заходил к ней поговорить об этой работе, но не застал ее, а 26 января получил от нее приглашение побывать у ней 27 января: «Если для вас все равно, в которую сторону направить прогулку вашу завтра, то сделайте одолжение зайдите ко мне», — писала ему А. О. Ишимова. Она слышала от знакомых Пушкина, что он обыкновенно по окончании утренних трудов, часу в четвертом, всегда прогуливался. Но 27 января Пушкину было не до обычной прогулки. Потому ли, что Пушкин вспомнил о письме и приглашении Ишимовой, или потому, что попалась на глаза ее книга, но мысли об Ишимовой пришли ему в голову. Он разыскал книгу и зачитался. А затем он разыскал том Барри Корнуэля и отправил его к Ишимовой с письмом следующего содержания: «Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покамест, честь имею препроводить к вам* Barry Cornwall — вы найдете в конце книги пьэсы, отмеченные карандашем, переведите их, как умеете — уверяю вас, что переведете, как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался. Вот как надобно писать! [3]».

Пушкин, в роковой день дуэли зачитавшийся «Исто-

рией России в рассказах для детей», — вот подлинная пушкинская маска, приковывающая наше внимание и неустранимая из рассказа о последней дуэли Пушкина.

Глубокое впечатление оставляет и содержание, и форма, и внешность последнего письма к Ишимовой. Тон спокойствия, господствующий в этом письме, порядок всегдашних занятий, не изменившийся до последней минуты, изумительная точность в частном деле, даже почерк этого письма, сохраняющий все признаки внутренней тишины, свидетельствуют ясно, какова была сила души поэта.

Пакет Пушкина был получен Ишимовой «в 3-м часу пополудни».

Но возвратимся к записи Жуковского.

«С 11 часов обед. Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни. — Потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. — Вошли в кабинет, запер дверь. — Через несколько минут послали за пистолетами». По зову Пушкина или случайно (такое предположение черезчур диковинно!) Данзас приехал и радость Пушкина, что разрешился основной вопрос, который мучил его все утро, как больной зуб, была велика, бросалась в глаза — «Данзаса встретил радостно в дверях». Когда Данзас вошел в кабинет, Пушкин запер двери: он хотел сохранить в тайне разговор с Данзасом и то поручение, которое он давал ему. Об'яснился с ним и послал за пистолетами, которые были им заказаны или закуплены раньше. После об'яснения Данзас уехал: если он приехал по зову Пушкина, не зная, в чем дело, то естественно предположить, что ему надо было дать некоторое время для подготовки, — быть может, даже чисто внешней. Он уехал, конечно, условившись с Пушки-

ным встретиться в определенном месте. Какое поручение получил Данзас от Пушкина? Он должен был быть секундантом при дуэли, которая должна была произойти в тот же день, без всяких отсрочек и промедлений, должен был вместе с д'Аршиаком решить вопрос преимущественно о месте, — не о времени: время — самое ближайшее. Данзас согласился с предложениями Пушкина, и после его от'езда Пушкин стал готовиться к последнему в своей жизни поединку: начал одеваться; вымылся весь, надел чистое белье, приказал подать бекешу, вышел было в бекеше на лестницу, но вернулся и велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика. Было ровно час, когда он вышел из дому.

Как раз в это время пришло новое письмо д'Аршиака — ответ на письмо Пушкина, отправленное последним в 10 часов утра. Понятно, письмо Пушкина не удовлетворило д'Аршиака. Посоветовавшись, быть может, со своим доверителем, Жоржем Дантесом, д'Аршиак отвечал Пушкину следующим письмом, датированным «час дня пополудни»: «Оскорбивши честь барона Жоржа Геккерена, вы обязаны дать ему удовлетворение. Вы обязаны найти своего секунданта. Речи не может быть о том, чтобы вам его доставили. Готовый с своей стороны явиться в условленное место, барон Жорж Геккерен настаивает на том, чтобы вы соблюдали узаконенные формы. Всякое промедление будет рассматриваемо им, как отказ в том удовлетворении, которое вы обещали ему дать, и как намерение оглаской этого дела помешать его окончанию. Свидание между секундантами, необходимое перед дуэлью, становится — раз вы отказываете в нем — одним из условий барона Геккерена, а вы мне сказали вчера и написали сегодня, что вы принимаете все его

условия». В тот момент, когда это письмо пришло к Пушкину, оно было уже ненужным: дело было сделано, — секундант был найден.

Ровно в час дня Пушкин вышел из дома и пошел пешком до извозчика. В условленное время (через полчаса или около того?), в условленном месте, он встретился с К. К. Данзасом, посадил его в свои сани и повез во французское посольство к д'Аршиаку. Прибыв к д'Аршиаку, Пушкин «после обыкновенного приветствия с хозяином сказал громко, обращаясь к Данзасу: «Je veux vous mettre maintenant au fait de tout» *— и начал рассказывать ему все, что происходило между ним, Дантесом и Геккереном. В следственной комиссии Данзас следующим образом изложил содержание разговора у д'Аршиака: «Александр Сергеевич Пушкин начал объяснение свое у д'Аршиака следующим: «Получив письма от неизвестного, в коих он виновником почитал нидерландского посланника, и узнав о распространившихся в свете нелепых слухах, касающихся до чести жены его, он в ноябре месяце вызывал на дуэль г. поручика Геккерена, на которого публика указывала; но когда г. Геккерен предложил жениться на свояченице Пушкина, тогда, отступив от поединка, он, однако-ж, непременным условием требовал от г. Геккерена, чтоб не было никаких сношений между двумя семействами. Невзирая на сие, гг. Геккерены, даже после свадьбы, не переставали дерзким обхождением с женою его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мнения поносительного как для его чести, так и для чести его жены. Дабы положить сему конец, он на-

* «Теперь я посвящу вас в подробности дела».

писал 26 января письмо к нидерландскому посланнику, бывшее причиной вызова г. Геккерена. Засим Пушкин собственно для моего сведения прочел и самое письмо, которое, вероятно, было уже известно секунданту г. Геккерена». Прочитав копию с своего письма, Пушкин вручил ее Данзасу, затем отрекомендовал его д'Аршиаку, как своего секунданта, и удалился, предоставив секундантам выработать условия дуэли. К $2^1/_2$ часам условия были выработаны и закреплены на бумаге. Один экземпляр остался в руках д'Аршиака и сохранился в архиве баронов Дантесов-Геккеренов, второй экземпляр был у Данзаса. Вот текст условий в русском переводе.

«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять.

3. Сверх того принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется, как бы в первый раз: противники ставятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком об'яснении между противниками на месте боя.

6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою

сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».

«К сим условиям, — показывал на следствии Данзас, — д'Аршиак присовокупил не допускать никаких об'яснений между противниками, но он (Данзас) возразил, что согласен, во избежание новых каких-либо распрей, не дозволить им самим об'ясняться; но, имея еще в виду не упускать случая к примирению, он предложил с своей стороны, чтобы в случае малейшей возможности, секунданты могли об'ясняться за них».

Время поединка — пятый час дня; место — за Комендантской дачей. Условия дуэли были составлены в 2½ часа дня; очевидно, немного позже беседа Данзаса с д'Аршиаком была окончена, и Данзас поспешил к Пушкину, который, по условию, поджидал его в кондитерской Вольфа. «Было около 4-х часов. Выпив стакан лимонаду или воды, — Данзас не помнит, — Пушкин вышел с ним из кондитерской; сели в сани и направились к Троицкому мосту». Со слов, конечно, Данзаса, Вяземский сообщал вскоре после рокового события, что Пушкин казался спокойным и удовлетворенным, а во время поездки с Данзасом был покоен, ясен и весел.

18

В памяти Данзаса сохранились некоторые подробности этого путешествия на место дуэли [1]. На Дворцовой набережной они встретили в экипаже Наталью Николаевну. Пушкин смотрел в другую сторону, а жена его была близорука и не разглядела мужа. В этот сезон были великосветские катания с гор, и Пушкин с Данзасом встретили много знакомых, между

прочим двух конногвардейцев: князя В. Д. Голицына и Головина. Князь Голицын закричал им: «Что вы так поздно едете, все уже оттуда раз'езжаются». Молоденькой, 19-летней графине А. К. Воронцовой-Дашковой попались навстречу и сани с Пушкиным и Данзасом и сани с д'Аршиаком и Дантесом. На Неве Пушкин шутливо спросил Данзаса: «Не в крепость ли ты везешь меня?» — «Нет, — ответил Данзас: — через крепость на Черную речку самая близкая дорога».

Переезд продолжался около получаса или немногим больше. Выехав из города, увидели впереди другие сани: то был противник со своим секундантом. Под'ехали они к Комендантской даче в $4^{1}/_{2}$ часа, одновременно с Дантесом и д'Аршиаком. Остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги. Снег был по колена. Мороз был небольшой, но было ветрено [2]. «Весьма сильный ветер, который был в то время, принудил нас искать прикрытия в небольшом сосновом леску» (свидетельство д'Аршиака). «Данзас вышел из саней и, сговорясь с д'Аршиаком, отправился с ним отыскивать удобное для дуэли место. Они нашли такое саженях в полутораста от Комендантской дачи: более крупный и густой кустарник окружал здесь площадку и мог скрывать от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на ней происходило» (позднейший рассказ Данзаса).

Место было выбрано, но множество снега мешало противникам, и секунданты оказались в необходимости протоптать тропинку. «Оба секунданта и Геккерен занялись этой работой; Пушкин сел на сугробе и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка, в аршин шириною и в двадцать шагов длиною».



Место дуэли Пушкина

Слева приклеен кусок коры от березы, росшей на месте дуэли

Рисунок И. Криницкого, 1850-е годы

Секунданты отмерили тропинку, своими шинелями обозначили барьеры, один от другого в десяти шагах. Противники стали, каждый на расстоянии пяти шагов от своего барьера. Д'Аршиак и Данзас зарядили каждый свою пару пистолетов и вручили их противникам.

Впоследствии Данзас припоминал следующие подробности: «Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал, повидимому, был столько же покоен, как и во все время пути, но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и д'Аршиаком место, Пушкин ответил:

«Ça m'est fort égal, seulement tâchez de faire tout cela plus vite» *.

Отмерив шаги, Данзас и д'Аршиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту:

«Et bien! Est-ce fini?» **

Все приготовления были закончены. Сигнал к началу поединка был дан Данзасом. Он махнул шляпой, и противники начали сходиться. Они шли друг на друга грудью. Пушкин сразу подошел почти вплотную к своему барьеру. Дантес сделал четыре шага. Соперники приготовились стрелять. Спустя несколько мгновений раздался выстрел. Выстрелил Дантес.

Пушкин был ранен. Падая, он сказал:

---

* «Это мне совершенно безразлично. Только постарайтесь сделать все как можно скорее».

** «Ну, что же! Готово?»

«Je suis blessé» *.

Пушкин упал на шинель Данзаса, служившую барьером и остался недвижим, головой в снегу. При падении пистолет Пушкина увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. Секунданты бросились к нему. Сделал движение в его сторону и Дантес.

После нескольких секунд молчания и неподвижности Пушкин приподнялся до половины, опираясь на левую руку и сказал:

«Attendez, je me sens assez de force pour donner mon coup» **.

Дантес возвратился на свое место, стал боком и прикрыл свою грудь правой рукой. Данзас подал Пушкину новый пистолет взамен того, который при падении был забит снегом [3].

Опершись левой рукой о землю, Пушкин стал прицеливаться и твердой рукой выстрелил. Дантес пошатнулся и упал. Пушкин, увидя его падающего, подбросил вверх пистолет и закричал:

«Bravo!» ***.

Поединок был окончен, так как рана Пушкина была слишком серьезна, чтобы продолжать. Сделав выстрел, он снова упал. После этого два раза он впадал в полуобморочное состояние, и в течение нескольких мгновений мысли его были в помешательстве. Но тотчас же он пришел в сознание и более его не терял.

«Когда оба противника, — записал князь Вяземский, — лежали каждый на своем месте, Пушкин спросил д'Аршиака:

---

* «Я ранен».
** «Подождите, у меня хватит силы выстрелить».
*** «Браво!»

— Est-il tué?

— Non, mais il est blessé au bras et à la poitrine.

— C'est singulier: j'avais cru que cela m'aurait fait plaisir de le tuer; mais je sens que non. . .

Д'Аршиак хотел сказать несколько мировых слов, но Пушкин не дал ему времени продолжать.

— Au reste, c'est égal; si nous rétablissons tous les deux, ce sera à recommencer *.

Между тем из раны Пушкина кровь лилась изобильно. Надо было поднять раненого, но на руках донести его до саней, стоявших на дороге на расстоянии полверсты с лишком, было затруднительно. Данзас с д'Аршиаком подозвали извозчиков и с их помощью разобрали находившийся там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими силами усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней, вместе с д'Аршиаком. Пушкина сильно трясло в санях во время более чем полуверстного переезда до дороги по очень скверному пути. Он страдал, не жалуясь.

Дантес при поддержке д'Аршиака мог дойти до своих саней и ждал в них, пока не кончилась переноска его соперника.

У Комендантской дачи стояла карета, присланная

---

* — Он убит?

— Нет, но он ранен в руку и грудь.

— Странно; я думал, что мне доставит удовольствие его убить; но я чувствую, что этого нет.

. . . .

— Впрочем все равно; если мы оба поправимся, мы начнем сначала.

на всякий случай старшим Геккереном. Дантес и д'Аршиак предложили Данзасу воспользоваться их каретой для перевозки в город тяжело раненого Пушкина. Данзас нашел возможным принять это предложение, но решительно отвергнул другое, сделанное ему Дантесом, — предложение скрыть его участие в дуэли. Не сказав, что карета была барона Геккерена, Данзас посадил в нее Пушкина и, сев с ним рядом, поехал в город.

Дорогой Пушкин, повидимому, не страдал; по крайней мере, Данзасу это не было заметно. Он был даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты. Пушкин вспомнил о дуэли общего их знакомого офицера л.-гв. Московского полка Щербачева, стрелявшегося с Дороховым, на которой Щербачев был смертельно ранен в живот. Жалуясь на боль, Пушкин сказал Данзасу: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев». Он напомнил также Данзасу и о своей прежней дуэли в Кишиневе с Зубовым [4].

В шесть часов вечера карета с Данзасом и Пушкиным под'ехала к дому князя Волконского на Мойке, где жил Пушкин. У под'езда Пушкин попросил Данзаса выйти вперед, послать за людьми вынести его из кареты и предупредить жену, если она дома, сказав ей, что рана не опасна.

Сбежались люди, вынесли своего барина из кареты. Камердинер взял его в охапку.

— Грустно тебе нести меня? — спросил его Пушкин.

Внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван...

Пушкин был на своем смертном одре.

Документы и материалы

Письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину, как источник для биографии А. С. Пушкина

1

Важнейшими источниками для истории последней дуэли и последних дней жизни Пушкина, кроме документов, находящихся в военносудном деле и касающихся дуэли писем, являются письма А. И. Тургенева от 28, 29, 31 января и 1 февраля того же года и его записи в дневнике, письма князя П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову от 5-го, к Д. В. Давыдову от 9 февраля и к великому князю Михаилу Павловичу от 14 февраля, записки врачей, лечивших Пушкина, и, наконец, письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года.

Самой достоверной и авторитетной историей последних дней жизни Пушкина принято считать описание, составленное В. А. Жуковским в форме письма к отцу поэта, жившему в то время в Москве. Жуковский воспользовался как своими наблюдениями и впечатлениями, так и показаниями других свидетелей — очевидцев. Жуковский произвел нечто вроде опроса свидетелей. Князь Вяземский в письме к Булгакову от 5 февраля писал: «Собираем теперь, что

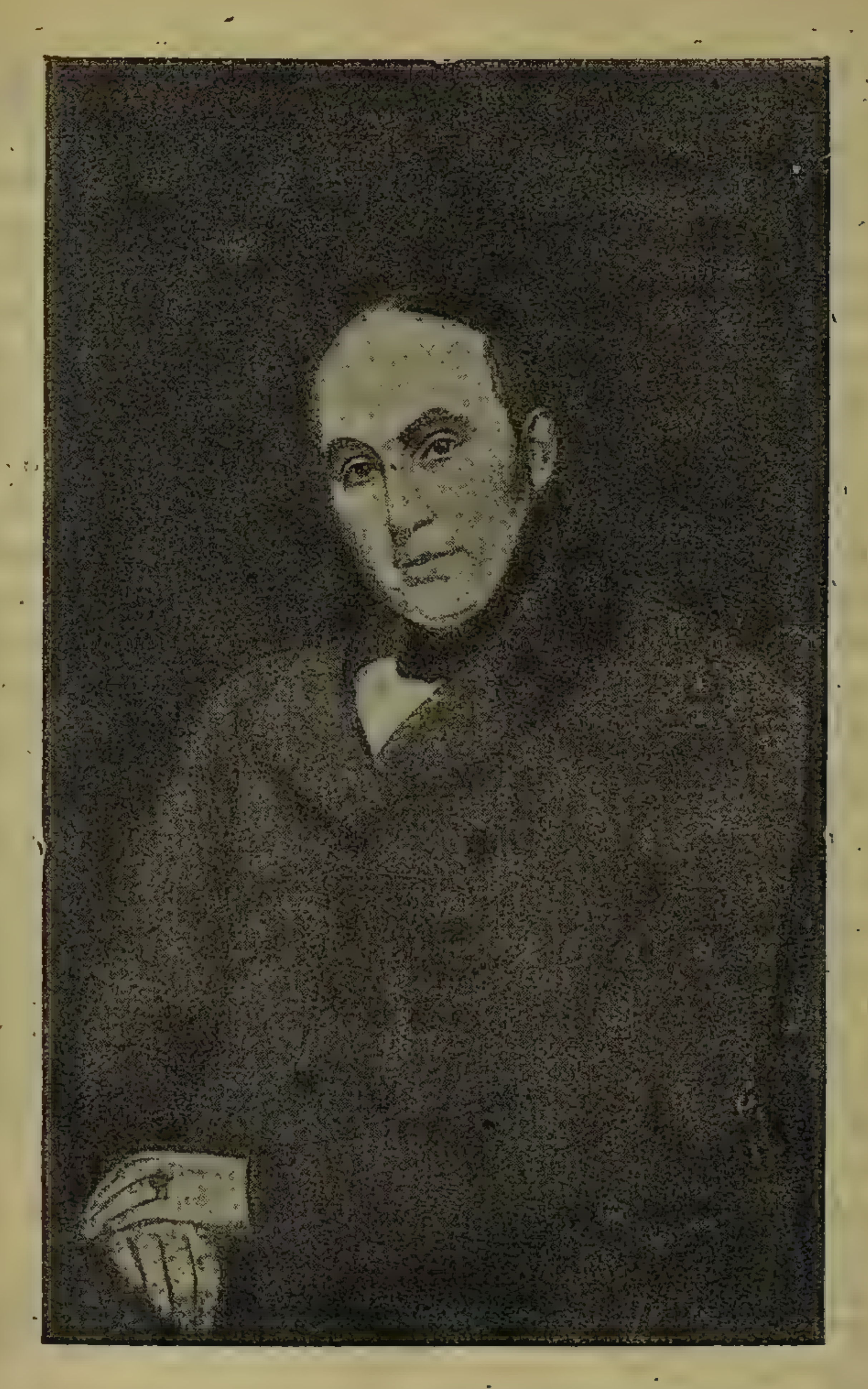
каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и документами». А на другой день по отсылке помянутого письма, 6 февраля, писал ему: «сделай милость, не замедли выслать мне копию со вчерашнего письма моего: Жуковский требует его для составления общей реляции из очных наших ставок». Письмо-статья Жуковского датировано 15 февраля. Когда А. И. Тургенев уезжал в Москву, Жуковский вручил ему это письмо при следующей записке [1]:

«Вот тебе, мой милый Александр, письмо, которое передай от меня Сергею Львовичу. Можешь его после вытребовать и прочитать, в нем подробное описание последних минут Пушкина. Обнимаю тебя.

Жуковский».

Описание предназначалось не столько для отца покойного поэта, сколько для самого широкого распространения. В первой, вышедшей после смерти Пушкина книге «Современника» (а с основания журнала — 5-й) Жуковский напечатал это письмо под заглавием: «Последние минуты Пушкина». Здесь оно появилось с значительными сокращениями. Только в 1864 году в «Русском архиве» были сообщены «Неизданные отрывки из письма В. А. Жуковского о кончине Пушкина» [2]. С этого времени письмо-статья В. А. Жуковского в полной редакции помещается в собраниях его сочинений.

Сразу, с момента появления статьи Жуковского, было признано огромнейшее ее значение как первостепенного и непререкаемого источника для истории не только последних смертных дней, но и больше — всей жизни и миросозерцания поэта. Свет, которым освещены в изображении Жуковского последние мину-



В. А. Жуковский
С портрета К. П. Брюллова

ты жизни Пушкина, бросает отблеск свой на последние годы жизни поэта и проникает сокровеннейшие основы его мысли и сердца. С таким искусством написана статья Жуковского, что впечатление, навеянное картиной умирания поэта, неотвязно влечет за собой и определенное, — то, а не иное — представление об его духовном образе, о внутренней жизни его в основных, по крайней мере, чертах. Описание Жуковского носит чисто житийный характер. Кончина Пушкина представлена как идеал кончины во всей его житийной закругленности. Пушкин * умер глубоким христианином, в примирении, любви и просветлении. В момент перехода от жизни к смерти он с необычайной силой выказал чувства своей преданности монарху, напоминающие по настроению чувства сына к отцу. Своей кончиной он дал всем очевидцам заветы любви к монарху. Наконец всякому читателю ясно, что Пушкин умирал в непоколебимых чувствах любви и доверия к жене своей; мало того, он дал многочисленные свидетельства в пользу ее решительной невиновности. Вообще, быть может, не характерны для жизни умирающего те настроения и чувства, что проявляются в моменты агонии, тяжкой и бессознательной борьбы жизни и смерти. Но в изображении Жуковского подчеркивается органическая связь настроения, проникавшего Пушкина в последние дни жизни, с жизнью его вообще. Поэтому-то описание Жуковского имеет интерес и значение не для истории частного эпизода жизни, а для биографии поэта в широком смысле слова.

Высказанное в момент появления признание именно такого значения за статьей Жуковского остается в

* По свидетельству Жуковского.

силе и по сие время. Всякий раз, как исследователю приходится говорить о духовной жизни и миросозерцании Пушкина в последние годы его жизни, для истории которых источников меньше, чем для всякого другого периода, он невольно и неизбежно подпадает под влияние этой статьи Жуковского: столь непререкаемым свидетельством она представляется. Но источник этот для биографии Пушкина еще не подвергался критике и брался только на веру. А между тем у нас есть о письме Жуковского одно заявление, которым не следовало бы пренебрегать, ибо оно исходит тоже от очевидца и человека, которому должно верить — от П. А. Плетнева. В письме к Я. К. Гроту от 3 декабря 1847 года он пишет: «Ты, кажется, не все выразумел, что я думал, говоря об истории. Мне сердце сжала мысль, как неверно то, чем занимаемся мы с увлечением. Не от того дело портится, что много плохих историков, а от того, что это самое дело превышает естественные способы наши к его неукоризненному исполнению. Подобная мысль сжимает мое сердце уже второй раз в жизни. В первый раз это было, когда я прочитал известную прекрасную статью Жуковского под названием «Последние минуты Пушкина». Я был свидетелем этих последних минут поэта. Несколько дней они были в порядке и ясности у меня на сердце. Когда я прочитал Жуковского, я поражен был сбивчивостью и неточностью его рассказа; тогда-то я подумал в первый раз: так вот что значит наша история... Я тогда же мог бы хоть для себя сделать перемены в этой статье. Но время ушло. У меня самого потемнело и сбилось в голове все, казавшееся окрепшим навеки».

Слова Плетнева вызывают на критическое отноше-

ние к статье Жуковского и обязывают выяснить, в какой мере она может быть признана соответствующей действительности. Выяснение может итти по двум путям. Во-первых, должно и можно проверить статью Жуковского сравнением с другими источниками — письмами Вяземского и Тургенева и записками врачей. Во-вторых, надо дать анализ содержания самой статьи и решить вопрос о возможности внутренних противоречий. С этой целью необходимо произвести и филологическую работу: сравнение редакций печатных и известных нам списков. Последняя работа была, впрочем, невозможна, ибо авторских рукописей письма не было известно. Только в самое последнее время стало возможным изучение списков письма, находящихся в собрании А. Ф. Онегина, принадлежащем ныне Пушкинскому Дому. Эти соображения о методе исследования мы должны положить в основу критики письма Жуковского как исторического источника.

Для нашей цели представляется необходимым критическое издание самого текста статьи Жуковского.

Выше было упомянуто о двух печатных редакциях: краткой в «Современнике» и полной по дополнениям «Русского архива». В собрании А. Ф. Онегина оказалось два весьма авторитетных списка письма, зарегистрированных в описании Б. Л. Модзалевского под № 63 в серии «Документы из бумаг Жуковского». Первый список — тетрадка в 12 листов почтовой бумаги большого формата; текстом занято в ней 11 листов. Это — черновик с многочисленнейшими исправлениями, часть коих сделана чернилами и карандашом самим Жуковским. Второй список — тетрадка из такой же бумаги в 18 листов, из которых записано 17. Здесь текст перебелен без помарок, весьма

тщательно. Карандашом сделаны кое-какие пометы и намечены места, исключенные в печати.

При ближайшем изучении выяснилось, что текст первого списка до исправлений, тут же сделанных, представляет первоначальную редакцию письма и приобретает весьма значительный интерес в двух отношениях. Во-первых, часть этой редакции отсутствует в обеих печатных редакциях, — как полной, так и сокращенной, — и, следовательно, становится известной впервые. Надо думать, первый замысел Жуковского был — изложить не только историю умирания Пушкина, но и обстоятельства самого поединка. Но рассказ о поединке, имеющийся в первоначальной редакции, не попал в нашедшие распространение тексты. Во-вторых, анализ исправлений и изменений, сделанных в первоначальной редакции, дает возможность вскрыть самый процесс последовательной работы Жуковского над фактическим материалом, легшим в основу статьи, и установить факт весьма своеобразного использования этого материала. От установления этого факта уже нетрудно перейти к определению степени зависимости фактического изложения от тенденций, руководивших Жуковским в составлении описания, и к выяснению действительного значения его статьи как фактического источника. Получаются выводы, весьма любопытные и важные для фактической истории последних дней жизни поэта.

Мы издаем тот текст статьи Жуковского, который читается в первом списке, как он был положен на бумагу, до начала каких-либо исправлений. Это — первоначальная и самая полная редакция письма. Ее Жуковский основательно «проредактировал»: внес много изменений и сделал сокращения. Первоначальная редакция сравнена мною с текстом краткой ре-

дакции в «Современнике» и полной по «Русскому архиву».

Нетрудно сразу же определить мотивы, по которым были совершены Жуковским исключения для «Современника». Очевидно, в печати Жуковский не мог или не должен был упоминать о том, что болезнь Пушкина была результатом дуэли, о том, как держал себя в этих обстоятельствах император Николай Павлович, и о том, какое отношение проявили в этом случае некоторые иностранные дипломаты, как барон Барант и барон Люцероде. Особенно странным является первый мотив умолчания, но, действительно, если статью Жуковского прочтет человек, не слыхавший, что Пушкин дрался на дуэли и был ранен, он никогда не узнает и не поймет, отчего же помер Пушкин и зачем ему нужно было прощение государя. Жуковский, например, всегда выбрасывает слово «рана» и поэтому не останавливается перед изменением подлинных слов Пушкина. Так, диалог между Пушкиным и первым осматривавшим его врачом Шольцем изменен следующим образом. В скобках ставим тот текст, который был первоначально, до исправлений, в первом списке и который сходен с текстом записки Шольца. Пушкин спрашивает:

«Что вы думаете о моем положении? [...о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови]. Скажите откровенно [, как вы находите рану?]

«Не могу вам скрыть, вы в опасности [она опасная].

«Скажите лучше умираю. [Скажите мне, смертельная!]»

Одного примера достаточно.

2

В. А. Плетнев был поражен сбивчивостью и неточностью рассказа Жуковского. Подозрение в неточности возникает тотчас же, если поставить на разрешение задачу хронологическую, задачу определения, что в какой момент случилось. Жуковский пользовался записками врачей, но часто фразу, приуроченную тем или иным источником к одному месту или к одному времени, переносит в другое время и место. С своими источниками, т. е. главнейшим образом записками врачей, Жуковский обращается вполне свободно: он не останавливается даже перед редакцией тех подлинных слов Пушкина, которые приводятся в записках. Иногда эти изменения вызываются соображениями цензурными, по временам — просто литературными вкусами самого Жуковского, а кое-где — и его нарочитыми соображениями. Так, например, приводя в передаче доктора Спасского слова Пушкина о жене («не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо знаете»), Жуковский опускает еще одну фразу: «она должна все знать». Особенно чувствуется сбивчивость показаний Жуковского, излагающих отношение больного Пушкина к жене. Так, в первоначальной редакции Жуковский рассказывает, как жена встретила больного в передней, упала без чувств и, очнувшись, хотела войти в кабинет, и как Пушкин закричал: «n'entrez pas!»* А по печатной редакции оказывается, что жена ничего не знала о прибытии раненого и хотела войти в кабинет, а он закричал: «n'entrez pas, il y a du monde chez moi» **.

* «Не входите!»
** «Не входите, у меня гости».

Первоначальная версия о первой встрече жены с Пушкиным соответствует и рассказу Данзаса, а, главное, сообщению самого Жуковского в конспективных его записках. «Жена встретилась в передней—дурнота — «n'entrez pas». Остается неясным, по каким причинам Жуковский допустил явное искажение действительного факта. Еще одно противоречие бросается в глаза. Жуковский, как, впрочем, и князь Вяземский, старательно подчеркивает все из'явления заботливости умирающего Пушкина о жене, все выражения любви его к ней. Оно и понятно. Князь Вяземский совершенно отчетливо выразил основную задачу: «более всего не забывайте,—писал он 9 февраля 1837 года Д. В. Давыдову,—что Пушкин нам всем, друзьям своим, как истинным душеприказчикам, завещал священную обязанность: оградить имя жены от клеветы. Он жил и умер в чувстве любви к ней и в убеждении, что она невинна. И мы, очевидцы всего, что было, проникнуты этим убеждением. Это главное в настоящем положении». Жуковский несколько раз возвращается к заявлениям о том, как Пушкин, из любви к жене и из нежелания ее беспокоить, старался скрыть от нее свои страдания, представить свою рану неопасной и т. д. И рядом с этими заявлениями сам же Жуковский приводит фразу, сказанную Пушкиным вечером 27 января Спасскому: «не давайте излишних надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело... она должна все знать». Весьма знаменателен тот мотив, который, по об'яснению А. И. Тургенева, побудил Пушкина не скрывать своего опасного положения от жены. «Пушкин сказал жене: «Arndm'a condamné, je suis blessé mortellement»*

* «Арендт приговорил меня, я ранен смертельно».

Он беспокоится за жену, думая, что она ничего не знает об опасности, и говорит, что «люди заедят ее, думая, что она в эти минуты была равнодушною»: это решило его сказать ей об опасности». С обстоятельством, засвидетельствованным Спасским и Тургеневым, мало согласуются многие подробности, сообщаемые Жуковским.

3

Вопрос о христианских чувствах Пушкина в момент кончины поднят и решен Жуковским в связи с изложением обстоятельств исполнения им «христианского долга». Этот эпизод связан с эпизодом получения Пушкиным записки от государя. На нем следует остановиться подробнее.

История записки государя к Пушкину очень загадочна. Совершенно непонятно, почему Арендту было приказано не оставлять записки Пушкину, а только прочесть и вернуть обратно. По Жуковскому, Пушкин настоятельно умолял оставить ее при нем, и Арендт «успокоил его обещанием испросить на то позволение», но письмо все-таки не вернулось к Пушкину. Когда было привезено и прочитано это письмо Арендтом? По рассказу Спасского, Арендт, вернувшись в 8 часов, остался с Пушкиным наедине. Затем при нем же явился священник и приобщил его. Следующий приезд Арендта, по Спасскому, был уже в 11 часов; в этот приезд он уже не мог бы привезти записки, в которой государь давал просимое Пушкиным прощение и совет исполнить христианский долг. Ведь если записка явилась ответом на доклад Арендта, хотя бы и заочный, то несомненно, докладывая просьбу Пушкина о прощении, он, только что бывший свидетелем исполнения христианского долга, не пре-

минул бы доложить о свершившемся факте. Если верить рассказу Спасского, написанному 2 февраля, то записка государя была прочитана Арендтом уже во второй его приезд, когда он вернулся в 8 часов вечера. Надо, впрочем, подчеркнуть, что Спасский не упоминает о факте чтения записки. По рассказу Жуковского, состоявшемуся значительно позже, Арендт приехал с запиской в полночь[1]. Любопытно сопоставить с этими данными и сообщение Тургенева в письме к Нефедьевой. Хронологически это самое первое известие о дуэли и болезни Пушкина. А. И. Тургенев корреспондировал, так сказать, с места: он писал свое письмо в 9 часов утра от себя, собираясь итти вновь в дом Пушкина, из которого он ушел в 4-м часу утра. А прибыл он туда с вечеринки князя Щербатова уже после Жуковского, бывшего там между 10 и 11 часами. И вот в первом своем письме, писанном в 9 часов утра, Тургенев совершенно не упоминает о записке государя. По изложению Тургенева, дело происходило так: «Пушкин просил Арендта съездить к государю и попросить у него прощение секунданту Данзасу, коего подхватил он на дороге,—и себе самому; государь прислал к нему Арендта сказать, что если он исповедуется и причастится, то ему это будет очень приятно и что он простит его. Пушкин обрадовался, послал за священником и приобщился после исповеди... Государь велел сказать ему, что он не оставит жены и детей его: это его обрадовало и успокоило [2]. Итак, по этому раннейшему отчету выходит, что во 1) записки вовсе не было, и во 2) исполнение Пушкиным христианского долга было в какой-то зависимости от выраженного государем совета-желания и обещания простить, обусловленного именно соблюдением обряда.

По Спасскому же, Пушкин из'явил желание исповедаться и приобщиться до приезда Арендта; тогда же и было послано за священником. По Жуковскому, Пушкин согласился исполнить долг, но «положено было» призвать священника утром. Послали же за священником тотчас же по приезде Арендта, специально вследствие выраженной в записке воли [3].

Тургенев, послав письмо Нефедьевой, отправился в дом Пушкина и отсюда в 11 часов утра писал нечто иное: «Государь прислал к нему вчера [4] же Арендта с письмом, писанным карандашом, которое велел прочесть Пушкину и привезти к себе назад: вот à peu près* выражения письма: «Есть ли бог не велит уже нам увидеться на этом свете, то прими мое прощение и совет умереть по христиански и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на свое попечение».—Это обрадовало Пушкина и успокоило».

Но почему же Тургенев, просидевший у Пушкина до 4-го часа утра, узнал о таком важном факте только утром 29 января? Ответ представляется затруднительным. Но если записка была, то какое же было ее содержание? Уехав в полночь (если еще не раньше, если еще не вечером), Арендт уже увозил ее с собой. Показал ли он ее наполнявшим комнаты Пушкина его друзьям? Нет, ибо если бы показал хотя бы Жуковскому, то Тургенев уже, конечно, написал бы об этом в письме, отправленном в 9 часов утра. Если самый факт чтения собственноручной записки государя сделался известен друзьям Пушкина значительно позже, через несколько часов после того, как записки самой уже не было, то каким образом сделался

* Приблизительно.

известен ее текст? Он не был никем записан; иначе он не варьировался бы во всех, самых авторитетных списках у Вяземского, Тургенева, Жуковского.

Мало того, он варьируется под пером одного и того же лица. Так, Тургеневу пришлось сообщить текст записки еще раз, 31 января, в письме к брату Николаю Ивановичу. В текстах оказалось различие. Воспроизводим еще раз текст записки по спискам Тургенева, отмечая в прямых скобках отличие по письму к брату.

«Есть ли бог не велит уже нам увидеться [не приведет нам свидеться] на этом свете, то прими мое прощение и совет умереть по христиански и причаститься [исполнить долг христ. исповедайся и причастись]; а о жене и о детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на свое попечение».

А в своем дневнике под 27 января (л. 71) А. И. Тургенев сообщил записку государя уже с новыми изменениями:

«Если бог не велит нам свидеться на этом свете, то прими мое прощение (которого Пушкин просил у него себе и Данзасу) и совет умереть христианином, исповедаться и причаститься; а за жену и детей не беспокойся: они мои дети, и я буду пещись о них».

Князь Вяземский в письме к А. Я. Булгакову дает следующий текст:

«Есть ли бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет: умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я беру их на свои руки».

Переходя к сообщению Жуковского и обращаясь к черновику его письма к С. Л. Пушкину, мы можем видеть, как Жуковский работал над установлением

текста. Приводим текст окончательный, отмечая в скобках первоначальные чтения.

«Есть ли бог не велит нам более увидеться, [прими] посылаю тебе мое прощение, [а с ним и] и вместе мой совет: [кончить жизнь христиански] исполнить долг христианский. О жене и детях не беспокойся; я их беру на свое попечение».

Итак, точный текст записки Николая Павловича нам неизвестен. Но содержание слов, написанных государем или только устно переданных, по всем версиям одинаково: они содержали обещание позаботиться о жене и детях Пушкина и кроме того настоятельный совет исполнить христианский долг. Исполнением долга, быть может, было обусловлено просимое прощение. Несмотря на то, что Спасский, Жуковский и Вяземский стараются представить дело так, что Пушкин согласился исполнить христианский долг по собственному почину, приходится признать, что обращение к священнику было совершено под воздействием устно через Арендта или письменно выраженной воли государя.

Вяземский и Жуковский стараются изобразить смерть Пушкина как момент замирения противоположных чувств, момент забвения обид и вражды, момент высшего просветления, или вообще, как идеал христианской кончины в боге. «Дай бог, говорит князь Вяземский, нам каждому подобную кончину». В описаниях Вяземского и Жуковского немало риторических мест, и, если таланту Жуковского была свойственна некоторая риторичность, мешающая различать риторику слова и риторику факта, то князю Вяземскому это свойство было чуждо, и он поистине не похож сам на себя в своих риторических отступлениях.

Но соответствие действительности в набросанной друзьями картине смерти окажется весьма сомнительным, если вспомним оброненный Тургеневым рассказ в письме к Нефедьевой от 1 февраля: «Когда Жуковский представлял государю записку о семействе Пушкина, то, сказав все, что у него было на сердце, он прибавил à peu près так: «Для себя же, государь, я прошу той милости, какою я уже воспользовался при кончине Карамзина: позвольте мне так же, как и тогда, написать указы о том, что вы повелеть изволите для Пушкина» (Жуковский писал докладную записку и указы о пенсии Карамзину и семейству его). На это государь отвечал Жуковскому: «Ты видишь, что я делаю все, что можно, для Пушкина и для семейства его и на все согласен, но в одном только не могу согласиться с тобою: это в том, чтобы ты написал указы как о Карамзине. Есть разница: ты видишь, что мы насилу довели его до смерти христианской (разумея, вероятно, совет государя исповедаться и причаститься), а Карамзин умирал, как ангел». Сообщая о том же факте своему брату 31 января, Тургенев писал немного иначе: «Государь отвечал: «Я во всем с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнивать его в уважении с Карамзиным. Тот умирал, как ангел».

К этому следует добавить слова Д. В. Дашкова, который передавал князю Вяземскому, что государь сказал ему: «Какой чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина» [3]. Если бы все происходило так, как описывают Вяземский и Жуковский, то вряд ли бы в императоре могло возникнуть такое нехорошее мне-

ние о последних минутах жизни Пушкина! Ясно, таким образом, что рассказам Жуковского и Вяземского нельзя доверять. Эпизод с запиской государя и исполнением христианского долга для нас остается темным и весьма недоуменным; но можно, кажется, утверждать, что в действительности события развивались не так, как изображено у друзей Пушкина.

4

Переходим к тому изображению патриотических чувств Пушкина, которое находим в письме Жуковского.

«Несколько слов, произнесенных Пушкиным на своем смертном одре, доказали, насколько он был привязан, предан и благодарен государю»,—писал князь П. А. Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. «В эти два дня (дни предсмертных мучений) Пушкин только и начинал говорить, что о жене и о государе»,—читаем в письме Вяземского к А. Я. Булгакову. Одною из главнейших задач друзей Пушкина было показать силу и глубину верноподданнических чувств Пушкина, тех чувств, в которых сильно сомневались и граф Бенкендорф, и сам Николай Павлович. И, действительно, об этих чувствах свидетельствует фраза Пушкина, напечатанная курсивом в «Современнике» в описании Жуковского: «*скажи государю, что мне жаль умереть; был бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгого царствования, что я ему желаю счастия в его сыне, счастия в его России*». Эта патриотическая фраза, конечно, не была произнесена Пушкиным, а была сочинена Жуковским: за авторство Жуковского говорит ее стиль с закруг-

лениями и повторениями. Несомненно также, что не мог Пушкин говорить столь долго и столь стройно среди тяжких физических страданий. Даже прощаясь с друзьями, он не в состоянии был сказать им слово. Но если бы мы попытались выяснить, когда и кому была сказана эта фраза, то мы констатировали бы полное расхождение в показаниях друзей Пушкина. Такая фраза должна бы отлиться в неизменную форму в памяти свидетелей кончины. А между тем, в самом точном источнике—в письмах А. И. Тургенева, писанных в комнатах Пушкина в самый час развертывавшихся событий,—такой фразы нет [1].

Только в письме от 28 января под датой «2-й час» (дня) Тургенев, не придавая эпизоду еще того значения, которое было закреплено Вяземским и Жуковским, упоминает лишь о следующем: «Прежде получения письма государя сказал «жду царского слова, чтобы умереть спокойно» и еще: «жаль, что умираю: весь его бы был», т. е. царев». По Тургеневу выходит, что слова эти сказаны были задолго до прощания с друзьями, до получения письма, т. е. по крайней мере до 12 часов ночи. В письме к А. Я. Булгакову князь Вяземский относит произнесение этих слов ко времени получения записки государя. «Скажите государю, говорил Пушкин Арендту, что жалею о потере жизни, потому что не могу изъявить ему мою благодарность, что я был бы весь его!» Итак, по этой версии, слова эти были сказаны Арендту. Но князь Вяземский, как бы боясь возможных сомнений, счел нужным заверить истину факта еще следующим утверждением в скобках: «эти слова слышаны мною и врезались в память и сердце мое по чувству, с коим они были произнесены». Но если слова были сказаны Арендту часов в 12 ночи, когда была прочтена



Доктор Арендт

С рис. Крюгера, литография Виктора

записка, то князь Вяземский не присутствовал в этот момент, ибо, как из сообщения Спасского видно, Арендт говорил с Пушкиным наедине, это во-первых, а во-вторых, никто из друзей не входил в комнату умирающего: «я провел в доме Пушкина, говорит Тургенев, до 4-го часа утра с Жуковским, гр. Виельгорским, Данзасом: но к нему входит только один Данзас». Но, может быть, князь Вяземский ошибся: не Арендту были сказаны эти слова, а Жуковскому. «В одном современном списке с этого письма,—говорится в примечании к тексту письма в «Русском архиве»,—слова «говорил Арендту» зачеркнуты и рукою князя П. А. Вяземского вместо них написано: «сказал Жуковскому». Но не сделаны ли эти поправки князем Вяземским, когда уже распространилось письмо Жуковского к С. Л. Пушкину? В подлиннике письма, написанном 5 февраля, стоит «говорил Арендту», так точно и в копии письма, приложенной к письму князя Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу от 14 февраля [2].

Обращаясь теперь к сообщению Жуковского, мы можем благодаря сохранившимся черновикам, восстановить процесс постепенной разработки этой фразы, постепенного ее округления. Рассказ о сцене прощания и о том, как Пушкин только махнул рукою, когда Жуковский с ним прощался, кончается фразой: «я отошел», а после этих слов в черновике следовало: «также простился он и с Вяземским», но над строкой знаком # отмечена вставка, которую Жуковский предположил перенести из последующего своего рассказа. Сообщив о своем решении (после того, как услышал слова Пушкина: «жду царского слова, чтобы умереть покойно») ехать к государю, Жуковский об'ясняет свои мотивы: «Надобно знать, что, простившись с

Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: «Может быть я увижу государя; что мне сказать ему от тебя?»—«Скажи ему,—отвечал он,—что мне жаль умереть, был бы в е с ь е г о». Эти слова были выделены скобками, как подлежащие перенесению в отмеченное место, но здесь же для этой цели они были выправлены так: «Но через минуту я возвратился к его постели и спросил у него, может быть увижу государя; что мне сказать ему от тебя?—Скажи, отвечал он, что мне жаль умереть; был бы в е с ь его». Но на этом разработка слов Пушкина еще не закончилась, ибо при слове в е с ь Жуковский сделал карандашом отметку, а вверху страницы, повторяя эту отметку, он карандашом же написал: «В другой раз нет... нет скажи, что я... я желаю ему долгого... долгого». На этих карандашных строках Жуковский наконец написал слова Пушкина в окончательной редакции: «Он опять подозвал меня: «Скажи государю,—сказал он,—что мне жаль умирать: был бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгого, долгого царствования—что я ему желаю счастия в его сыне, счастия в его России». Эти слова говорил он слабо, отрывисто, но явственно». Эта редакция была тут же перечеркнута самим Жуковским. Итак, по первоначальной редакции выходит, что, выслушав слова Пушкина («Скажи ему, что мне жаль умереть; был бы весь его»), Жуковский отправился к государю и встретил фельдъегеря, посланного от царя звать Жуковского во дворец. «Я рассказал,—пишет Жуковский, — о том, что говорил Пушкин. Я счел долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству». Затем Жуковский передал государю просьбу за Данзаса и не получил на нее удовлетворительного ответа. Тем не менее Жуковский пишет: «Я возвратился с

утешительным ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением: «Вот как я утешен!—сказал он.—Скажи государю, что я желаю ему счастия в его сыне, что я желаю ему счастия в его России». Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно».

Из изложения процесса работы Жуковского над воссозданием или, вернее, над созданием патриотических слов Пушкина обнаруживается сомнительность самого факта их произнесения. Пушкин среди своих мучений так мало и редко говорил, что каждое слово отпечатлевалось в памяти, и странно было бы забыть или спутать его слова, особенно такие торжественные. Признавая всю возможную слабость человеческой памяти, нельзя же думать, что Жуковский мог забыть и спутать обстоятельства. Но мы имеем в своем распоряжении один документ, в котором Жуковский выдает себя с головой.

В черновом проекте просьбы о милостях семье Пушкина Жуковский, между прочим, просит у государя разрешения написать по поводу смерти Пушкина особую бумагу или манифест вроде того, который он, Жуковский, написал после смерти Карамзина. Желая побудить государя к согласию, Жуковский пишет: «Мною передано было от вас последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле. Вот что он ответил, подняв руки к небу с каким-то судорожным движением (и что я вчера забыл передать вашему величеству): «Как я утешен! скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в сыне, что я желаю счастия в счастии России».

Трудно, почти невозможно допустить, что Жуковский забыл бы передать государю такие слова Пуш-

кина, докладывая ему о последних минутах Пушкина. Легче допустить, что эти слова создались сами собой в голове и сердце Жуковского. И не принять ли за истинную—версию, записанную в дневнике Тургенева: «Пушкин сложил руки и благодарил бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю благодарность»? Не дали ли «сложенные руки» повод Жуковскому говорить о судорожном движении, а изъявление чувства благодарности не развернулось ли в риторическую фразу?

5

Приведенными выше наблюдениями и данными анализа текста значение письма Жуковского, как непреложного и достоверного источника, сильно подрывается. Ясно, что картины смерти Пушкина, набросанные Жуковским, не соответствуют действительности. Самые факты Жуковский подгонял в угоду излюбленным своим тенденциям. Академиком А. Н. Веселовским отмечено присущее Жуковскому стремление к своеобразной идеализации всего, к чему он ни прикасался. Процесс идеализации совершался у него бессознательно. Эта особенность творческого дарования Жуковского отразилась и на разбираемом письме не на пользу истине факта. Пушкин у него явился таким же христианином и патриотом по настроению и чувству, каким был он сам, Жуковский. Но не только указанная творческая особенность играла роль при воссоздании истории последних минут Пушкина. После катастрофической смерти Пушкина надлежало охранить моральные и материальные интересы семьи Пушкина, и надо отдать справедливость—Жуковский и друзья Пушкина совершили с этой целью в пределе земном все земное. Но охрана материальных интере-

сов была неразрывно связана с защитой покойного Пушкина против сыпавшихся на него обвинений и в безбожии, и в неблагодарности императору, и в отсутствии у него истинного патриотизма, и в забвении истинно монархических начал. Дело друзей Пушкина обострялось еще и тем обстоятельством, что эти обвинения падали и на них, как на друзей Пушкина. Защищая Пушкина, они защищали, следовательно, и себя. Допустим, что помянутые обвинения в значительной мере не соответствовали действительности. Значит ли такое допущение, что абсолютно верны опровергающие утверждения Жуковского и Вяземского? Не перегнули ли они слишком в обратную сторону? А между тем, надо признать, что победу и в памяти современников, и в памяти потомства одержали они, друзья Пушкина. Своим пониманием Пушкина, которое было манифестировано ими сейчас же после смерти и по поводу ее, они заразили всех исследователей и биографов Пушкина.

Поэтому-то совершенно особенное значение приобретают те разоблачения, которые приносит критика письма Жуковского как исторического источника. Ибо пострадавшим является не только «самое достоверное» изображение последних минут Пушкина, но и связанное с ним известное представление о Пушкине в последние годы, о религиозных и политических основах его миросозерцания. Мы получаем возможность отрешиться, наконец, от навязанного нам Жуковским образа поэта: мы не приобретаем, правда, положительных знаний о нем, но мы можем сказать, что перо Жуковского не считалось с действительным положением вещей; можем сказать, что ни предсмертные настроения Пушкина, ни сокровенные глубины его души не были такими, какими они явились в изображении

Жуковского. Какими же они были в действительности? Ответить на этот вопрос мы сейчас не можем, но мы будем искать ответа, ибо теперь нет у нас ни достоверной картины последних дней жизни поэта, ни авторитетной и бесспорной характеристики его духовной личности в последние годы.

Письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину в первоначальной редакции

Здесь печатается первоначальная редакция письма Жуковского, т. е. тот текст, который читался в первом (черновом) из указанных выше двух списков до начала каких-либо исправлений.

Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастьем, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! это к несчастию верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных, ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы; еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается его живой веселый смех, и там, где он бывал еждневно, ничто не переменилось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте; а он пропал и навсегда — непостижимо! В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созреванье со-

вершалось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, буйною, часто беспорядочною силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества, столь же свежей, как и первая; может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца?

И между всеми русскими особенную потерю сделал в нем сам государь. При начале своего царствования он его себе присвоил; он отворил руки ему в то время, когда он был раздражен несчастием, им самим на себя навлеченным; он следил за ним до последнего его часа; бывали минуты, в которые, как буйный, еще неостепенившийся ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ими усиливалась, в одном — чувством испытанного им наслаждения простить, в другом — живым движением благодарности, которая более и более проникала душу Пушкина и наконец слилась в ней с поэзиею.

Государь потерял в нем свое создание, своего поэта, который принадлежал бы к славе его царствования, как Державин славе Екатерины, а Карамзин славе Александра.

И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению. Он отозвался умирающему на последний земной крик его; и как отозвался? Какое русское сердце не затрепетало благодарностью на этот голос царский? В этом голосе выражалось не одно личное, трогательное чувство, но вместе и любовь к народной славе и высокий приговор



Дуэль Пушкина

С картины А. Наумова

нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной.

Первые минуты ужасного горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебе все, что было в последние минуты твоего сына, что я видел сам, что мне рассказали другие очевидцы.

Опишу просто все, что со мною было. В середу 27-го числа генваря в 10-ть часов вечера приехал я к князю Вяземскому. Вхожу в переднюю. Мне говорят, что князь и княгиня у Пушкиных. Это показалось мне странным. Почему меня не позвали? Сходя с лестницы, я зашел к Валуеву. Он встретил меня словами: «Получили ли вы записку княгини? К вам давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает; он смертельно ранен». Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы, велел везти себя прямо к Пушкину, но, проезжая мимо Михайловского дворца и зная, что граф Виельгорский находится у великой княгини (у которой тогда был концерт), велел его вызвать и сказал ему о случившемся, дабы он мог немедленно по окончании вечера, вслед за мною же приехать. Вхожу в переднюю (из которой дверь была прямо в кабинет твоего умирающего сына), нахожу в нем докторов Арендта и Спасского, князя Вяземского, князя Мещерского, Валуева. На мой вопрос: каков он? Арендт, который с самого начала не имел никакой надежды, отвечал мне: очень плох, он умрет непременно.

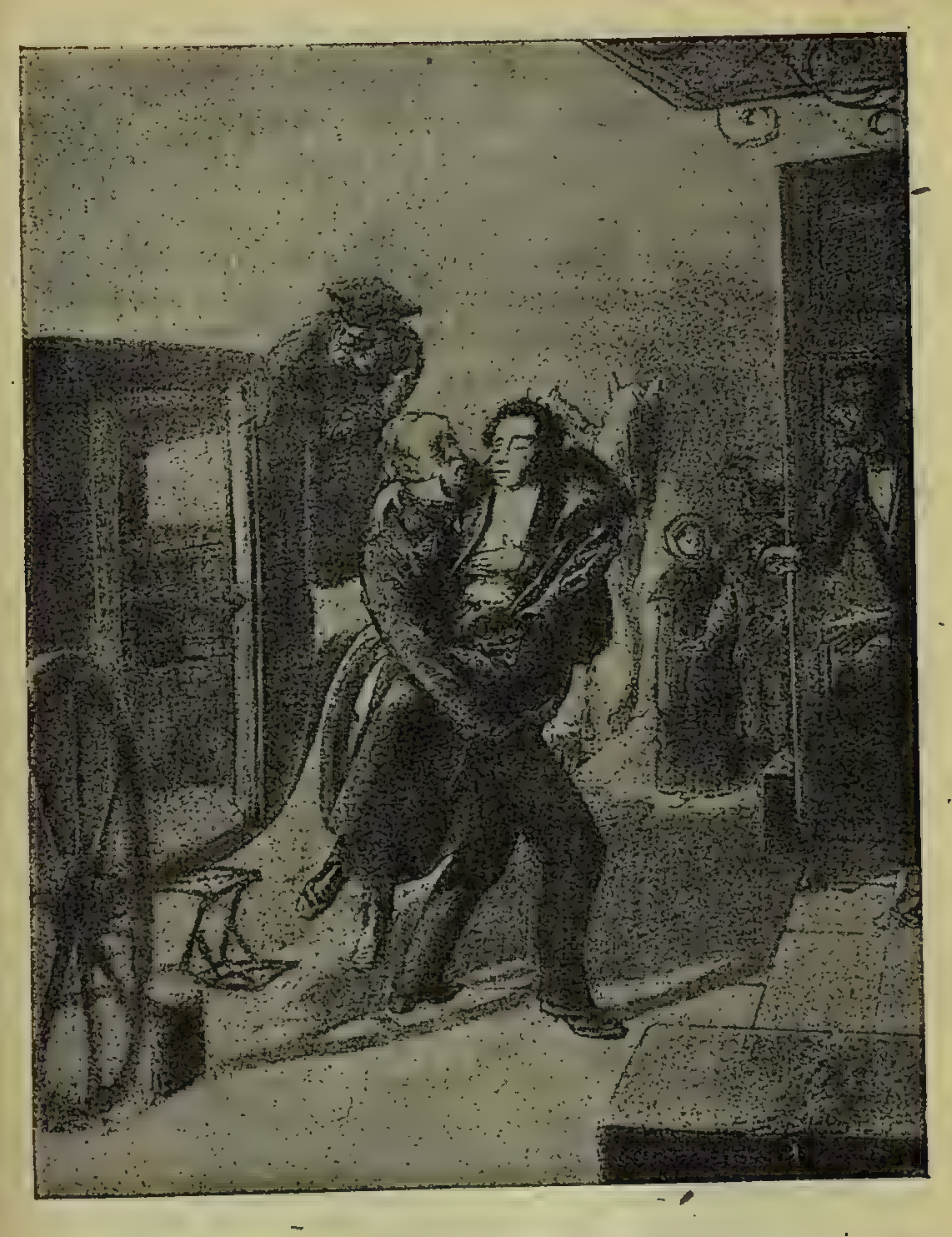
Вот что рассказали мне о случившемся.

Дуэль была решена накануне (во вторник 26-го генваря); утром 27-го числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице со своим лицейским товарищем полковником Данзасом,

он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д'Аршиаку, секунданту своего противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерену и которое произвело вызов от молодого Геккерена, он оставил Данзаса для условий с д'Аршиаком, а сам возвратился к себе и дожидался спокойно развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим «Современником» и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице Русской истории для детей, трудившейся для его журнала); в этом письме, довольно длинном, он говорит ей о назначенных им для перевода пиесах, и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания, так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту в уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностию через час уже лежал умирающий от раны. По условию, Пушкин должен был встретиться в положенный час со своим секундантом, кажется в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в часов[1]. Данзас уже его дожидался с санями; поехали; избранное место в лесу у Комендантской дачи; выехав из города, увидели впереди другие сани; это был Геккерен с своим секундантом; остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги; снег был по колена; по выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот и другой удобно могли и стоять друг против друга и сходиться. Оба секунданта и Геккерен заня-

лись этою работою; Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка в аршин шириною и в двадцать шагов длиною; плащами означили барьеры, одна от другой в десяти шагах; каждый стал в пяти шагах позади своей. Данзас махнул шляпою; пошли, Пушкин почти дошел до своей барьеры; Геккерен за шаг от своей выстрелил; Пушкин упал лицом на плащ и пистолет его увязнул в снегу, так, что все дуло наполнилось снегом. «Je suis blessé»*, сказал он, падая. Геккерен хотел к нему подойти, но он, очнувшись, сказал: «Ne bougez pas; je me sens encore assez fort pour tirer mon coup»**. Данзас подал ему другой пистолет. Он оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерен упал, но его сбила с ног только сильная контузия; пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ложки; эта пуговица спасла Геккерена. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал: «Bravo»! Между тем кровь лила из раны, было надобно поднять раненого; но на руках донести до саней было невозможно; подвезли к нему сани, для чего надобно было разломать забор, и в санях довезли его до дороги, где дожидала его Геккернова карета, в которую он и сел с Данзасом. Лекаря на месте сражения не было. Дорогою он, повидимому, не страдал, по крайней мере этого не было заметно; он был, напротив, даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты.

* «Я ранен».
** «Не двигайтесь. У меня еще хватит силы выстрелить».



Возвращение раненого Пушкина домой
С рисунка Бореля

Домой возвратились в шесть часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. — Грустно тебе нести меня? — спросил у него Пушкин.

Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким голосом закричал: «n'entrez pas»*, ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет.

Послали за докторами. Арендта не нашли; приехали Шольц и Задлер. В это время с Пушкиным были Данзас и Плетнев. Пушкин велел всем выйти.

«Плохо со мною», — сказал он, подавая руку Шольцу. Рану осмотрели, и Задлер уехал за нужными инструментами. Оставшись с Шольцем, Пушкин спросил: «Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану?» — «Не могу вам скрыть, она опасная».—«Скажите мне, смертельная?» «Считаю долгом не скрывать и того. Но услышим мнение Арендта и Соломона, за коими послано». — «Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi»** — сказал Пушкин; замолчал; потер рукою лоб, потом прибавил: «il faut que j'arrange ma maison»***. Мне кажется, что идет много крови». Шольц осмотрел рану: нашлось, что крови шло

---

* «Не входите».

** «Благодарю вас, вы поступили как честный человек по отношению ко мне».

*** «Нужно привести в порядок дела».

немного; он наложил новый компресс. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?« — спросил Шольц. «Прощайте, друзья!» — сказал Пушкин, и в это время глаза его обратились на его библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями, или с мертвыми, не знаю. Он, немного погодя, спросил: «Разве вы думаете, что я часу не проживу? — «О, нет! но я полагал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших. Г-н Плетнев здесь». — «Да; но я желал бы Жуковского. Дайте мне воды; тошнит». Шольц тронул пульс, нашел руку довольно холодную; пульс слабый, скорый, как при внутреннем кровотечении; он вышел за питьем, и послали за мною. Меня в это время не было дома; и не знаю, как это случилось, но ко мне не приходил никто. Между тем приехали Задлер и Соломон. Шольц оставил больного, который добродушно пожал ему руку, но не сказал ни слова.

Скоро потом явился Арендт. Он с первого взгляда увидел, что не было никакой надежды. Первою заботою было остановить внутреннее кровотечение; начали прикладывать холодные со льдом примочки на живот и давать прохладительное питье; они произвели желанное действие, и кровотечение остановилось. Все это было поручено Спасскому, домовому доктору Пушкина, который явился за Арендтом и всю ночь остался при постеле страдальца.

«Плохо мне», сказал Пушкин, увидя Спасского и подавая ему руку. Спасский старался его успокоить; но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе и все его мысли обратились на жену. «Не давайте излишних надежд жене, говорил он Спасскому, не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо

знаете. Впрочем, делайте со мною что хотите, я на все согласен и на все готов».

Когда Арендт перед своим от'ездом подошел к нему, он ему сказал: «попросите государя, чтобы он меня простил; попросите за Данзаса, он мне брат, он невинен, я схватил его на улице». Арендт уехал.

В это время уже собрались мы все, князь Вяземский, княгиня, граф Виельгорский и я.

Княгиня была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он не мог ее видеть (он лежал на диване лицом от окон к двери); но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь, — говорил он. — Отведите ее». «Что делает жена? — спросил он однажды у Спасского. — Она, бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят».

Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях, говорил доктор Арендт, я видел много умирающих, но мало видел подобного».

И особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной; буря, которая за несколько часов волновала его душу яростною страстию, исчезла, не оставив на нем никакого следа; ни слова, ниже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерене, он сказал: «Не мстите за меня! Я все простил».

Но вот черта, чрезвычайно трогательная. В самый

день дуэли рано поутру получил он пригласительный билет на погребение Гречева сына. Он вспомнил об этом посреди всех страданий. «Если увидите Греча,— сказал он Спасскому, — поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере».

У него спросили: желает ли исповедаться и причаститься. Он согласился охотно и положено было призвать священника утром.

В полночь доктор Арендт возвратился.

Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжал за Арендтом от государя фельд'егер с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. «Я не лягу, я буду ждать», — стояло в записке государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стояло в этом письме? «Если бог не велит нам более увидеться, прими мое прощение, а с ним и мой совет: кончить жизнь христиански. О жене и детях не беспокойся, я их беру на свое попечение».

Как бы я желал выразить простыми словами то, что у меня движется в душе при перечитывании этих немногих строк. Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул: как много прекрасного человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. «Я не лягу, я буду ждать!» О чем же он думал в эти минуты? Где он был своею мыслью? О, конечно, перед постелью уми-

рающего, его добрым земным гением, его духовным отцом, его примирителем с небом и землею.

В ту же минуту было исполнено угаданное желание государя. Послали за священником в ближнюю церковь. Умирающий исповедался и причастился с глубоким чувством.

Когда Арендт прочитал Пушкину письмо государя, то он вместо ответа поцеловал его и долго не выпускал из рук; но Арендт не мог его оставить ему. Несколько раз Пушкин повторял: «Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Письмо! где письмо?» Арендт успокоил его обещанием испросить на то позволение у государя.

Он скоро потом уехал.

До пяти часов Пушкин страдал, но сносно. Кровотечение было остановлено холодными примочками. Но около пяти часов боль в животе сделалась нестерпимою и сила ее одолела силу души; он начал стонать; послали за Арендтом. По приезде его нашли нужным поставить промывательное, но оно не помогло и только что усилило страдания, которые в чрезвычайной силе своей продолжались до 7 часов утра.

Что было бы с бедною женою, если бы она в течение двух часов могла слышать эти крики: я уверен, что ее рассудок не вынес бы этой душевной пытки. Но вот что случилось: она в совершенном изнурении лежала в гостиной, головою к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый, летаргический сон овладел ею; и этот сон, как будто нарочно посланный свыше,

миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями.

И в эти минуты жесточайшего испытания, по словам Спасского и Арендта, во всей силе сказалась твердость души умирающего; готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не слышала, чтобы ее не испугать. К семи часам боль утихла.

Надобно заметить, что во все это время и до самого конца мысли его были светлы и память свежа. Еще до начала сильной боли он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, по-русски написанную, и заставил ее сжечь. Потом призвал Данзаса и продиктовал ему записку о некоторых долгах своих. Это его, однако, изнурило и после он уже не мог сделать никаких других распоряжений.

Когда поутру кончились его сильные страдания, он сказал Спасскому: «Жену, позовите жену!» — Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать.

Потом потребовал детей; они спали; их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза, молча; клал ему на голову руку; крестил и потом движением руки отсылал от себя.

«Кто здесь? — спросил он Спасского и Данзаса. Назвали меня и Вяземского. — Позовите», — сказал он слабым голосом. Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукой, я отошел.

Также простился он и с Вяземским. В эту минуту приехал граф Виельгорский и вошел к нему и также в последние подал ему живому руку.

Было очевидно, что спешил сделать свой последний земной расчет и как будто подслушивал идущую к

нему смерть. Взявши себя за пульс, он сказал Спасскому: «Смерть идет».

«Карамзина? тут ли Карамзина?» — спросил он, спустя немного. Ее не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту, но когда Катерина Андреевна отошла от постели, он ее кликнул и сказал: «Перекрестите меня!» — потом поцеловал у нее руку.

В это время приехал доктор Арендт. «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно», — сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал.

Надобно знать, что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: «Может быть я увижу государя; что мне сказать ему от тебя?» — «Скажи ему, — отвечал он, — что мне жаль умереть; был бы в е с ь (его)».

Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной от государя. «Извини, что я тебя потревожил, — сказал он мне при входе моем в кабинет». — «Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною». И я рассказал о том, что говорил Пушкин. «Я счел долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. Полагаю, что он тревожится о участи Данзаса». — «Я не могу переменить законного порядка, — отвечал государь, — но сделаю все возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен; они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги; ты после их сам рассмотришь».

Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом

государя. Выслушав меня, он поднял руку к небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен! — сказал он. — Скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в его сыне, что я желаю ему счастия в его России». Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно.

Между тем данный ему прием опиума несколько его успокоил. К животу вместо холодных примочек начали прикладывать мягчительные; это было приятно страждущему. И он начал послушно исполнять предписания докторов, которые прежде отвергал упрямо, будучи испуган своими муками и ожидая смерти для их прекращения. Он сделался послушным, как ребенок, сам накладывал компрессы на живот и помогал тем, кои около него суетились. Одним словом, он сделался гораздо спокойнее.

В этом состоянии нашел его доктор Даль, пришедший к нему в два часа. «Плохо, брат», — сказал Пушкин, улыбаясь, Далю. В это время он, однако, вообще был спокойнее; руки его были теплее, пульс явственнее. Даль, имевший сначала более надежды, нежели другие, начал его ободрять. «Мы все надеемся, — сказал он, — не отчаивайся и ты». — «Нет, — отвечал он, — мне здесь не житье; я умру, да видно так и надо».

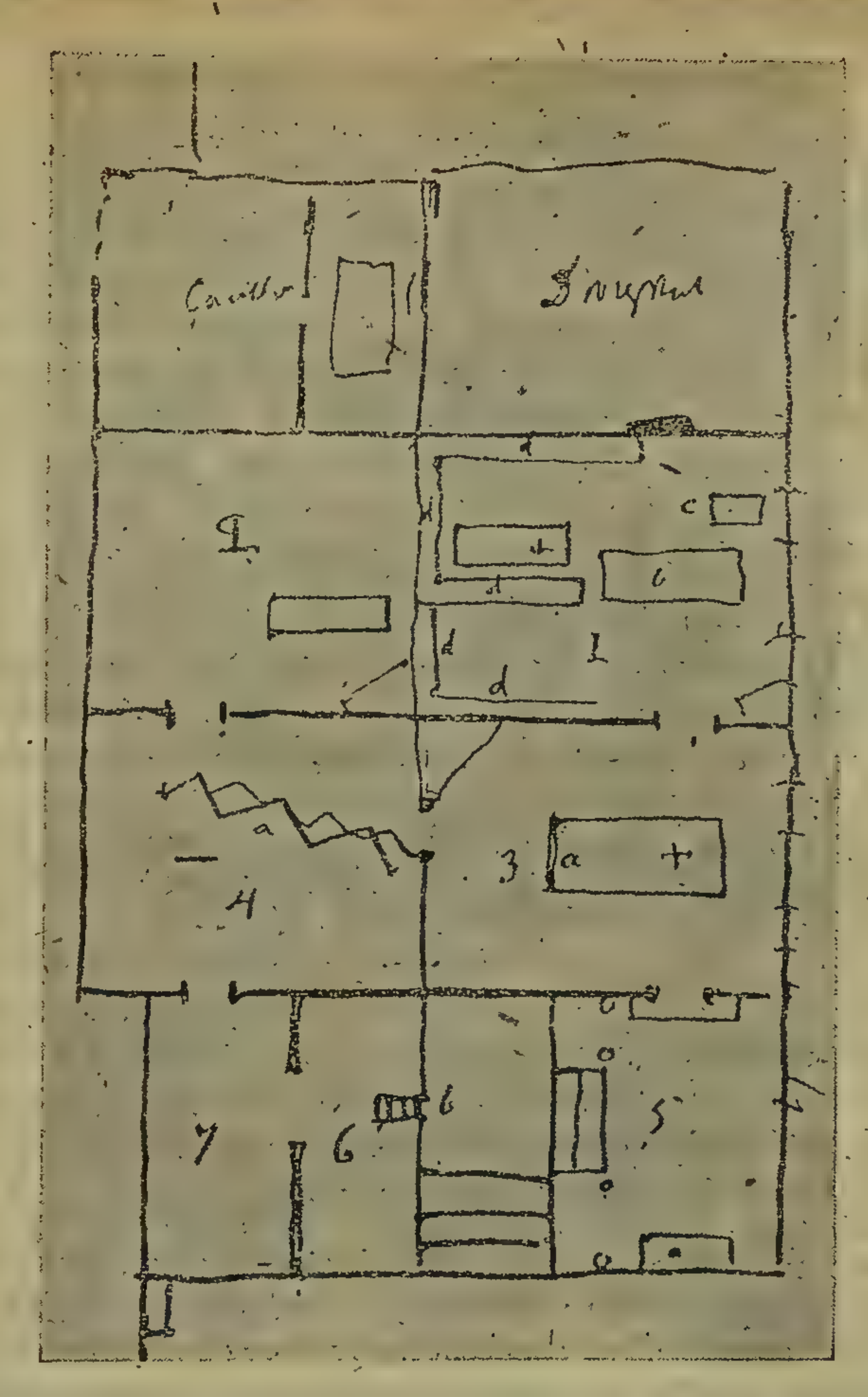
В это время пульс его был полнее и тверже. Начал показываться небольшой общий жар. Поставили пиявки. Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче. «Я ухватился, говорит Даль, как утопленник за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя и других». Пушкин заметил, что Даль был победрее, взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» — «Никого». «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право, надеемся». — «Ну спасибо!» — отвечал он.

Но, повидимому, только однажды и обольстился он надеждою, ни прежде, ни после этой минуты он ей не верил. Почти всю ночь (на 29-е число, эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Виельгорский в ближней горнице) он продержал Даля за руку; часто брал по ложечке или по крупинке льда в рот, и всегда все делал сам: брал стакан с ближней полки, тер себе виски льдом, сам накладывал на живот припарки, сам их снимал и проч.

Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! — иногда восклицал он, закидывая руки на голову, — сердце изнывает». Тогда просил он, чтобы подняли его, или поворотили на бок, или поправили ему подушку, и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну! так, так — хорошо: вот и прекрасно и довольно; теперь очень хорошо». Или: «постой — не надо — потяни меня только за руку — ну вот и хорошо, и прекрасно». (Все это его точное выражение). «Вообще, говорит Даль, в обращении со мною он был повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, что я хотел».

Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие; зало и передняя полны с утра и до ночи». «Ну спасибо, — отвечал он, — однако же поди, скажи жене, что все слава богу легко; а то ей там, пожалуй, наговорят!»

Даль его не обманул. С утра 28-го числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие — и люди всех состояний, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произ-



План квартиры Пушкина, составленный В. А. Жуковским

1. Кабинет: а) диван, на котором умер Пушкин, в) его большой стол с кресл., на которых он работал, d) полки с книгами. 2. Гостиная: а) кушетка, на которой лежала ночью Н. Н. 3. Передняя: а) здесь Пушкин лежал во гробе. 4. Столовая: а) так были поставлены ширмы, чтобы загородить гостиную, где находилась Н. Н. 5. Сени: а) здесь стоял залавок, которым задвинули дверь, в) маленькая узкая дверь, через которую входили все посторонние. 6. Буфет с чуланом, здесь собирались приходившие осведомиться во время болезни, ночью, тогда коль заперли дверь в прихожую.

вольном, ни в чем не приготовленном. Число приходящих сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее залавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами (это распоряжение поймешь из приложенного плана). С этой минуты буфет был набит народом; в столовую входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали.

Государь император получал известия от доктора Арендта (который раз по шести в день, и по нескольку раз ночью, приезжал навестить больного); государыня великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни.

Такое участие трогательно, но оно естественно; естественно и в государе, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была (а в этом отличительная черта нынешнего государя; он любит все русское; он ставит новые памятники и бережет старые); естественно и в нации, которая в этом случае не только за одно с своим государем, но этою общею любовью к отечественной славе укореняется между ими нравственная связь; государю естественно гордиться своим народом, как скоро этот народ понимает его высокое чувство и вместе с ним любит то, что славно отличает его от других народов или ставит с ним на ряду; народу естественно быть благодарным своему государю, в котором он видит представителя своей чести.

Одним словом, сии из'явления общего участия наших добрых русских меня глубоко трогали, но не удивляли. Участие иноземцев было для меня усладительною нечаятельностью. Мы теряли свое: мудрено ли что мы горевали? Но их что так трогало? Что думал этот почтенный Барант, стоя долго в унынии посреди прихожей, где около его шептали с печальными лицами о том, что делалось за дверями. Отгадать нетрудно. Гений есть общее добро; в поклонении гению все народы родня! и когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинаковою братскою скорбию. Пушкин по своему гению был собственностью не одной России, но и целой Европы; потому-то и посол французский (сам знаменитый писатель) приходил к двери его с печалью собственною, и о нашем Пушкине пожалел, как-будто о своем. Потому же Люцероде, саксонский посланник, сказал собравшимся у него гостям в понедельник к вечеру: нынче у меня танцовать не будут, нынче похороны Пушкина.

Возвращаюсь к своему описанию. Послав Даля ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он: «Который час?» И на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом: «Долго ли... мне... так мучиться?.. Пожалуйста поскорей!..» Это повторил он несколько раз: «Скоро ли конец?..» и всегда прибавлял: «Пожалуйста поскорей!»

Вообще (после мук первой ночи, продолжавшихся два часа) он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движение руками или отрывисто кряхтел, но так, что его почти не могли слышать. «Терпеть надо, друг, делать нечего, — сказал ему Даль, — но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». — «Нет, — он отвечал преры-

висто: — нет... не надо... стонать... жена... услышит... Смешно же... чтоб этот... вздор... меня... пересилил... не хочу»...

Я покинул его в 5 часов и через два часа возвратился в 7-м, то есть через два часа. Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Арендт сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно; руки начали стыть. Он лежал с закрытыми глазами; иногда только подымал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб.

Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на три четверти часа. Он открыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормит». Она пришла, опустилась на колена у изголовья, поднесла ему ложечку, другую морошки, потом прижалась лицом к лицу его; Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего; слава богу; все хорошо! поди». — Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену; она вышла как просиявшая от радости лицом.—«Вот увидите, — сказала она доктору Спасскому, — он будет жив, он не умрет».

А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Я стоял вместе с графом Виельгорским у постели его, в головах; сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: «Отходит». Но мысли его были светлы. Изредка только полудремотное забытие их отуманивало. Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше... ну, пойдем!» Но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лечу вверх по этим



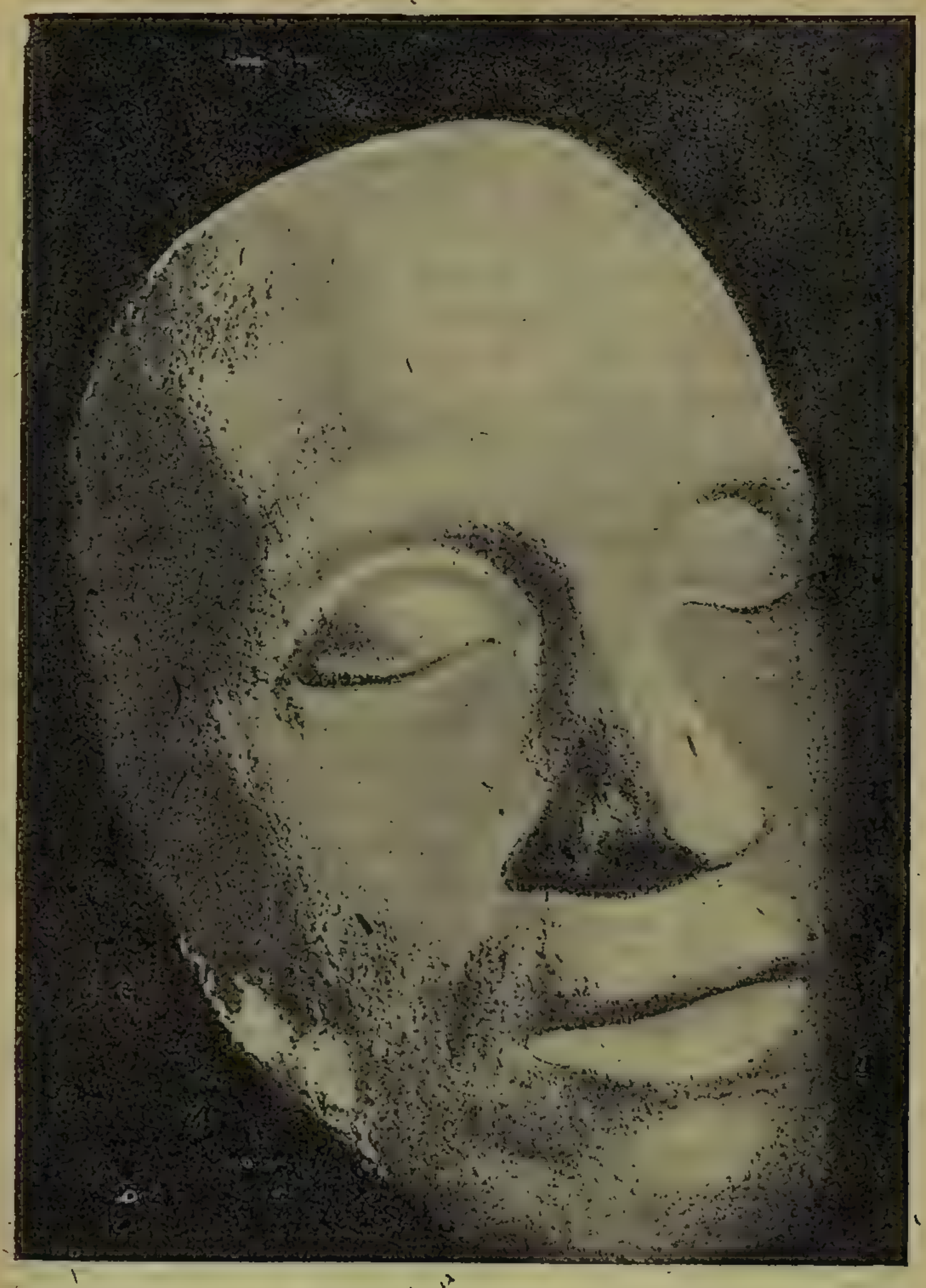
Пушкин в гробу

Рисунок карандашом В. А. Жуковского

книгам и полкам; высоко... и голова закружилась». Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеву руку и, потянув ее, сказал: «Ну пойдем же, пожалуйста, да вместе». Даль, по просьбе его, взял его подмышки и приподнял повыше; и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Даль, не расслушав, отвечал: «Да, кончено; мы тебя положили». — «Жизнь кончена!»—повторил он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит!» — были последние слова его.

В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тишина, его об'явшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил:— «Что он?»—«Кончилось», — отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое совершилось перед нами во всей умилительной святыне своей.

Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтиче-



Маска Пушкина

ское! нет! какая-то глубокая удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его, и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина.

Опишу в немногих словах то, что было после. К счастию, я вспомнил во-время, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно; черты его еще не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось; но все мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон.

Спустя 3/4 часа после кончины (во все время я не отходил от мертвого, мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его) тело вынесли в ближнюю горницу; а я, исполняя повеление государя императора, запечатал кабинет своею печатью.

Не буду рассказывать того, что сделалось с печальною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон.

Побыв еще несколько времени в доме, я поехал к

Виельгорскому обедать; у него собрались и все другие, видевшие последнюю минуту Пушкина; и он сам был приглашен за гробом к этому обеду: это был день моего рождения.

Наталья Николаевна Пушкина, съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщая о кончинѣ супруга ея, Двора Е. И. В. Камеръ-Юнкера Александра Сергѣевича Пушкина, послѣдовавшей въ 29-й день сего Января, покорнѣйше проситъ пожаловать къ отпѣванію тѣла его въ Исакіевскій Соборъ, состоящій въ Адмиралтействѣ, 1-го числа Февраля въ 11 часовъ до полудня.

Траурная карточка

Я счел обязанностью донести государю императору о том, как умер Пушкин; он выслушал меня наедине в своем кабинете: этого прекрасного часа моей жизни я никогда не забуду.

На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь.

И в эти оба дня та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более де-

сяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то поразительное в его неподвижности посреди этого движения, и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума.

И особенно глубоко трогало мне душу то, что государь как будто соприсутствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно с ним заодно выражали скорбь свою о утрате славного соотечественника. Всем было известно, как государь утешил последние минуты Пушкина, какое он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот, как почтил своего поэта и что в то же время (как судия, как верховный блюститель нравственности) произнес в осуждение бедственному делу, которое так внезапно лишило нас Пушкина. Редкий из посетителей, помолясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это из'явление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя.

Отпевание происходило 1 февраля. Весьма многие из наших знакомых людей и все иностранные министры были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих [2].

Февраля 15.

Анонимный пасквиль и враги Пушкина

1

Друзья Пушкина поставили своей задачей охранение чести Пушкина и чести его жены и так тщательно укрыли тайну дуэли и смерти, что нам приходится разгадывать ее и до сих пор по крупицам. От друзей Пушкина пошли сборнички рукописных копий документов, относящихся до дуэли: анонимный пасквиль, письма Пушкина к Бенкендорфу, к барону Луи Геккерену, к д'Аршиаку, письма к Пушкину Геккерена и д'Аршиака, письма д'Аршиака и Данзаса к П. А. Вяземскому, письмо гр. Бенкендорфа к Строганову. Один такой сборничек кн. П. А. Вяземский препроводил великому князю Михаилу Павловичу, другой сборник перешел от кн. Вяземского к Бартеневу (ныне в Пушкинском Доме)[1]. В печати дуэльные документы были оглашены впервые в 1863 году в книжке: «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. Изд. Я. А. Исакова. СПБ. 1863». Эта книга явилась откровением для читающей России и на долгое время послужила важнейшим источником для дуэльной истории. Но среди дуэльных документов здесь не был опубли-

кован анонимный пасквиль, список которого находился несомненно в распоряжении Данзаса. Впервые в печати пасквиль появился в книжке «Материалы для биографии А. С. Пушкина. Лейпциг. 1875». Здесь он помещен в русском переводе на первом месте в собрании дуэльных документов под следующим заголовком: «Два анонимные письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы». К этому заголовку сделано примечание: «второе письмо такое же, на обоих письмах другою рукою написаны адрессы: «Александру Сергеевичу Пушкину». Эти надписи, представляющие собой неуклюжий перевод с французского, повторяют сделанные по-французски рукою Данзаса пометы на снятой им для князя Вяземского копии диплома, находящейся в помянутой выше коллекции документов, перешедшей от князя Вяземского к Бартеневу. У нас в России пасквиль был напечатан по-французски (с неполным обозначением имен) П. А. Ефремовым в «Русской старине» (т. XXVIII, 1880, июнь, стр. 330) и в русском переводе В. Я. Стоюниным в 1881 году в его книге «Пушкин», СПБ. 1881, стр. 420, 421. Отсюда пошли дальнейшие перепечатки, но подлинные пасквили в течение долгого времени оставались нам неизвестными. В военно-судную комиссию, производившую дело о дуэли, ни один экземпляр не был доставлен. Друзья, сняв копии, уничтожили подлинные экземпляры презренного и гнусного диплома. Приятель Пушкина С. А. Соболевский в 1862 году «обращался в Петербурге ко многим лицам, которые в свое время получили цикулярное письмо, но не нашел его нигде в подлиннике, так как эти лица его уничтожили». «Если подлинник и находится где-нибудь, то,— пишет Соболевский,—только у господ, мне незнако-

мых, или, вернее всего, в III отделении». Хотя по справке, данной III отделением в 1863 году, в его архивах и не нашлось пасквиля, но в действительности экземпляр пасквиля, полученный графом Виельгорским, в III отделении был, хранился в секретном досье и только в 1917 году стал достоянием исследователей. Еще раньше другой экземпляр пасквиля оказался в музее при Александровском лицее, куда был доставлен после 1910 года[2]. И тот и другой экземпляры хранятся ныне в Пушкинском Доме. Экземпляр III отделения — полный: диплом с надписью на оборотной стороне: «Александру Сергеевичу Пушкину», и конверт, в который был он вложен, на имя Виельгорского. Лицейский экземпляр — без конверта[3].

Пасквиль, полученный Пушкиным, до сих пор не подвергся научному обследованию ни со стороны внешней, ни со стороны содержания. Как это ни кажется странным, но научного анализа этого рокового памятника сделано не было. К этой работе следует приступить.

2

Приведем французский текст документа.

«Les Grands-Croix, Coummandeurs et Chevaliers du Sérénissime Ordre des C o c u s, réunis en grand Chapitre sous la présidence du vénérable grand-Maître de l'Ordre, S. E. D. L. Narychkine, o n t n o m m é à l'u n a n i m i t é Mr. A l e x a n d r e P o u c h k i n e c o a d j u t e u r d u g r a n d M a î t r e de l'Ordre de Cocus et historiographe de l'Ordre.

Le sécrétaire pérpétuel: C-te J. Borch».

Вот точный перевод диплома:

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом

Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх».

По форме диплом пародирует грамоты на пожалование кавалерами орденов. Термины «Les Grands-Croix—Commandeurs—Grand-Maître de l'Ordre—Sécrétaire—Grand-Chapitre» взяты из орденской практики и встречаются в статутах различных орденов, например св. Андрея Первозванного, в установлении о российских орденах имп. Павла и т. д. Термин «коадьютор» встречается в административной практике католической церкви: когда епископ впадает в физическую или духовную дряхлость, ему дается помощник — коадьютор.

Диплом, об'являя Пушкина рогоносцем, наносил обиду чести его самого и его жены. Составитель диплома заострял обиду по двум направлениям. Во-первых, Пушкина выбирали историографом ордена рогоносцев. Официально звание историографа было присвоено высочайшим рескриптом Н. М. Карамзину; Пушкин был зачислен после женитьбы в министерство иностранных дел и получил высочайшее разрешение собирать в архивах материал для истории Петра Великого. Историк Петра Великого провозглашался историографом ордена рогоносцев. Во-вторых, Пушкин выбирался в коадьюторы, или помощники, Д. Л. Нарышкину. Его сиятельство Дмитрий Львович был знаменитым и величавым рогоносцем. Его супруга Мария Антоновна — женщина «красоты неестественной, невозможной» — была в долголетней связи с императором Александром I (1801—1814). «Д. Л.

Нарышкин занимал невидное и довольно двусмысленное положение среди «свободно почтительного с хозяйкой» веселого общества в своем роскошном доме, получившем от Александра I имя «Капуи» за исполненную неги и наслаждений атмосферу, в «храме красоты», как Вигель называл внутренние аппартаменты Нарышкиной. По наблюдению современников, Дмитрий Львович «повидимому, не пользовался отношениями, существовавшими между монархом и его супругой», да едва ли и был способен на это по своему «нетвердому» уму и характеру. В конце концов, «широкое барское житье» привело к учреждению над ним попечительства, по требованию его супруги, немало способствовавшей расстройству его состояния, и престарелый обер-егермейстер на склоне дней получал на расход лишь по 40 000 руб. асс. в год»[1].

Нарышкин — великий магистр ордена рогоносцев — стал рогоносцем по милости императора Александра, пошел, так сказать, по царственной линии. И первую главу в истории рогоносцев историограф должен был начать с императора Александра. Начать... а продолжать?

Мне думается, составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии. Если достопочтенный великий магистр был обижен в своей семейной чести монархом, то его коадьютору, его помощнику, г-ну Александру Пушкину, историографу ордена, кто нанес такую же обиду, кто сделал его рогоносцем? Надо поставить вопрос точнее: в кого метил составитель пасквиля, на кого он хотел указать Пушкину, как на обидчика его чести? На Дантеса ли? Полно, так ли это? Не слишком ли мелко после пышного начала, после именования величавого рогоносца по высочайшей милости, кончить указанием на Дан-

теса! Не нужно ли взять выше: не в царственного ли брата обидчика чести Д. Л. Нарышкина, не в императора ли Николая метил составитель пасквиля? Для ответа не нужно искать данных, удостоверяющих факт интимных отношений царя и жены поэта, достаточно поставить и ответить положительно на вопрос, могли ли быть основания для подобного намека. И тут должно сказать, что оснований к такому намеку было не меньше, чем, например, к намеку на близкие отношения Дантеса к Н. Н. Пушкиной.

3

В самом деле, царь интересовался Натальей Николаевной. При его дворе было много прелестных и красивых женщин, но и среди них жена поэта с ее блистательной красотой занимала одно из первых, если не первое место. 6 декабря 1836 года в Николин день на приеме по случаю высочайшего тезоименитства, по отзыву тонкого знатока женской красоты А. И. Тургенева, Пушкина была первая по красоте и туалету. И слушая восхитительное пение в церкви Зимнего дворца, Тургенев не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных?

А Пушкина и ей подобные красавицы-фрейлины и молодые дамы двора—не только ласкали высочайшие взоры, но и будили высочайшие вожделения. Для придворных красавиц было величайшим счастьем понравиться монарху и ответить на его любовный пыл. Фаворитизм крепко привился в закрытом заведении, которым был русский двор. Наш известный критик Н. А. Добролюбов написал целую статейку о «Разврате Николая Павловича и его приближенных любимцев». «Можно сказать, — пишет он, — что нет

и не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушений на ее любовь со стороны или самого государя или кого-нибудь из его августейшего семейства. Едва ли осталась хоть одна из них, которая сохранила свою чистоту до замужества. Обыкновенно порядок был такой: брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли ее для услуг благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего, и затем императрица Александра начинала сватать обесчещенную девушку за кого-нибудь из придворных женихов».

Конечно, такая характеристика грешит преувеличением, но в основу положено правильное наблюдение. Уместно дать еще добавление: «царь — самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному ад'ютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, — о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с из'явлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примера, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестья. «Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?» — спросил я даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. — «Никогда! — ответила она с выражением крайнего изумления. — Как это возможно?» — «Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам».—«Об'яснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете; я поступлю, как все. Сверх того, мой

муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом» [1]. Автор этого рассказа сообщает об одном любовном эпизоде Николая, — его романе с фрейлиной Урусовой, которую он выдал замуж в 1833 году за князя Радзивилла[2].

Николай Павлович был царь крепких мужских качеств: кроме жены, у него была еще и официальная, признанная фаворитка, фрейлина В. А. Нелидова, жившая во дворце; но и двоеженство не успокаивало царской похоти; дальше шли «васильковые дурачества», короткие связи с фрейлинами, минуты увлечения молодыми дамами — даже на общедоступных маскарадах. Хорошо рисует влюбленного самодержца А. О. Смирнова, отлично знавшая любовный быт русского двора при Николае и, кажется, сама испытавшая высочайшую любовь. Рассказ ее относится к 1838 году, как раз к тому времени, когда вдова Пушкина скрывалась от света в деревне. «В Аничковском дворце танцовали всякую неделю, в белой гостиной; не приглашалось более ста персон. Государь занимался в особенности баронессой Крюденер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюденер [3]. Я была свободна, как птица, и смотрела на все эти проделки, как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не переступала из границ единственно от того, что было сознание в неискренности государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Однажды, в конце бала, когда пара за парой быстро и весело скользили в мазурке, усталые, мы присели в уголке за камином с баро-

нессой Крюденер: она была в белом платье, зеленые листья обвивали ее белокурые локоны; она была блистательно хороша, но невесела. Наискось в дверях стоял царь с Е. М. Бутурлиной, которая беспечной своей веселостью более, чем красотой, всех привлекала, и, казалось, с ней живо говорил; она отворачивалась, играла веером, смеялась иногда и показывала ряд прекрасных белых своих жемчугов; потом, по своей привычке, складывала, протягивая, свои руки, — словом, была в весьма большом смущении. Я сказала мадам Крюденер: «Вы ужинали вместе с государем, но последние почести сейчас для нее». «Он чудак, — сказала она,—нужно, однако, чем-нибудь кончить все это, но он никогда не дойдет до конца — нехватит мужества, он придает странное значение верности. Все эти уловки с нею не приведут ни к какому результату»... Всю эту зиму он ужинал между Крюденер и Мери Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась. Обыкновенно в длинной зале, где гора, ставили стол на четыре прибора; Орлов и Адлерберг садились с ними. После покойный Бенкендорф заступил место Адлерберга, а потом и место государя при Крюденерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: «я уступил свое место другому»[4].

Картина царского кокетствования изображена очень тонко, и ярко передана любовная атмосфера, царившая на маленьких балах в Аничковом дворце. «Двору хотелось, чтобы Н. Н. Пушкина танцовала в Аничкове, и потому я пожалован в камер-юнкеры», — записал Пушкин в дневнике. Ревность диктовала огорченной соперничеством Крюденер заявление, что Николай придает странное значение верности и в своих романах не доходит до конца. Конечно, доходил до конца.

Интерес царя к Н. Н. Пушкиной не мог не обратить внимания придворных обывателей, но комеражи о царских увлечениях передавались шопотом. И Пушкин знал об ухаживании женолюбивого самодержца и неоднократно предостерегал жену[5]. «Не кокетничай с царем», — писал он ей не раз. По времени любопытно обращение к жене в письме из Москвы от 5 мая 1836 года: «И про тебя, душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих, однако же видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола». «Кто-то» — конечно, Николай, высочайший повелитель театральных школ и балета. Любопытнейшую запись сделал П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина: «Отношение царя к жене Пушкина. Сам Пушкин говорил Нащокину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою: нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. — Сам Пушкин сообщал Нащокину свою уверенность в чистом поведении Натальи Николаевны»[6].

Нас не может обмануть спокойный тон сообщений Пушкина о царе и Наталье Николаевне. Скандальную хронику двора он хорошо знал. Недаром, записав в дневнике о желании двора (читай: государя) видеть Наталью Николаевну на балах в Аничковом дворце, Пушкин прибавил: «так я же сделаюсь русским Dangeau». Маркиз де Данжо, ад'ютант Людовика XIV, вел дневник и заносил туда все подробности и интимности частной жизни короля изо дня

в день. Но отместка, которую собирался сделать Пушкин, лишь в малой степени могла удовлетворить оскорбленную честь — в текущих обстоятельствах. Несомненно, Пушкин с крайней напряженностью следил за перипетиями ухаживания царя и не мог не задать себе вопроса, а что произойдет, если самодержавный монарх от сентиментальных поездок перед окнами перейдет к активным действиям? Такая мысль могла быть только страшна Пушкину, и как бы ни отгонял он ее, избавиться от нее он не мог! При самодержавном царе и нравах русского двора все — самое невероятное — могло сбыться. Царские наперсники, ближайшие слуги, для которых Пушкин был неприятным, враждебным ничтожеством, могли только оказывать всяческое содействие затеям царского сладострастия — тот же Бенкендорф, тот же Нессельроде с охотой приняли бы роли высочайших сводников. А Пушкин не принадлежал к тому разряду супругов, к которому принадлежал муж петербургской рассказчицы.

В записках барона Корфа, лицейского товарища Пушкина, сохранился рассказ об отношениях царя к Н. Н. Пушкиной, который можно оценить, только сопоставляя его с тем, что мы знаем об ухаживаниях царя от самого поэта. В апреле 1848 года Николай, беседуя с Корфом о Пушкине, сказал ему: «Под конец жизни Пушкина, встречаясь очень часто с его женой, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе: я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастья мужа при известной его ревности. Она, верно, расска-

зала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. — Разве ты и мог ожидать от меня другого? — спросил я его. — Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женой... — Три дня спустя был его последний дуэль».

Николай рассказывает об эпизоде отношений своих к Пушкиной через одиннадцать лет после событий; в это время Наталья Николаевна уже носила фамилию Ланской; она пользовалась исключительным благоволением Николая, а муж ее, П. П. Ланской, делал удивительную карьеру: в это время он был командиром л.-гв. конного полка и свиты генерал-майором, а через год — в 1849 году — был назначен генерал-ад'ютантом. Понятен поэтому эпический тон повествования Николая, не дающий никакого представления о настроении Пушкина при знаменательном разговоре его с царем.

Возвращаюсь к пасквилю. Приведенных данных совершенно достаточно для того, чтобы можно было отстаивать предположенное выше толкование пасквиля: составитель пасквиля мог метить в Николая, и Пушкин мог принять такой намек. Составитель пасквиля наедине мог потирать руки и веселиться в чувствах удовлетворенной злости при одном представлении, что переживает получивший пасквиль историограф, до каких пределов раздражения доходит мнимый рогоносец, совершенно бессильный против указанного обидчика. В разорванных клочках письма Геккерена встречается фраза, которая содержит как бы ответ на оскорбления пасквиля, непонятный нам в целом, в виду отсутствия нескольких клочков... «Дуэли мне недостаточно... достаточно отмщен... пись-

мо... самый след этого гнусного дела, из которого мне легко будет написать главу из моей истории рогоносцев...»[7]. Пушкин поднимал брошенную перчатку: да, он будет историографом ордена рогоносцев!

4

В пасквиле три имени. Если вести толкование по царственной линии, то великому магистру Д. Л. Нарышкину противопоставлен император Александр — первый брат, коадъютору г-ну Александру Пушкину — император Николай — второй брат. Очевидно, и третьему названному в дипломе члену ордена рогоносцев, непременному секретарю графу И. Борху, должен быть противопоставлен или третий брат, или тот же Николай: во всяком случае, член императорской фамилии.

А. С. Поляков, изучавший пасквиль, не нашел никаких сведений об этом Борхе. «О каком И (Ж?) Борхе говорит аноним, сказать трудно. Кроме графа А. М. Борха, другого мы не знаем. Не было ли здесь описки?» Поляков хочет сказать, не надо ли инициал «И» считать ошибочным и не читать ли вместо «И» букву «А». «Не на него ли метило анонимное письмо?» — ставит дальше вопрос А. С. Поляков. В дуэльной истории Пушкина встречается имя жены графа А. М. Борха, Софьи Ивановны Борх, урожденной Лаваль — приятельницы А. О. Смирновой и графини М. Д. Нессельроде[1]. Необходимо поэтому войти в подробности о семье Борх и представить результаты наших розысков как в литературе, так и в различных архивах.

В 1783 году генеральный обозный войск княжества Литовского и Люценский староста Михаил Борх грамотой Иосифа II, римского императора, был возведен

с потомством в графское достоинство. В 1839 году дети его искали русского графства, и 20 сентября этого года Николай утвердил мнение государственного совета о признании в графском достоинстве графов Борх и в Российской империи.

У графа Михаила Борха было три сына: Карл, Александр и Иосиф. Старший, Карл, нас не интересует, средний, Александр, родился 18 февраля 1804 года, младший, Иосиф, 30 июля 1807 года (мать их — Элеонора Борх, урожд. графиня де Броуне). Александр Борх делал дипломатическую карьеру, а по нему равнялся и его младший брат. По формулярному списку Александр Борх вступил на службу в коллегию иностранных дел в 1822 году студентом, в 1823 году стал актуариусом и т. д. С февраля 1826 года мы находим его в русской миссии во Флоренции в должности секретаря; с февраля 1827 по апрель 1829 года он исправлял должность поверенного в делах во Флоренции, в 1831 году отозван из Флоренции к службе в Петербург, в министерство иностранных дел, и здесь быстро пошел в гору, повышаясь и по службе и в придворном звании. В декабре 1830 года он был камергером, с апреля 1834 — в должности церемониймейстера. Служебное его положение было упрочено женитьбой на дочери его начальника графа Ивана Степановича Лаваля — графине Софье Ивановне. 26 марта 1833 года князь Вяземский сообщал А. И. Тургеневу о помолвке Лаваль: «София Лаваль помолвлена за Борха, и старик Лаваль не стоит на ногах от радости, а зыблется. Вчера во дворце у всенощной с вербою и свечой в руке il avait l'air d'un feu follet [2]. На время отпуска

* Он походил на блуждающий огонь.

графа Лаваля (с 1 ноября 1835 по 29 мая 1836 г.), стоявшего во главе 1-й особой экспедиции в департаменте внешних сношений, Александр Борх замещал его. И он, дипломат, делавший карьеру при министре графе Нессельроде, и жена его, София Борх, были, конечно, приняты в доме Нессельроде[3].

Дальнейшая судьба графа Борха нам неинтересна, а о графине Софье Борх надо сказать, что она была дамой-патронессой, с 1834 года состояла действительным членом совета Патриотического дамского общества, с 1841 года исправляла обязанности вице-президента совета этого общества. Кн. П. В. Долгоруков, очень скупой на положительные отзывы о людях, о графине Борх пишет: «Она — одна из самых выдающихся русских женщин, одаренная высоким умом, проницательным в высшей мере и в то же время обаятельным, превосходным сердцем и благородным характером. Она дала доказательство своих качеств в своем поведении по отношению к своей сестре, жене князя Сергея Трубецкого, сосланного в Сибирь Николаем. Графиня Борх в течение всей ссылки была добрым ангелом своей сестры и ее семьи». По делам благотворительным графиня Борх была в дружеских отношениях с кн. В. Ф. Одоевским. Какую-то роль в дуэльной истории Пушкина графиня Борх играла. В фальшивых записках А. О. Смирновой читаем о письме Софьи Борх, в котором она оправдывает чету Нессельроде от упреков в скверном отношении к Пушкину и в чрезмерно приветливом к семье Геккеренов. Поверим на этот раз запискам Смирновой. Возможно, что именно о ней упоминает старый Геккерен в письме к приемному сыну. «Мадам Н. (конечно, Нессельроде) и графиня Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются

нами». Если это предположение верно, то тогда ее надо считать одной из двух высокопоставленных дам, бывших поверенными всех тревог Геккерена, которым он день за днем давал отчет во всех своих усилиях порвать несчастную связь сына с Н. Н. Пушкиной. По всем данным графиню С. И. Борх должно считать в лагере врагов Пушкина.

Переходим к младшему брату, Иосифу Борху. В службу он вступил в ведомство государственной коллегии иностранных дел в 1827 году студентом, в актуариусы произведен в апреле 1829 года, в протоколисты в апреле 1832 года; в титулярные советники в апреле 1835 года; в этом же году назначен вторым переводчиком при 2-м (позднее 3-м) отделении департамента внутренних сношений. В этой должности мы застаем его в конце 1836 года. Кроме того, он имел и придворное звание: 7 апреля 1832 года он был пожалован в камер-юнкеры. Состояние его, по формуляру, заключалось в 2 000 душ в Витебской губернии. В 1839 году он был уволен в отпуск за границу к минеральным водам, а в апреле 1840 года министр императорского двора князь Волконский уведомил придворную контору о том, что титулярного советника графа Борха, согласно прошению его, высочайше повелено уволить от службы с награждением следующим чином. На сем основании он был исключен из списков. Вот и все официальные сведения, которые удалось нам разыскать о графе Иосифе Борх. Но надо найти ключ к наименованию его непременным секретарем ордена рогоносцев, наряду с Нарышкиным и Пушкиным.

Женился он 13 июля 1830 года на Любови Викентьевне Голынской, а она была дочерью тайного советника Викентия Ивановича Голынского от брака его

с Любовью Ивановной Гончаровой и приходилась таким образом сродни Наталье Николаевне Пушкиной. Любовь Ивановна Гончарова была внучкой основателя фамилии Гончаровых, Афанасия Абрамовича, а внуком его был дедушка Натальи Николаевны, Афанасий Николаевич. Любовь Ивановна умерла в 1822 году, оставив мужу своему Викентию Ивановичу Голынскому огромное потомство (восемь человек детей) и большой наследственный процесс, неразрешенный при жизни Голынского (умер до 1832 года) и законченный уже опекуном малолетних Голынских — сенатором Павлом Сумароковым и действ. ст. сов. Петром Борейша[4].

Из многочисленного потомства, оставленного Голынским, наше внимание привлекают две старшие дочери: Ольга (в 1813 году по послужному списку отца) пяти лет и Любовь (в этом же году) одного года. Ольга Викентьевна Голынская — та самая, которая вышла в 1836 году замуж за приехавшего в Россию французского журналиста Леве-Веймара, автора благожелательной памяти Пушкина статьи в «Journal des Débats». Любопытные о Голынской сведения находим в письме сестры Пушкина Ольги Сергеевны к отцу Сергею Львовичу от 2 ноября 1836 года: «Вы пишете мне о браке m-lle Гончаровой (выходившей за Дантеса), а я сообщу вам о браке ее кузины m-lle Голынской. Помните вы бывшую невесту Погодина (генерал-интендант действующей армии), она об'ехала Европу совсем одна в поисках приключений, вернулась из Парижа под вымышленным именем в сопровождении молодого французского маркиза, посмеиваясь над светом и в особенности над стариком Погодиным, который осыпал ее деньгами и подарками. Она проездом сейчас здесь и замужем — за кем

бы вы думали—за известным Леве-Веймаром! Говорят, она глупа, а я думаю, что она очень умна: ей 34 года, она некрасива; быть три раза просватанной и выйти замуж за Веймара — в самом деле это не так глупо!» В 1836 году она уехала вместе с мужем из России; Леве-Веймар был не только журналистом, но и дипломатом. Он поддерживал русские связи; находим о нем много упоминаний и в дневниках А. И. Тургенева, и в его письмах к кн. П. А. Вяземскому о нем и о его жене, о последней довольно странного характера. Так, 2 января 1839 года Тургенев сообщал, что он, утром получив от князя Вяземского поручение к Леве-Веймару, пошел «в Веймар, но уже не застал Льва, а львица еще покоилась в об'ятиях Морфея, avec un M»*.

Повидимому, Ольга Голынская не была банальной светской женщиной и не скрывала своих свободных нравов. О сестре Любови знаем меньше, но то, что знаем, свидетельствует также о большой легкости нравов. Поразительное известие о чете Борх идет от Пушкина. В библиотеке М. Н. Лонгинова, находящейся ныне в Пушкинском Доме, оказался экземпляр известной книжки Аммосова о «Последних днях жизни Пушкина». Лонгинов внимательно прочел эту книжку — он писал о ней отзыв для «Современной летописи» — и сделал на листках, вклеенных в книгу, некоторые фактические дополнения: так, он вписал текст пасквиля, пометив его в серии документов под № XIV, а под № XVII записал: «Подробности о переезде Пушкина и Данзаса от кондитерской Вольфа до места поединка». Подробностей записано М. Н. Лонгиновым две: одна воспроизведена

* С неким М.

Лонгиновым в рецензии на книгу Аммосова [5], другая: «по дороге им попались едущие в карете четверней граф И. М. Борх (см. о нем приложение) [6] с женой, рожденной Голынской. Увидя их, Пушкин сказал Данзасу: «Voilà deux ménages exemplaires» (вот две образцовых семьи) и, заметя, что Данзас не вдруг понял это, он прибавил: «ведь жена живет с кучером, а муж — с форейтором» [7]. Пушкин отразил в своей фразе светскую молву, сказал что-то общеизвестное и непонятное только для Данзаса, служившего вне Петербурга и жившего здесь только наездами.

Так вот кто такой — граф Иосиф Борх, непременный секретарь ордена рогоносцев; он был из круга «астов», как говорили тогда. Вспомним признание кн. А. В. Трубецкого о том, что в 30-х годах в высшем петербургском свете было развито бугрство и что Дантес был связан с Геккереном на этой почве [8]. Да, это было распространенным явлением в Петербурге среди высшего света — преимущественно в дипломатическом кругу. Поставляли «астов» и два учебных заведения: пажеский его величества корпус и школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой учился Лермонтов. Сохранилась значительных размеров рукописная стихотворная литература на педерастические темы, процветавшая в школе гвардейских подпрапорщиков, целые поэмы, среди них немало произведений пера Лермонтова. В дальнейшем изложении нам еще не раз придется встречаться с общественной группировкой по «астическому» признаку.

О жене Борха «с кучером» встречаем ряд сведений в письмах Андрея Николаевича Карамзина к матери Е. А. Карамзиной, писанных летом 1837 года из Баден-Бадена.

5

На несколько мгновений перенесемся в этот курорт, излюбленный русской знатью. Русская аристократия по сезонам всегда переполняла его; так было и в летний сезон 1837 года — после убийства Пушкина. Тут сошлись все наши, tout le monde* и А. О. Смирнова с мужем, и кн. Ольга Долгорукая, и господин Платонов, безнадежно влюбленный в Смирнову, и чета Киселевых, и граф Лев Соллогуб, и Свистуновы, и Радзивилл, и Полуектова, и графиня Панина... Словом все. И все они sont toujours et partout les mêmes**. Тут же и Дантес с женой, и старый Геккерен, и графиня Борх с мужем[1]. На короткое время наезжал и великий князь Михаил Павлович. Прогулки, танцы, балы приемы... Андрей Карамзин познакомился с ней, с графиней Борх, 25 июня на празднике русской колонии в день рождения Николая. «За обедом,—пишет он матери, — я сидел между Полуектовой и графиней Борх, с которой тут же познакомился. Nous avions un sujet tout trouvé, Ernest*** Штакельберг. Скажите ему, что она сперва очень покраснела, но потом обошлось, и так как нам обоим беспрестанно подливали, то к концу обеда мы стали очень откровенны. Она очень хороша». Она очень понравилась Карамзину, и у него нет для нее других эпитетов, как: миленькая, прелестная, хорошенькая. Он был ее спутником в partie de plaisir****, кавалером в танцах. Но мужа он не выносил, он аттестовал его несносным, грубым, глупым и просто «умником»

* Весь свет.
** Они всегда и везде одни и те же.
*** У нас была уже готовая тема, Эрнест...
**** В развлечениях.

в кавычках. «В последнее воскресенье,—писал Карамзин матери,—ездил я верхом с графиней Борх... на высокую гору. Мы все были веселы и довольны, одна бедная и милая графиня беспокоилась оттого, что муж, ехавший за нами в коляске, не мог следовать по дурной дороге и был вынужден воротиться... Кислая фигура de ce vilain avorton de mari наводила уныние на все общество». Avorton de mari—хорошее прозвище для рогоносца, живущего с форейтором,—avorton—выкидыш, недоносок, выродок—муж-выкидыш, муж-недоносок! И среди этого русского общества царил Дантес. Карамзин встречался с ним на общих забавах и удовольствиях. Дантес участвовал и в этой поездке с Карамзиным и четой Борх: «за веселым обедом в трактире, подстрекаемый шампанским, он довел нас до судорог от смеха. На балу в присутствии семьи герцога Баденского Дантес предводительствовал мазуркой в паре с графиней Борх.

А вот и русский бал у Полуектовой... «Странно было, — писал Карамзин, — мне смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые». А у рулетки торчал старый Геккерен! Блестящая иллюстрация к лицемерным утверждениям о том, как отвернулись все русские, бывшие в Бадене, от убийцы Пушкина.

А вот и еще одно неизвестное в литературе и заслуживающее всяческого доверия свидетельство об отношении к Дантесу и Пушкину государева брата, великого князя Михаила Павловича. Это свидетельство принадлежит князю Одоевскому и извлечено из его дневника: «Встретивши Дантеса (убившего Пушкина) в Бадене, который, как богатый человек и барон, весело прогуливался с шляпой набекрень, Ми-

хаил Павлович три дня был расстроен. Когда графиня Соллогуб-мать, которую он очень любил, спросила у него о причине его расстройства, он ответил: «Кого я видел? Дантеса! — Воспоминание о Пушкине вас встревожило? — О, нет! туда ему и дорога! — Так что же? — Да сам Дантес! бедный! — подумайте, ведь он солдат».

«Все это было, — добавляет Одоевский, хорошо лично знавший Михаила Павловича, — в нем — не притворство, но таков был склад его идей»[2].

Вот все наши сведения о графине Любови Борх. Мы еще знаем, что графиня Эмма Борх, рожденная Голынская, умерла 11 марта 1868 года и похоронена в Париже на кладбище Montmorency.

Но «по царственной линии» для Борха пока нет материалов.

6

Но если даже с Борхом по царственной линии и ничего не выходит, все же у нас достаточно оснований для предположения, что анонимный пасквилянт наносил язвительную рану чести Пушкина намеком на Николая. Если мы допустим такое предположение, то для нас станет понятным и участие посла Геккерена в фабрикации пасквиля. Обвинение Геккерена в составлении диплома, резкое и решительное, идет от Пушкина, но это обвинение страдает психологической неувязкой, пока мы думаем, что пасквиль метил в Наталью Николаевну и Дантеса. Трудно принять, что Геккерен хотел навести ревнивое внимание Пушкина на любовную игру своего приемного сына: не мог же он думать, что Пушкин пройдет молчанием такой намек. А вот направить, через анонимный пасквиль, намек на царя — это выдумка, достойная ди-

Пушкин в гробу
Рисунок Бруни

пломата, и автор ее, по собственному соображению, должен был остаться в состоянии полной неуязвимости. Мотивы, толкавшие Геккерена на учинение неприятности Пушкину, ясны.

Дело в том, что осенью 1836 года чета Геккеренов, отец и приемный сын, были одурачены Пушкиным. В истории дуэли мы привели бесспорные свидетельства того, что мысль о женитьбе Дантеса на Катерине Гончаровой возникла и существовала до получения Пушкиным анонимных писем и, следовательно, до вызова.

Вылущивая зерно истины из рассказа А. В. Трубецкого, я приходил к заключению: правдоподобным остается один факт — «раз Дантес и Н. Н. Пушкина были настигнуты поэтом; Н. Н. об'яснила свое интимничанье намерением Дантеса сделать предложение ее сестре Екатерине, и об этой своей, об'ясняющей свидание, уловке довела до сведения Дантеса». Дантес был настигнут Натальей Николаевной и вынужден был подтвердить перед Пушкиным об'яснение Н. Н. Я не обратил в свое время внимания на одно свидетельство, весьма авторитетное, приведенное в воспоминаниях Альфреда Фаллу, известного французского политического деятеля, монархиста и клерикала, биографа пресловутой m-me Свечиной. В 1836 году, на 26 году от рождения, вместе с маркизом де ла Бульери, он посетил Россию и побывал в Петербурге. M-me Свечина дала ему рекомендации к m-me Нессельроде, жене вице-канцлера, а m-me Нессельроде обласкала странствующих французов и приставила к ним показывать город и жизнь сначала своего сына Д. К. Нессельроде, а потом блестящих кавалергардов — князя Александра Трубецкого, знакомого нам по его рассказу о дуэли, и барона Жор-

жа Геккерена. Уезжая летом из Петербурга, Фаллу увозил самое светлое о них воспоминание. Через год он появился в салоне m-me Свечиной. «Первое лицо, которое я встретил, m-me Нессельроде. Эти две подруги, разделенные скорее обстоятельствами, чем расстоянием, редкий год проводили без свиданий. Когда имп. Николай потребовал от Луи-Филиппа отзыва Баранта, Свечина и Нессельроде назначали встречи в Франкфурте, Бадене или провинциальном французском городке, где легко было соблюсти инкогнито, и когда отношения между Россией и Францией налаживались, Нессельроде проводила в Париже недели и посвящала почти все свои вечера Свечиной». Фаллу стал расспрашивать и о петербургских новостях, и от нее узнал и о катастоофе, постигшей Геккерена. Фаллу вслед за этими словами сообщает следующий рассказ из непререкаемого источника (de source irrécusable). «Однажды утром Геккерен увидел у себя в комнате Пушкина, поэта самого популярного в России». «Как случилось, господин барон, — сказал Пушкин ему, — что я нашел у себя письма вашей руки?» Он держал в руке письма, действительно содержавшие выражение пылкой страсти. — «У вас нет повода считать себя обиженным, — ответил Геккерен, — m-me Пушкина согласилась их принять у меня только для того, чтобы передать их своей сестре, на которой я хочу жениться». — «В таком случае женитесь». — «Моя семья не дает мне согласия». — «Добейтесь его». Эта беседа создала очень щекотливое положение, и если бы брак не состоялся, m-me Пушкина могла бы быть серьезно скомпрометирована. Жорж Геккерен долго не колебался, и немного спустя Петербург поздравлял его с браком» [1]. «Непререкаемый источник» — конечно m-me Нессель-

роде. Думаю, что эта женщина, смахивавшая на мужчину, державшая в руках своего мужа, заправлявшая мнением света, положительная и точная, друг семьи Геккеренов, правильно передала историю первого столкновения Пушкина с Дантесом. Теперь можно поверить и в записочки, которые, по словам Трубецкого, носила горничная Н. Н. Пушкиной к Дантесу. Сопоставим и показание Дантеса в военно-судной комиссии о коротеньких записочках, коих выражения могли возбудить щекотливость Пушкина как мужа. Да, так оно и было в действительности, как рассказывала Нессельроде — так случилось в конце лета 1836 года. Слово о женитьбе вылетело из уст Дантеса совсем неожиданно для него самого. 11 сентября кавалергарды перешли с Черной речки на городские квартиры, начался осенний городской сезон, и проект свадьбы повис в воздухе. Неохота самому в петлю голову класть, и, понятно, Геккерены — и Луи и Жорж — стремились отвязаться от вылетевшего слова, отбиться от совсем неподходящего брака. Конечно, росло чувство раздражения и ненависти к Пушкину, являлось желание отмстить ему за то дурацкое положение, в которое он их поставил. «В то время, — вспоминает Трубецкой, — несколько шалунов из молодежи — между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой cousin* — стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам».

Естественно возникала мысль отвести внимание Пушкина от случая с Дантесом и направить его гнев в другую сторону. Отсюда — диплом по царственной линии с намеком на царя и Наталью Николаевну. В таком деле мог принять участие Геккерен. Ему не

* Двоюродный брат.

нужно было самому писать этот диплом, достаточно было внушить, вдохновить кого-либо из окружавшей его молодежи.

Что же вышло? Пушкин получил диплом, понял куда направлена стрела, сразу разгадал игру Геккерена, сразу признал его составителем диплома. В черновых набросках письма к Геккерену читаем: «Не прошло и трех дней в розысках, как я узнал в чем дело. Если дипломатия ничто иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость, сознаваясь, что сами потерпели поражения на всех пунктах». На клочках другого разорванного черновика письма Пушкина можно прочесть: «удар, который, как полагало... безымянное письмо было получено... я получил три экземпляра... были розданы... смастерили с такими ничтожными предосторожностями... с первого взгляда я напал на след сочинителя. Я более не беспокоился... я был... отыскать моего шутника (моих шутников)»...

В действиях Пушкина в ноябре месяце резко намечаются две линии: одна — в сторону Дантеса, другая — в сторону Геккерена. На нападение он ответил двумя ударами. Первый удар пришелся по Дантесу. Пушкин послал ему вызов. Ход был совершенно неожиданным для Геккерена и буквально его ниспроверг. Геккерен взвился, завертелся, завизжал, как пришибленная собачонка, и бросился спасать положение. История его метаний известна. Тут волей-неволей приходилось поступить по слову, вылетевшему из уст Дантеса летом. Поставив Дантеса на колени, Пушкин собирался нанести второй удар уже по нидерландскому посланнику. Вызов Дантеса был взят обратно, первый хлопотун Жуковский собирался по-

чить от посреднических дел, и вдруг ему передают слова Пушкина, сказанные им в салоне кн. В. Ф. Вяземской: «я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра перед тем, что я намерен сделать»... О чувстве, с каким Пушкин говорил эти слова, можно судить по рассказу графа Соллогуба о беседе, которую Пушкин имел с ним 21 ноября у себя на дому. «Послушайте, вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако, я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет». Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал мне известное нам письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я выразить против такой сокрушительной страсти?»[2]

Небольшое отступление — на тему о громких подвигах Александра Раевского. Скандал был огромный и разразился во время пребывания царицы в Одессе. Раевский, у которого был длительный роман с женой князя М. С. Воронцова, встретил ее на улице и отчитал на всю Одессу. Он кричал ей что-то вроде: «Позаботьтесь о нашей дочери» и т. п. Чтобы удалить Раевского, Воронцов обратился по начальству с доносом на политическую благонадежность Раевского, и по высочайшему повелению он был выслан из Одессы. Скандал разошелся по всей России. Не совсем ясны мотивы поведения Раевского. Он устраи-

вал скандал своей возлюбленной, но из-за кого? Не муж стал поперек дороги, а кто-то другой, но кто? Императрица долго не хотела слышать о Раевском: по выражению Николая, он ее встревожил.

Граф Соллогуб писал свои воспоминания через несколько десятков лет после событий, и ему казлось, что письмо, читанное ему Пушкиным в ноябре, было тем самым, которое было послано в январе: впрочем, Соллогуб добавлял: «только прежнее письмо было, если я не ошибаюсь, длиннее и, как оно ни покажется невероятным, еще оскорбительнее». Письма, конечно, не были тожественны, но некоторые места в январском письме могли быть воспроизведены с приблизительной точностью. В изложении истории дуэли я приходил к заключению, что частичное осуществление плана необычайного отмщения Геккерену нужно видеть в известном письме к графу Бенкендорфу от 21 ноября. Нельзя не обратить внимания на то, что 21 ноября происходила беседа с Соллогубом. Решаюсь привести вновь это письмо целиком:

«Граф! Считаю, что я вправе и даже обязан сообщить вашему сиятельству о том, что произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра безымянного письма, оскорбительного для моей собственной и для жены моей чести. По виду бумаги, по слогу письма, по его редакции, я с первой же минуты догадался, что оно от иностранца, человека высшего круга, дипломата. Я стал разыскивать. Узнаю, что семь или восемь особ в тот же день получили по экземпляру такого же письма, запечатанного и адресованного на мое имя, под двойным конвертом. Большая часть лиц, его получивших, подозревая гнусность, не переслали его ко мне. Вообще негодовали на столь подлую и незаслуженную обиду;

но, повторяя, что поведение моей жены безукоризненное, говорили, что поводом к этой гнусности послужило настойчивое ухаживание за ней г. д'Антеса.

Не мне было допустить, чтобы в данном случае имя жены моей было связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил передать это г. д'Антесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов за г. д'Антеса, прося у меня двухнедельной отсрочки.

Случилось так, что в этот условленный промежуток времени д'Антес влюбился в мою свояченицу, девицу Гончарову, и стал просить ее руки. Узнав об этом по общественным слухам, я поручил попросить г. д'Аршиака (секунданта д'Антеса) смотреть на мой вызов, как на несостоявшийся. Между тем я удостоверился, что безымянное письмо было от г. Геккерена, о чем считаю долгом уведомить правительство и общество.

Будучи единым судьею и блюстителем моей и жениной чести, а потому не требуя ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу кому бы то ни было пред'являть доказательств того, что утверждаю.

Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия моего к особе вашей. С этим чувством имею честь быть и проч.».

Чтобы ощутить всю чрезвычайность, всю разительность замышленной Пушкиным мести, полной, совершенной, опрокидывающей человека в грязь, нельзя остановиться на том толковании письма, которое я дал в очерке дуэльной истории, надо итти дальше, надо принять предлагаемое толкование диплома «по царственной линии». Привлечь высочайшее внимание к пасквилю, пред'явить его царю: «не я один, муж Натальи Николаевны, помянут здесь, но и брат ваш,

да и вы сами, ваше величество. А смастерил этот пасквиль господин голландский посланник барон Геккерен. Обратите на его голову громы и молнию!!» Такой диплом для Николая Павловича то же, что кусок красной материи для быка. Да, в таком случае произошел бы, действительно, скандал, единственный в своем роде, и громкие подвиги Раевского, конечно, детская игра в сравнении с ним! Если же остаться при прежнем толковании пасквиля как намека на Дантеса, тогда бездоказательная компрометация Геккерена по частному, семейному поводу, сделанная бездоказательно в оригинальном письме, представлялась бы бледной попыткой с негодными средствами. Такое уведомление не достигло бы цели — это надо признать.

Не было бы эффекта!

Указание на Геккерена как на составителя подметного письма, задевающего семейную честь императорской фамилии, сослужило бы Пушкину несомненную пользу и в отношениях царя к чете Пушкиных. Произошло бы поражение и другого опасного — гораздо более опасного, чем Дантес, — поклонника Натальи Николаевны — Николая Павловича Романова. Атмосфера была бы разрежена. Вот та тонкая игра, которую хотел повести Пушкин!

Пушкин был обязан к величайшей осторожности в своих действиях и свое крайнее раздражение должен был ввести в тихие берега светского благоприличия. Николай должен был почувствовать намек Пушкина, но весь гнев его должен был пасть на Геккерена.

Особый смысл приобретает фраза письма: «не мне было допустить, чтобы, в данном случае, имя жены моей было связано с чьим бы то ни было именем». По принятому толкованию пасквиля ни с чьим,

кроме Дантеса, и не связывали, а при предлагаемом — выражение Пушкина понятно: с чьим бы то ни было именем: Дантеса, царя — все равно.

Каким образом Пушкин мог осуществить свое намерение? К кому он должен был обратиться? Прямо к царю он не имел доступа. Значит, к одному из приближенных. Письмо 21 ноября принято считать адресованным к Бенкендорфу[3], хотя в рукописных списках и при первом появлении в печати оно было отнесено к Бенкендорфу только предположительно. Мне представляется возможным отнести его теперь к графу Нессельроде, министру иностранных дел. Если компрометировать Геккерена, то, конечно, надо делать это по соответствующему ведомству, не по III отделению, а по ведомству иностранных дел. Остается открытым вопрос: отправил ли по адресу свое письмо Пушкин? В обнаруженном в 1917 году секретном досье III отделения такого письма к Бенкендорфу не оказалось — лишнее возможное подтверждение предположения о Нессельроде как адресате письма. А если оно направлено Пушкиным графу Нессельроде и им получено, то могло ли случиться так, что Нессельроде скрыл его в тайнике своего стола и не дал ходу? На этот вопрос с глубоким убеждением могу ответить: да, так могло быть [4].

7

Графиня М. Д. Нессельроде играла виднейшую роль в высшем свете и при дворе. На этот счет показания современников сходятся. Дадим слово ее поклоннику, Альфреду Фаллу: «граф Нессельроде играл в течение долгого периода в России ту же роль, какую играл в Австрии Меттерних; он был непохож только по внешности. Это был человек небольшого роста, с

умными глазами, закрытыми толстыми стеклами очков. Великосветские манеры, которым я удивлялся в австрийском канцлере, достались в удел графине Нессельроде; ее лицо и рост были благородны и внушительны. Те, кто видел ее на короткое время и официально, сделали ей репутацию упрямой и жесткой женщины. Но это ошибка и несправедливость.... Графиня при дворе и даже в глазах императорской фамилии пользовалась моральным авторитетом, независимо от ее высокого положения».

Вот отзыв другого поклонника графини Нессельроде, барона М. А. Корфа:

«Графиня Мария Дмитриевна Нессельроде, по необыкновенному уму своему и высокому просвещению и особенно по твердому, железному характеру, была, конечно, одною из примечательнейших, а по общественному своему положению и влиянию на высший петербургский круг одною из значительнейших наших дам в царствование императора Николая. С суровой наружностью, с холодным и даже презрительным высокомерием ко всем, мало ей знакомым или приходившимся ей не по нраву, с решительной наклонностью владычествовать и первенствовать, наконец, с нескрываемым пренебрежением ко всякой личной пошлости или ничтожности, она имела очень мало настоящих друзей и в обществе, хотя, созидая и разрушая репутации, она влекла всегда за собой многочисленную толпу последователей и поклонников; ее, в противоположность графу Бенкендорфу, гораздо больше боялись, нежели любили. Кто видел ее только в ее гостиной, прислоненную к углу дивана, в полулежачем положении, едва приметным движением головы встречающую входящих, каково бы ни было их положение в свете, тот не мог составить себе ни-

какого понятия об этой необыкновенной женщине, или разве получал о ней одно понятие, самое невыгодное. Сокровища ее ума и сердца, очень теплого под этой ледяной оболочкой, открывались только для тех, которых она удостаивала своей приязнью; этому небольшому кругу избранных, составлявших для нее, так сказать, общество в обществе, она являлась уже, везде и во всех случаях, самым верным, надежным и горячим, а по положению своему и могущественным другом. Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько и дружба — я испытал это на себе многие годы — неизменна, заботлива, охранительна, иногда даже до ослепления и пристрастия. Совершенный мужчина по характеру и вкусам, частию и по занятиям, почти и по наружности, она, казалось, преднамеренно отклоняла и отвергала от себя все, имевшее вид женственности. Так и самый разговор ее вращался всегда в предметах, обыкновенно находящихся вне круга дамских бесед. Она любила говорить о серьезной литературе, о высшей администрации и политике, — более, однако, внутренней, чтобы не компрометировать случайно своего мужа, — о государственных наших людях, о действиях правительства и о новых его постановлениях, соединяя в себе, впрочем, две противоположности: беспредельную преданность не только монархическому началу, но и царственному нашему дому, с самою взыскательною оппозициею против распоряжений правительства и даже против личных действий его членов, так что великий князь Михаил Павлович, никогда не жаловавший графини, говоря о ней, называл ее в шутку: ce bon monsieur de Robespierre *. При большой резкости в

* Добрейший господин Робеспьер.

мнениях и приговорах графиня была большей частью основательна в своих суждениях и чрезвычайно счастлива на меткие слова, умные наблюдения, тонкие и оригинальные замечания. Но все это она оставляла для своего тесного кружка, а в свете сохраняла редко прерываемое молчание и самое аристократическое спокойствие. Салон графини Нессельроде, после смерти соперничествовавшего с ней в этом отношении князя Кочубея, был неоспоримо первым с С.-Петербурге; попасть в него, при его исключительности, представляло трудную задачу; удержаться в нем, при разборчивости и уничижительной гордости хозяйки, было почти еще мудренее; но кто водворился в нем, тому это служило открытым пропуском во весь высший круг».

В характеристике, оставленной Корфом, одна черта обращает особое внимание: *вражда ее была ужасна и опасна*. Эту черточку мы запомним.

После Фаллу и Корфа — слово князю П. П. Вяземскому, сыну друга Пушкина: «Графиня Нессельроде, одаренная характером независимым, непреклонная в своих убеждениях, верный и горячий друг своих друзей, руководимая личными убеждениями и порывами сердца, самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сенжерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и салоне графини Нессельроде в доме министерства иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитического олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить

эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министром финансов в царствование императора Александра I».

После этих выспренных характеристик, грешащих одинаковым гиперболизмом, сведем графиню Марью Дмитриевну Нессельроде на землю с метафорических небес. Мы располагаем показаниями о чете Нессельроде человека, отлично знавшего высший свет и двор николаевского времени, князя П. В. Долгорукова. Его рассказы до сих пор не были введены в научный оборот.

Сначала о графе: «Карл Васильевич Нессельроде, немец происхождением и, по своим понятиям, немец старого покроя: человек ума не обширного, но ума необыкновенно хитрого и тонкого, ловкий и вкрадчивый от природы, но совершенно чуждый потребностям современным, им принимаемым за прихоть игривого воображения. Искусный пройдоха, обретший большую помощь в хитрости и ловкости своей жены-повелительницы, столь же искусной, как и он, пройдохи, и к тому же страшнейшей взяточницы, Нессельроде был отменно способным к ведению обыденных, мелких дипломатических переговоров. Но зато высшие государственные соображения были ему вовсе чуждыми: поклонник Меттерниха, он считал его за идеал ума человеческого и всегда благоговейно, слепо и неразумно преклонялся перед этим самозванным божеством политики. Впрочем, ленивый от природы, он не любил ни дел, ни переговоров; его страстью были три вещи: вкусный стол, цветы и деньги. Этот австрийский министр русских иностранных дел, Нес-



Перевоз тела А. С. Пушкина из Петербурга в Святогорский монастырь

С картины А. Наумова

сельроде не любил русских и считал их ни к чему не способными; зато боготворил немцев, видел в них совершенство человечества и вероятно полагал, что при сотворении мира господь-бог, уже отдохнув на седьмой день, лишь на восьмой, после отдыха и собравшись с силами, создал первого немца»... Своим возвышением Нессельроде обязан сильному придворному влиянию искусных интриганов, своих тестя и тещи, графа и графини Гурьевых [1].

Дальше о графине: «женщина ума недальнего, никем не любимая и не уважаемая, взяточница, сплетница и настоящая баба-яга, но отличавшаяся необыкновенной энергией, дерзостью, нахальством и посредством этой дерзости, этого нахальства державшая в безмолвном и покорном решпекте петербургский придворный люд, люд малодушный и трусливый, всегда готовый ползать перед всякой силою, откуда бы она ни происходила, если только имеет причины страшиться от нее какой-нибудь неприятности» [2].

Резким отзывам Долгорукова можно поверить, ибо в конечном счете основные черты характера графини изображены так же и в отзывах ее поклонников. Характеристика Долгорукова лучше об'ясняет резко отрицательное отношение Пушкина и к графу и к графине. Следует сказать еще и несколько слов о политических взглядах графини. Муж ее обожал Меттерниха и находился под его влиянием, она сама брала уроки политической мудрости у m-me Свечиной. Безоглядная преданность началам «Священного союза», преклонение перед самодержавием и монархом, вражда и отрицание всякого движения, в малейшей степени оппозиционного, и, конечно, стопроцентная ненависть ко всякой революции. В 1925 году мы имели удовольствие познакомиться с полити-

ческими письмами графини о событиях 14 декабря и не можем согласиться с мнением их издателя о значительности и ценности этих писем. Ни ума, ни оригинальности в них незаметно. Привычная благоговейная восторженность перед новым монархом, патриотическое подхалимство и решительная бесчеловечность к заговорщикам. «Какое это должно быть ужасное чувство — иметь в своей семье преступника! По сравнению с этими извергами приходится и смерть находить чем-то мягким»[3]. Для нее, так же как и для графа Бенкендорфа, Пушкин оставался un ami de quatorze, другом декабристов, скрытым революционером. Это тоже следует запомнить. Уже одной этой репутации Пушкина достаточно было для того, чтобы положить предел между ним и графиней. Он был неприемлем для нее, она — для него.

Но были какие-то бытовые отношения, питавшие злые против графини чувства. На их след наводит одна деталь, записанная П. И. Бартеневым со слов Нащокина. «Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой (придворный) Аничковский вечер: Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и между прочим сказал: «Я не хочу, чтоб жена моя ездила туда, где я сам не бываю». Следовательно, в сближении Натальи Николаевны с двором и Николаем, которое могло только пугать Пушкина, посильную долю участия приняла и графиня Нессельроде. Значит, у Пушкина было за что ее ненавидеть.

В дуэльный период Нессельроде играла роль, на которой не останавливались до сих пор. Она судачила с Геккереном о семейных делах Пушкина, она

была поверенной сердечных тайн Дантеса. Ей докладывал Геккерен о своих усилиях порвать несчастную связь своего приемного сына. Оправдываясь перед Нессельроде и полагая, что оправдание будет доведено до сведения царя, Геккерен не назвал по имени двух высокопоставленных дам, но одна из них — графиня Нессельроде, конечно. Такое допущение доказывается и упоминанием в письме Геккерена к сыну, оказавшемся в секретном архиве III отделения [4]. «Ради бога, будь благоразумен, — писал Геккерен сыну, — и за этими подробностями (о внешности анонимного пасквиля) отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. Мадам Н. и графиня София Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами». Не лишенная острой пикантности картина рисуется на основании этого письма. Вице-канцлер, министр иностранных дел, рассматривает пасквиль, жена министра может рассказать о многом в этом темном деле и горячо интересуется Геккеренами. Всякий суд по этим признакам должен был бы вызвать всех названных в письме лиц в качестве свидетелей.

Корф определил графиню: если друг, так верный друг; если враг, то враг жестокий. Геккеренам она была верным другом. И посаженной матерью была на странном бракосочетании Дантеса, и утешительницей семьи Геккеренов в вечер и ночь после дуэли 27 января. На Мойке в доме Волконской доктора боролись со смертью за жизнь, боролись почти без надежд, а граф и графиня Нессельроде (так же как граф и графиня Строгановы) проводили вечер у барона Геккерена и оставили его дом только в час пополуночи, и когда после дуэли в отношениях высшего

общества к Геккерену повеяло холодком, графиня не забывает послать пригласительный билет старому другу на званый обед. Графиня Нессельроде грудью стояла за Геккерена во время военно-судного процесса, вплоть до от'езда семьи Геккеренов. 8 апреля 1837 года кн. Вяземский сообщал А. Я. Булгакову об от'езде Геккерена из России и писал: «под конец одна графиня Нессельроде осталась при нем, но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста, и грудиста и брюшиста»[5].

Итак, если 21 ноября 1837 года Пушкин писал графу Нессельроде (а не графу Бенкендорфу) и если он отправил свое письмо, то Нессельроде мог не дать ему движения и скрыть его от царских очей; слишком близка была прикосновенность его супруги к вражде Геккеренов с Пушкиным и к дуэльному делу.

В сочинении диплома Пушкин в первые же дни заподозрил одну даму, которую он назвал Соллогубу и которую не назвал нам Соллогуб. Не она ли? Не графиня ли Нессельроде? А через три дня по получении письма он уже знал о ближайшем участии Геккерена в составлении пасквилей, в их фабрикации. Одно не исключает другого.

А. И. Тургенев, занося в свой дневник под 17 февраля 1837 года всякие обстоятельства в связи со смертью Пушкина, записывает два слова: «Подозрения. Графиня Нессельроде», и только. Загадочная близость этих двух слов может дать основание к горестным размышлениям.

В 1927 году — через девяносто лет после вечно печальных событий осени и зимы 1836—1837 годов — было названо имя Нессельроде как автора анонимного пасквиля. В. Гольцев из записок, писан-

ных уже в XX веке, некоего князя А. М. Голицына извлек следующую запись: «государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце за столом, в ограниченном кругу лиц громко сказал: «ну, так вот теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде («c'est Nesselrode»)». Слышал от особы, сидевшей возле государя. Соболевский подозревал, но очень нерешительно, князя П. В. Долгорукова»[6]. Нессельроде и Долгоруков... Одно не исключает другого.

А может быть Пушкин и не отправил по адресу сокрушительного обличения, потому ли, что уступил настояниям Жуковского, или потому, что остановился перед теми последствиями, которые могли произойти и не для одного Геккерена. Неслыханный план мести не осуществился, но чувство едкой ненависти к врагу к Геккерену, попрежнему разрывало сердце Пушкина.

8

Еще несколько соображений в доказательство предлагаемого толкования диплома — по царственной линии.

Если бы Пушкин считал, что диплом открывал ему глаза на Дантеса, то он послал бы вызов ему, но не стал бы искать автора или составителя пасквиля в Геккерене, потому что доводы порядка — и логического и психологического — не позволили бы ему притти к заключению об участии Геккерена в фабрикации пасквиля. Конечно, всякий анонимный пасквилянт рассчитывает, что он не будет открыт, но какой смысл для Геккерена был в обращении ревнивого внимания Пушкина на своего сына, особенно после того, как из уст последнего вылетело слово о сватов-

стве к Катерине Гончаровой? Мрачный и мстительный характер Пушкина был известен Геккерену, и, конечно, не мог он предполагать, что Пушкин проглотит анонимную обиду, останется в пассивном положении и не обрушится на Дантеса со всей стремительностью пробужденной ревности. В интересы Геккерена входило не вызывать в памяти Пушкина летнего инцидента, а, наоборот, замять, предать забвению. Самая мысль о причастности Геккерена к фабрикации пасквиля находится в антагонизме с утверждением, что пасквиль направлен в Дантеса Геккереном.

Для всякого ясно следующее: при существующем толковании пасквиля, как намека на Дантеса, было бы уже совсем нелепо предположить, что автором или составителем его мог быть сам Дантес. Нелепость такого предположения очевидна, а между тем шеф жандармов, граф Бенкендорф, получив приказание разыскать автора, пускается на хитрость, чтобы достать русский почерк — кого же?.. Дантеса, и сравнить его с почерком пасквиля. А если Бенкендорф так сделал, то значит он видел в пасквиле намек не на Дантеса, а на особ повыше. И для него и для его суверена недопустимо дерзким было упоминание о брате августейшего монарха в сопоставлении с престарелым обер-егермейстером Нарышкиным. В их глазах уже одного этого упоминания было бы достаточно, чтобы принять диплом в том смысле, какой хотел дать ему составитель. А в таком случае и Дантес годится в обвиняемые!

Пушкин мог считать Геккерена участником фабрикации пасквиля только при принятии его как намека на Николая, а Пушкин с момента получения пасквиля и до самой смерти был крепко убежден насчет Геккерена. Следует взвесить и оценить следующее об-

стоятельство. История второго, январского, вызова, расследованная нами, возлагает всю вину за вторичное столкновение всецело на Дантеса и отводит Геккерену роль сравнительно незначительную. Одураченный жених поневоле и муж по принуждению с трудом мирился с положением. Он добросовестно выполнял обязанности мужа Катерины Николаевны, но красота сестры попрежнему волновала и будила несытые желания. И что же? Пушкин шлет вызов, но кому?.. посланнику Геккерену. До Пушкина доходят слухи, что Дантес, только что оженившийся, добивается свидания с Натальей Николаевной, и Пушкин вызывает... Геккерена. 26 января он отправляет посланнику письмо — в нем он ничего не прибавляет к обвинениям, формулированным в бешеном письме, которое он прочел 21 ноября 1836 года графу В. А. Соллогубу. По фактическому содержанию письмо 26 января может быть отнесено и к ноябрю. Правда, в письме от 26 января уже не содержится тех прямых обвинений Геккерена в фабрикации анонимных писем, которые налицо в клочках разорванного черновика. Но я должен отказаться от высказанного мною на стр. 379 мнения: «важное отличие черновиков от письма указывает на то, что полной и решительной, основанной на фактах и могущей быть доказанной уверенности в авторстве Геккерена у Пушкина не было». В этом вопросе следует напирать на свидетельство кн. П. А. Вяземского в письме к вел. кн. Михаилу Павловичу: «как только были получены анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему

впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд божий, а не людской». Только по глубокому убеждению в том, что вина за ноябрьский диплом рогоносца по царственной линии лежит всецело на Геккерене, Пушкин в январе отправил вызов не Дантесу, а Геккерену.

Сохранился след реакции Пушкина на сближение имени его жены с царем. В академическом издании «Переписки Пушкина» под № 1091 напечатан пасквиль, полученный Пушкиным 4 ноября 1836 года, и сейчас же вслед за ним под № 1092 идет письмо Пушкина к министру финансов графу Канкрину. Напомним обстоятельства, в которых Пушкин находился в это время: 4 ноября получил анонимные письма; послал вызов; в тот же день пришел к нему Геккерен, попросил отсрочки; 6 ноября Геккерен явился вновь; приехал Жуковский; все эти дни Пушкин был в поисках составителя пасквиля, находился в возбуждении, волнении и тут же нашел время писать министру финансов. Пушкин крайне нуждался в средствах последние годы своей жизни; скрепя сердце, он вынужден был просить у царя денег сначала на издание истории Пугачевского бунта, а потом взаймы, с погашением жалованием по службе. В 1836 году долг его равнялся 45 000 руб. И вот Пушкин пишет Канкрину о том, что он, Пушкин, «желает уплатить свой долг сполна и немедленно» и просит Канкрина принять в уплату долга отписанное ему отцом сельцо Кистенево с 220 душами. К этой просьбе он присоединяет еще одну: «Осмелюсь утрудить ваше сиятельство еще одною, важною для

меня просьбою. Так как это дело весьма малозначуще и может войти в круг обыкновенного действия, то убедительнейше прошу ваше сиятельство не доводить оного до сведения государя императора, который, вероятно, по своему великодушию, не захочет таковой уплаты (хотя оная мне вовсе не тягостна), а может быть и прикажет простить мне мой долг, что поставило бы меня в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости, что и может показаться неприличием, напрасной хвастливостью и даже неблагодарностью».

В сущности Пушкин не имел никакой возможности платить долг имением, потому что он уже отказался от ничтожных доходов с крепостных имений и предоставил их сестре и брату. Сколько труда положил Жуковский на то, чтобы наладить отношения Пушкина с двором, с царем, и вдруг... «желаю платить долги сполна и немедленно... не желаю, чтобы царь знал об этом, боюсь, что он прикажет простить мне долг, тогда попаду в весьма тяжелое и затруднительное положение». Ясно, случилось что-то, всколыхнувшее душу Пушкина, наполнившее ее отчаянием. Подальше от царя, от его милостей, от его денег [1]. Нельзя не связать этого письма к Канкрину с пасквилем, ну, а если связывать, то уж нечего еще раз повторять, что Пушкин принял намек диплома — «рогоносец по царственной линии».

Пушкин не осуществил плана громкой компрометации Геккерена перед царем. По всему видно, что о ноябрьской истории Николай не получил от своих приближенных полной информации, не знал содержания пасквиля: и он считал, как все, что неловкое положение у Дантеса с Пушкиным должно кончиться

дуэлью, и он, как все, думал, что после женитьбы Дантеса дело заглушено, и уж ему никак не могло притти в голову, что и он замешан в этой истории. Но произошла дуэль, и Николай потребовал полной информации по делу Пушкина: дело докладывалось ему и графом Бенкендорфом по III отделению и графом Нессельроде по министерству иностранных дел. Доклад последнего состоялся 28 января: в этот день Геккерен послал Нессельроде документы, относившиеся «до того несчастного происшествия, которое граф благоволил лично повергнуть на благоусмотрение его императорского величества».

Эти документы должны были, по мнению Геккерена, убедить и царя и министра в том, что он, Геккерен, не мог поступить иначе. Через день, 30 января, Геккерен, досылая Нессельроде документ, которого нехватало, просил его «умолить государя уполномочить его прислать ему в нескольких строках оправдание его поведения, чтобы он мог чувствовать себя вправе оставаться при русском дворе, ибо он был бы в отчаянии покинуть его». В этот же день Геккерен писал своему министру в Гаагу; он излагал обстоятельства дела, сообщал, что он получает знаки внимания и сочувствия от всего петербургского общества, и заверял, будто император, сообщая роковую весть о смерти Пушкина императрице, выразил уверенность, что барон Геккерен не мог поступить иначе. Геккерен и не помышлял еще о возможных для него лично следствиях этого дела. Но прошло всего два дня, и Геккерен 2 февраля уже направляет к наследнику престола, принцу Оранскому, мужу сестры Николая, просьбу поддержать перед королем его ходатайство о переводе его из Петербурга. За эти несколько дней царь составил определенное мнение о роли Геккерена,

и, конечно, Геккерен узнал это мнение от своего благожелателя графа Нессельроде.

Дипломат, бывший долгое время на лучшем счету у петербургского правительства, сразу стал «канальей» в глазах царя. Этого «каналью» Николай не желал больше терпеть при своем дворе; никакие его оправдания и документы ему были ненужны, и он сразу же решил выгнать его вон из Петербурга. 3 февраля Николай написал два письма: одно брату Михаилу, который был в это время в Риме, другое сестре Анне в Гаагу. Изложив кратко историю дуэли, Николай писал брату: «Пушкин погиб и, слава богу, умер христианином. Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшею частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и всё это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной; тогда жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна [2]. Так как сестра ее точно любила Дантеса, то Пушкин тогда же и отказался от дуэли. Но должно ему было при том и оставаться, чего не вытерпел. Дантес — под судом, ровно как и Данзас, секундант Пушкина, и кончится по законам, и, кажется, каналья Геккерен отсюда выбудет».

А сестре он писал: «Пожалуйста, скажи Вильгельму (мужу, принцу Оранскому), что я обнимаю его и на этих днях пишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое положило конец жизни знаменитого Пушкина, поэта; но это

не терпит почты». Действительно, письмо принцу Оранскому было отправлено с курьером 22 февраля 1837 года, но, несмотря на неоднократные обращения к нидерландскому правительству с просьбами о розыске этого письма, в котором Николай требует отозвания посланника и несомненно излагает поведение Геккерена, письмо не было найдено. По справке голландского министерства иностранных дел, его не оказалось ни в архиве королевского дома, ни в архиве кабинета королевы. Будем надеяться, что письмо цело и лежит на своем месте; и в департаменте полиции в свое время мне ответили, что никаких материалов о дуэли и смерти в архиве III отделения не имеется. Оказывается, нужна была революция, чтобы открыть секретный архив этого учреждения и обнаружить в нем пачку с искомыми материалами.

Николай порвал все отношения с Геккереном. Когда Геккерен покидал Россию, официально уезжая в отпуск, он попросил аудиенции. Царь приказал Нессельроде передать Геккерену, что он желает избежать об'яснений, которые могут быть только тягостными. В знак же благоволения Николай выслал Геккерену, точно жалкому просителю, в прихожую дворца, бриллиантовую табакерку, и Геккерен принял ее, а дипломаты — коллеги Геккерена — раз'ясняют смысл подарка: «табакерку, по установившемуся при императорском дворе обычаю, дарят послам, покидающим свой пост окончательно, из чего явствует, что император не пожелал видеть его здесь долее, и что его сюда не ждут».

Баварский посланник делает любопытные и значительные для нашей точки зрения пояснения: «присылка табакерки вместе с отказом в обычной аудиенции явилась настоящим ударом для Геккерена, вы-

званным какой-нибудь особой причиною, что император по всей вероятности и об'яснит королю Голландии»[3].

По характеру и по силе реакции Николая на ознакомление с делом Пушкина во всех подробностях можно заключить, что не бесчестие, нанесенное Пушкину, взволновало царя. Из-за Пушкина Николай не пошел бы на такие крутые меры; царь не любил поэта, относился к нему на всем протяжении их личного знакомства — с 1826 года — с подозрительным недружелюбием; не любил как человека, не ценил как писателя. Только благодаря неимоверным стараниям друзей Пушкина, и прежде всего Жуковского, Николаю была создана репутация хранителя русской национальной славы в лице Пушкина, благожелательного опекуна, отечески любившего своего верноподданного поэта. В практических целях друзья укрепляли эту репутацию, но про себя-то они знали цену царской любви. 9 ноября 1843 года в парижском ресторане А. И. Тургенев встретился с д'Аршиаком, разговорился о Петербурге, о Пушкине и стыдливо записал, придя домой, в своем дневнике: «государь не любил Пушкина».

А если Николай учинил Геккерену бесчестие в масштабе европейском, то сделал он это потому, что почувствовал себя оскорбленным. Он видел, что пасквиль задевает его, и кроме того знал из источников, нам неизвестных, что причастен к фабрикации пасквиля барон Геккерен. Только при допущении этих положений нам будет понятна реакция Николая. А на самом деле, разве не каналья этот голландский посланник! Царь, как офицеришка, еще только ездил мимо окон, на окнах даже шторы опущены, а его уже сравнивают с братом Александром, который тринад-



Святогорский монастырь. Могила Пушкина

С литографии Александрова, сделанной в Пскове в 1837 году. Собственность Пушкинского Дома

цать лет жил с Нарышкиной. Каналья вмешался не в свои дела и каналья выбудет из Петербурга!

У одного из наиболее осведомленных о деле Пушкина дипломатов, виртембергского посланника князя Гогенлое-Кирхберга, женатого на русской, бывавшего у Вяземских и принимавшего к себе и Вяземских, и Тургенева, и других приятелей Пушкина, в донесении своему правительству есть любопытное сообщение: «об анонимных письмах существует два мнения. В обществе наибольшим доверием пользуется мнение, приписывающее их О. (Ouvarow — Уваров); мнение правительства (du pouvoir), основывающееся на тожественности пунктуации, на особенностях почерка и на сходстве бумаги, инкриминирует их Н. (конечно, Heeckeren). Да, мнение правительства было такое, вернее, мнение царя. Любопытно, что когда воля царя была сообщена Геккерену, когда вопрос об его отозвании был решен, он пишет 1 марта 1837 года графу Нессельроде письмо—оправдание против обвинений, которые, как он знал, конечно, со слов Нессельроде, царь пред'являет против него. Их было два обвинения—в сводничестве и в авторстве анонимных писем. Оправдание против последнего обвинения Геккерен начинает так, как начал бы всякий уважающий себя человек: «никто не думает, чтобы я снизошел до оправданий», но, оставляя сразу эту позицию, он переходит к оправданиям и основывает их на раз'яснении, что анонимные письма — не в интересах ни его, ни сына. Совершенно правильно, если согласиться не видеть, замолчать намек на Николая и заменить его намеком на Дантеса. А затем Геккерен упирает на невозможный, неслыханный характер письма Пушкина к нему. Этот характер признавали все — и царь в том числе, но царь в письме к Михаилу Павловичу зато и.

писал: «последнего повода к дуэли, заключавшегося в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, никто не постигает».

Итак, Пушкин и Николай сошлись во взглядах на Геккерена и поняли смысл пасквиля. Их заключение по делу представляется наиболее авторитетным — пасквиль кивал на царя, и ближайшее прикосновение к нему имел барон Геккерен. А ближайшие друзья Пушкина изо всех сил бились, доказывая, что все дело пошло, продолжалось и кончилось все из-за дерзких ухаживаний Дантеса за женой Пушкина, и в то же время они твердили о тайне в деле Пушкина[4]. «О том, что было причиной этой кровавой и страшной развязки, говорить много нечего. Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих»... Или: «адские козни окутали Пушкиных и остаются еще под мраком». Так писал кн. П. А. Вяземский Д. В. Давыдову. Тайной и была прикосновенность к этому делу Николая Павловича Романова, но друзья Пушкина и мечтать не смели о том, чтобы приоткрыть хоть уголок такой тайны. Понятно, они укрывали тайну не только по соображениям об общеопасности такого открытия, но еще во имя охранения чести Натальи Николаевны — и в этом они успели[5].

9

Барон Геккерен был не один в гнусном деле. От него тянулись нити в разные стороны. Одна из них приводила в салон m-me Нессельроде, к двум высокопоставленным дамам, имевшим сомнительную честь быть поверенными его интимных рассказов. В доме Нессельроде Геккерен прижился, был как свой: поль-

зовался покровительством графа и графини Нессельроде. Но в городе репутация барона была незавидна. Граф Гогенлое-Кирхберг в своем донесении прямо говорит, что в последние годы к Геккерену относились хуже, и многие избегали знакомства с ним. Геккерен был окружен аристократической молодежью, с которой он был в отношениях неестественной интимности. Вспомним, как определил князь А. В. Трубецкой одну из «шалостей» Дантеса: «не знаю, как сказать: он ли жил с Дантесом или Геккерен жил с ним... В то время в высшем обществе было развито бугрство». К кругу молодых «астов», шаливших вместе с Геккереном, тянется другая нить в этом деле. Здесь Геккерен мог найти и нашел физических исполнителей своих замыслов.

Вопрос о том, кто писал диплом своей собственной рукой и кто разослал его Пушкину и его знакомым, остается невыясненным и по сей день. С наибольшим упорством молва называла три имени: князя И. С. Гагарина, князя П. В. Долгорукова и графа С. С. Уварова[1]. Эти имена стали произносить в первые же дни после смерти Пушкина. А. И. Тургенев записал в дневнике под 30 января 1837 года: «Вечер у Карамзиной. О князе Иване Гагарине». Под 31 января: «Обедал у Карамзиной. Спор о Геккерене и Пушкине. Подозрения опять на К. И. Г.» (т. е. на князя И. Гагарина). Так как князь И. С. Гагарин жил вместе с князем П. В. Долгоруковым, то, естественно, подозрение распространилось и на него. Н. М. Смирнов, муж А. О. Смирновой, в 1842 году, т. е. через пять лет после событий, изложил в своем дневнике взгляд на происхождение и распространение подметного пасквиля,—взгляд, очевидно, принятый в светских кругах, сочувствовавших Пушкину: «Весьма правдоподоб-

но, что Геккерен был виновником сих писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и, отвлекши его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной,— исцелить его от любви и женить на другой. Подозрение также падало на двух молодых людей—кн. Петра Долгорукого и кн. Гагарина, особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном К. О. Россетом: на нем подробно описан был не только дом его жительства, куда повернуть, взойдя на двор, по какой итти лестнице и какая дверь его квартиры. Сии подробности, неизвестные Геккерену, могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Россета, и подозрение, что кн. Гагарин был помощником в сем деле, подкрепилось еще тем, что он был очень мало знаком с Пушкиным и казался очень убитым тайною грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие, им принятое в пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению,—это то, что Геккерен был их сочинитель». О круге Геккерена выпуклые воспоминания сохранились у князя Вяземского: «Старик Геккерен был известен своим распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части, в числе их находились князь П. В. Долгоруков и граф Л. С.»[2]. На членах этой геккереновской стаи мы и остановились.

Обвинения князя И. С. Гагарина и князя П. В. Долгорукова были оглашены в печати впервые в 1863 году в брошюре Аммосова «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина»[3]. Аммосов писал со слов К. К. Данзаса следующее:

«Автором пасквилей, по сходству почерка, Пуш-

кин подозревал Геккерена-отца и даже писал об этом графу Бенкендорфу. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина; теперь же подозрение это осталось за жившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым.

Поводом к подозрению князя Гагарина в авторстве безымянных писем послужило то, что они были писаны на бумаге, одинакового формата с бумагою князя Гагарина. Но, будучи уже за границей, Гагарин признался, что записки были писаны действительно на его бумаге, но только не им, а князем Петром Владимировичем Долгоруковым.

Мы не думаем, чтобы это признание сколько-нибудь оправдывало Гагарина—позор соучастия в этом грязном деле, соучастия, если не деятельного, то пассивного, заключающегося в знании и допущении, — остался все-таки за ним».

Заявления Аммосова были перепечатаны во многих русских журналах и газетах и нашли широкое распространение как в России, так и за границей[4]. Обвиняемые были в то время живы: князь Иван Сергеевич Гагарин, принявший католичество еще в 1842 году, был священником иезуитского ордена, а князь Петр Владимирович Долгоруков, самовольно и тайно оставивший отечество в 1859 году, был эмигрантом совершенно особенного типа и вел жестокую литературную войну с сановниками русского правительства. И тот и другой не оставили без ответа позорившие их сообщения Данзаса.

Первым отозвался князь П. В. Долгоруков. Он напечатал в герценовском «Колоколе» (1863 г., № 168 от 1 августа) и в своем журнальчике «Листок» (1863 г., № 10) письмо в редакцию «Современника», повторившего на своих страницах в ре-

цензии на книжку Аммосова его заявления. Это письмо появилось затем и в сентябрьской книжке «Современника» за 1863 год, с исключением одной фразы, выброшенной цензурой. Приводим полностью это письмо, содержащее кое-какие любопытные фактические данные.

«М. Г. В июньской книге вашего журнала прочел я разбор книжки г. Аммосова: «Последние дни жизни А. С. Пушкина», и увидел, что г. Аммосов позволяет себе обвинять меня в составлении подметных писем в ноябре 1836 г., а князя И. С. Гагарина — в соучастии в таком гнусном деле, и уверяет, что Гагарин, будучи за границею, признался в том.

Это клевета и только: клевета и на Гагарина и на меня. Гагарин не мог признаться в том, чего никогда не бывало, и он никогда не говорил подобной вещи, потому что Гагарин человек честный и благородный и лгать не будет. Мы с ним соединены с самого детства узами теснейшей дружбы, неоднократно беседовали о катастрофе, положившей столь преждевременный конец поприщу нашего великого поэта, и всегда сожалели, что не могли узнать имен лиц, писавших подметные письма.

Г. Аммосов говорит, что писал свою книжку со слов К. К. Данзаса. Я не могу верить, чтобы г. Данзас обвинял Гагарина или меня. Я познакомился с г. Данзасом в 1840 г., через три года после смерти его знаменитого друга, и знакомство наше продолжалось до выезда моего из России, в 1859 г., т. е. 19 лет. Г. Данзас не стал бы знакомиться с убийцею Пушкина, и не он, конечно, подучил г. Аммосова напечатать эту клевету.

Г. Аммосову неизвестно, что Гагарин и я, после смерти Пушкина, находились в дружеских сношениях с людьми, бывшими наиболее близкими к Пушкину; г. Аммосову неизвестно, что я находился в дружеских сношениях с друзьями Пушкина: гр. М. Ю. Виельгорским, гр. А. Строгановым, кн. А. М. Горчаковым, кн. П. А. Вяземским, П. А. Валуевым; с первыми двумя до самой кончины их, с тремя последними до выезда моего из России в 1859 году. Г. Аммосову неизвестно, что уже после смерти Пушкина я познакомился с его отцом, с его родным братом и находился в знакомстве с ними до самой смерти их.

Начальнику III отделения, по официальному положению его, лучше других известны общественные тайны. Л. В. Дубельт (младший сын его женат на дочери великого поэта) никогда не обвинял ни Гагарина, ни меня по делу Пушкина. Когда в 1843 году я был арестован и сослан в Вятку, в предложенных мне вопросных пунктах не было ни единого намека на подметные письма.

С негодованием отвергаю, как клевету, всякое обвинение как меня, так и Гагарина в каком бы то ни было соучастии в составлении или распространении подметных писем. Гагарин, ныне находящийся в Бейруте, в Сирии, вероятно, сам напишет вам то же. Но обвинение—и какое ужасное обвинение!— напечатано было в «Современнике» и долг чести предписывает русской цензуре разрешить напечатание этого письма моего[5]. Прося вас поместить его в ближайшей книге «Современника», имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою.

Князь Петр Долгоруков.

Оправдание князя Ивана Гагарина появилось в № 154 «Биржевых ведомостей» за 1865 год и было ответом на помещенную в № 102 этой газеты статью, которая в свою очередь была заимствована из «Русского архива». В «Русском архиве» этого года был помещен отрывок «Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба». Сообщив со слов Дантеса о том, что документы, поясняющие смерть Пушкина, целы и находятся в Париже и среди них диплом, написанный поддельной рукой, граф Соллогуб высказал предположение: «Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божие правосудие!»

Граф Соллогуб не назвал этого имени, но редактор «Русского архива» П. И. Бартенев в примечании к этому месту процитировал приведенное нами выше заявление Аммосова. Князь И. С. Гагарин опубликовал любопытнейшее письмо, которое мы и приводим без изменений. Упоминаемые в письме его лица обозначены инициалами, которые раскрыты (вполне верно) Бартеневым, перепечатавшим письмо Гагарина в «Русском архиве» (1865, изд. 2-е, стр. 1242—1246).

«В № 102 «Биржевых ведомостей» помещена статья, в которой, по поводу безымянных писем, причинивших смерть Пушкина, приводится мое имя. Статья эта меня огорчила, и невозможно мне ее пропустить без ответа. В этом темном деле, мне кажется, прямых доказательств быть не может. Остается только честному человеку дать свое честное слово. Поэтому я торжественно утверждаю и объявляю, что я этих писем не писал, что в этом деле я никакого участия

не имел; кто эти письма писал, я никогда не знал и до сих пор не знаю. Чтобы устранить все недоразумения и все недомолвки, мне кажется нужным войти в некоторые подробности. В то время, как случилась вся эта история, кончившаяся смертью Пушкина, я был в Петербурге и жил в кругу, к которому принадлежали и Пушкин, и Дантес, и я с ними почти ежедневно имел случай видеться. С Пушкиным я был в хороших сношениях; я высоко ценил его гениальный талант и никакой причины вражды к нему не имел. Обстоятельства, которые дали повод к безымянным письмам, происходили под моими глазами, но я никаким образом к ним не был примешан, о письмах я не знал и никакого понятия о них не имел. Первый человек, который мне о них говорил, был К. О. Р.[6]. В то время я жил на одной квартире с кн. П. В. Д.[7] на Миллионной. С Д. я также с самого малолетнего возраста был знаком. Бабушка его княгиня Д.[8] и особенно тетушка его М. П. К.[9] были в дружной и тесной связи с моей матушкой. Мы в Москве очень часто видались, потом Д. отправлен был в Петербург в Пажеский корпус. Я потерял его из виду и встретился с ним опять в Петербурге в 1835 или 1836 году. Мы наняли вместе одну квартиру. Однажды мы обедали дома вдвоем, как приходит Р. При людях он ничего не сказал, но как мы встали из-за стола и перешли в другую комнату, он вынул из кармана безымянное письмо на имя Пушкина, которое было ему прислано запечатанное под конвертом на его (Р) имя. Дело ему показалось подозрительным, он решился распечатать письмо и нашел известный пасквиль. Тогда начался разговор между нами; мы толковали, кто мог написать пасквиль, с какою целию, какие могут быть от этого последствия. Подробностей этого разговора я теперь

припомнить не могу; одно только знаю, что наши подозрения ни на ком не остановились и мы остались в неведении. Тут я имел в руках это письмо и рассматривал. Другого экземпляра мне никогда не приходилось видеть. Сколько я могу припомнить, Р. нам сказал, что этот конверт он получил накануне.

Несколько времени после того, однажды утром, в канцелярии Министерства иностранных дел я услышал от графа Д. К. Н.[10], что Пушкин накануне дрался с Дантесом и что он тяжело ранен. В тот же день я отправился к Пушкину и к Дантесу; у Пушкина не принимали; Дантеса я видел легко раненого, лежавшего на креслах.

В то время было в Петербурге много толков о безымянных письмах; многие подозревали барона Геккерена-отца; эти подозрения тогда, как и теперь, мне казались чрезвычайно нелепыми. Я и не воображал, что меня также подозревали в этом деле. Прошло несколько лет; я провел эти годы в Лондоне, в Париже и в Петербурге. В Париже я часто видался со многими русскими; в Петербурге я везде бывал и почти ежедневно встречался с Л.[11], и во все это время помину не было о моем мнимом участии в этом темном деле. В 1843 году я оставил свет и поступил в новициат ордена иезуитов, в ахеоланскую обитель (L'acheul), где и оставался до сенятбря 1845 года. В ахеоланской обители меня навестил А. И. Т.[12], мы долго с ним разговаривали про былое время. Он мне тут впервые признался, что он имел на меня подозрение в деле этих писем, и рассказывал, как это подозрение рассеялось. На похоронах Пушкина он с меня глаз не сводил, желая удостовериться, не покажу ли я на лице каких-нибудь знаков смущения или угрызения совести, особенно пристально смотрел

он на меня, когда пришлось подходить ко гробу — прощаться с покойником. Он ждал этой минуты: если я спокойно подойду, то подозрения его исчезнут; если же я не подойду или покажу смущение, он увидит в этом доказательство, что я действительно виноват. Все это он мне рассказывал в ахеоланской обители и прибавил, что, увидевши, с каким спокойствием я подошел к покойнику и целовал его, все его подозрения исчезли. Я тут ему дружески приметил, что он мог бы жестоко ошибиться. Могло бы случиться, что я имел бы отвращение от мертвецов и не подошел бы ко гробу. Подходить я никакой обязанности не имел, — не все подходили, и он тогда бы очень напрасно остался убежденным, что я виноват.

После этого несколько раз до меня доходили слухи, что тот или другой человек меня подозревал в том же деле. Я, признаюсь, не обращал на эти подозрения никакого внимания. С одной стороны, я так твердо убежден был в моей невинности, что эти слухи не делали на меня впечатления. С другой стороны, так много людей не могли себе об'яснить, почему я оставил свет и сделался иноком. Стали выдумывать небывалые причины. Иные предполагали, не знаю, какой, роман, любовь, отчаяние и бог весть что такое. Другие полагали, что я непременно совершил какое-нибудь преступление, а как за мною никакого преступления не знали, то стали поговаривать: «а может быть он написал безымянные письма против Пушкина?»

Пушкин убит в феврале 1837 года, если я не ошибаюсь; я вступил в орден иезуитов в августе 1843 г.— слишком шесть лет спустя: в продолжение этих шести лет никто не приметил за мной никакого отчаяния, даже никакой грусти, и, сколько я знаю, никто не

останавливался на мысли, что я эти письма писал; но как я сделался иезуитом, тут и стали про это говорить.

Несколько лет тому назад один старинный мой знакомый приехал в Париж из России и стал опять меня расспрашивать про это дело; я ему сказал, что я знал, и как я знал. Разговор пал на бумагу, на которой был писан пасквиль; я действительно приметил, что письмо, показанное мне К. О. Р., было писано на бумаге, подобной той, которую я употреблял. Но это ровно ничего не значит; на этой бумаге не было никаких особенных знаков, ни герба, ни литер. Эту бумагу не нарочно для меня делали; я ее покупал, сколько могу припомнить, в английском магазине, и вероятно половина Петербурга покупала тут бумагу.

Кажется, к этим об'яснениям насчет моего мнимого участия в безымянных письмах более ничего прибавлять не нужно. Но не могу умолчать о кн. Д. Конечно, он в моей защите не нуждается и сам себя защищать может. Одно только я хочу сказать. Как видно из предыдущего, во время несчастной этой истории я с ним на одной квартире жил, — следовательно, если бы были против него какие-нибудь улики или доказательства, никто лучше меня не мог бы их приметить. Поэтому я почитаю долгом об'явить, что никаких такого рода улик или доказательств я не приметил. Примите уверение и т. д.

Ивана Гагарина,
священника общества Иисусова».

В указаниях князя Гагарина мы не находим никаких противоречий. Ссылка на А. И. Тургенева находит подтверждение в его дневниках и письмах к кн. П. А. Вяземскому. В дневниках немало упоминаний

о князе Гагарине самого дружественного характера; в особенности их много в 1838 году, когда Тургенев жил в Париже и чуть не ежедневно встречался с князем И. С. Гагариным. Вместе с ним Тургенев посещал лекции в Сорбонне. 14 марта 1838 года Тургенев сообщал князю П. А. Вяземскому: «я часто вижу кн. Ивана Сергеевича Гагарина: он, кажется, опять стал тем же, каким я знавал его в Мюнхене, где он мне очень нравился. Не чуждаясь света, он заглядывает в книги и любит салоны Свечиной и ей подобных». Хорошее впечатление с течением времени только усиливалось. Так, 9 апреля 1838 года Тургенев писал опять Вяземскому: «я часто видаюсь здесь с кн. Иваном Гагариным. Он попал в первоклассное fashionables* и имеет на то полное право: богат, умен, любезен и любопытен».

Гагарин принадлежал к «кружку 16»: участники сходились по вечерам и вели беседы, так, как будто бы III отделения не существовало. Среди «16-ти» были Ю. Ф. Самарин, гр. Андрей Шувалов, А. А. Столыпин (лермонтовский Монго), сам М. Ю. Лермонтов, граф П. А. Валуев, барон Д. П. Фредерикс, кн. С. Н. Долгоруков, кн. А. Н. Долгоруков и др. Все это были люди весьма молодые и весьма аристократического происхождения.

Ничто не предвещало того духовного переворота, который через четыре года привел Гагарина в католическую церковь, на лоно братьев иезуитского ордена. Православные друзья Гагарина были ошеломлены известием об обращении Гагарина: Самарин вступил с ним в полемическую переписку на тему о сравнительном достоинстве христианских религий, Тургенев

* Светское общество.

тоже попытался уяснить причины перехода, и с этой именно целью он навестил Гагарина в ахеоланской обители. Об этом посещении и упоминает Гагарин в своем письме. Тургенев посетил Гагарина два раза — 27 и 28 сентября 1844 года. Через три дня он сообщил К. С. Сербиновичу: «Я был два раза в l'Acheul и спорил с послушником Иваном Ксаверием: но об этом более после; не он во всем виноват, а мы, т. е. вы, я, Филарет, Муравьев и весь летаргизм нашего православия: опять: «sapienti sat»*. Дайте всем верить и думать».

В дневнике Тургенев записал, конечно, посещения. 27 сентября был лишь незначительный разговор, и свидание было условлено на следующий день. Вот запись 28 сентября, в которой по неразборчивости почерка не удалось прочесть несколько слов: «в 7 часов St. Acheul, Гагарин уже ожидал меня, приготовил комнату, камин, шоколад и кофе. Сам спит с другими в зале. Исповедь его (Мысли мои при сем случае. Гагарин о Криднер и Бенкендорф, кажется, намекал, что желает обратить его!! о богородице, о Шеллинге, коему сказал поручение. Об отце и матери: слезы навертывались. О надеждах для России. Книги Филарета и Муравьева решили его. Равиньян, беседа и советы его. Свечина отговаривала вдруг. Опасение, что знать будут. Нельзя исповедаться в России кат. свящ. всё иезуитские извинения, но чистосердечны). Мое участие в его прениях с самим собою. Самарин знал, что католик, и в России сам плакал. Боборыкина вопрос: не отрекся, но отмолчался. Обещал ему книгу Самарина и друг. В 9 часов простились. Усадил меня...»

---

* Умному достаточно.

Тургенев в своей записи и не заикнулся о разговоре, который произошел между ним и Гагариным о Пушкине и анонимных письмах. Молчание не значит, что Гагарин облыжно упомянул о беседе, а может означать только то, что Тургенев не счел даже нужным отметить этот разговор: он показался Тургеневу ничтожным по своим результатам, и, очевидно, у него не было ни капли сомнения в непричастности Гагарина к пасквильному делу.

Неназванный Гагариным старинный знакомый, с которым он беседовал об анонимных письмах, это — друг Пушкина С. А. Соболевский. Он тоже оставил рассказ о беседе с Гагариным в письме к князю С. М. Воронцову: «Вам известно, что в свое время предполагали, что этот поступок (составление пасквиля) совершил Гагарин и что угрызения совести в этом поступке заставили последнего сделаться католиком и иезуитом; вам известно также, что главнейший повод к такому предположению дала бумага, подобную которой, как утверждали, видали у Гагарина. С своей стороны я слишком люблю и уважаю Гагарина, чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение; впрочем, в прошедшем году я самым решительным образом расспрашивал его об этом; отвечая мне, он даже и не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невинности; но, оправдывая Долгорукова в этом деле, он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он прекрасно мог воспользоваться бумагою последнего и что поэтому главнейшее основание направленных против него подозрений могло пасть на него, Гагарина».

Трудно было бы допустить вообще легкость и интимность общения, если бы А. И. Тургенев питал хоть сколько-нибудь основательное подозрение на князя И. С. Гагарина. Значит, подозрение, возникшее было, действительно рассеялось у А. И. Тургенева в момент похорон, но как же оно было неосновательно, раз для его рассеяния достаточно было одного мимолетного впечатления!

Нам известен еще один собеседник Гагарина на тему об анонимных письмах.

Н. С. Лескову принадлежит интереснейший рассказ об его беседах с Гагариным по этому вопросу [13]. Свои выводы Лесков резюмирует следующим образом: «Из встреч и бесед с Гагариным у меня сложилось убеждение: 1) что дело смерти Пушкина тяготило и мучило Гагарина ужасно; 2) что он почитал себя жестоко оклеветанным; 3) что опровержений своих он не почитал достаточно сильными для ниспровержения всей этой клеветы, и 4) что он был убежден в существовании более сильного и неопровержимого доказательства его правоты, каковое доказательство и есть во Франции.... Характер и судьба И. С. Гагарина чрезвычайно драматичны, и всякий честный человек должен быть крайне осторожен в своих о нем догадках. Этого требуют и справедливость и милосердие». К этим словам нелишнее присоединить и следующую характеристику Гагарина, оставленную Лесковым: «Гагарин совсем не отвечал общепринятому вульгарному представлению об иезуитах. В Гагарине до конца жизни неизгладимо сохранилось много русского простодушия и барственности, соединенной с тою особою кадетскою легкомысленностью, которую часто можно замечать во многих русских великосветских людях... Гагарин был

положительно добр, очень восприимчив и чувствителен. Он был хорошо образован и имел нежное сердце... Он не был ни хитрец, ни человек скрытный и выдержанный, что можно было заключить по тому, как относились к нему некоторые из лиц его братства, в котором он, по чьему-то удачному выражению, не состоял иезуитом, а при них содержался».

Психологическая трудность усвоения пасквиля князю Гагарину бросается в глаза при чтении опубликованных писем князя И. С. Гагарина к Ф. И. Тютчеву от 1836 года. Гагарин в 1833—1835 годах служил в нашей дипломатической миссии в Мюнхене и здесь сблизился с Ф. И. Тютчевым. Переехав в конце 1835 года в Петербург, князь Гагарин стал деятельным пропагандистом поэзии Тютчева. Через него именно попали в «Современник» стихотворения Ф. И. Тютчева. Гагарин писал Тютчеву в следующих выражениях: «До сих пор, любезнейший друг, я не поговорил с вами как следует о тетради, которую вы мне прислали с Крюднерами. Я провел над нею приятнейшие часы. Тут вновь встречаешься в поэтическом образе с теми ощущениями, которые сродны всему человечеству и которые более или менее переживались каждым из нас; но сверх того для меня это чтение соединялось с наслаждением совершенно особенным: на каждой странице живо припоминались мне вы и ваша душа, которую бывало мы вдвоем так часто и так тщательно разбирали... Пушкин ценит ваши стихи как должно и отзывался мне о них весьма сочувственно. Я отменно рад, что могу передать вам эти известия. По-моему, мало что может сравниться со счастием напечатлевать мысли и доставлять умственные на-



Князь Петр Владимирович Долгоруков
С литографии из собрания Пушкинского Дома

слаждения людям с дарованием и со вкусом. Поручите мне почетную должность быть вашим издателем».

Изложенными выше данными исчерпывается также и все то, что мы знаем о роли князя П. В. Долгорукова. Никаких выводов отсюда делать нельзя, но темные слухи с течением времени превращались в категорические утверждения. Так, в изданной в Берлине в 1869 году русской книжке «Нынешнее состояние России и заграничные русские деятели» на стр. 13-й можно прочесть: «Вероятно, вам памятно, как он, Долгоруков, будучи еще молод и неопытен, позволил себе написать анонимное письмо к нашему народному поэту Пушкину». Князь П. А. Вяземский, весьма осведомленный свидетель-современник, против этой фразы отметил на полях книжки: «Это еще не доказано, хотя Долгоруков и был в состоянии сделать эту гнусность» [14]. Неприглядность нравственной личности князя Долгорукова, действительно, не есть еще достаточное основание для его обвинения в составлении и распространении пасквиля. Б. Л. Модзалевский, давший большой материал для отрицательной характеристики Долгорукова и высказавшийся за причастие его к фабрикации пасквиля, в конце концов опирался на эту характеристику и не указал об'ективных улик [15].

В конце концов из всех выдвинутых против Гагарина и Долгорукова соображений и обстоятельств наиболее веским, громко говорящим против них, является их нахождение в кругу Геккерена. Молодые люди наглого разврата окружали посланника, и князья-друзья были из их числа, и, конечно, мы должны считать их в 1836 году в стане врагов Пушкина. Они принадлежали к золотой молодежи Петер-

бурга. Об ее забавах и шалостях как раз в интересующий нас период рассказывает князь А. В. Трубецкой: «В то время несколько шалунов из молодежи,—между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой cousin,—стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин». Характерно в этом сообщении то, что автор не видит ничего особенного в действиях шалунов из молодежи, что ему представляется рассылка пасквилей по мужьям-рогоносцам делом обыкновенным, в порядке вещей. Какой же низкий моральный уровень современного Пушкину света зафиксирован свидетельством князя Трубецкого! К сообщению князя А. В. Трубецкого надо добавить рассказ графа В. А. Соллогуба о пасквилях. От'езжая из Петербурга в начале декабря 1836 года, граф Соллогуб зашел проститься с д'Аршиаком. «Он показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкою подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший его смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал».

В такой атмосфере творили свое гнусное дело питомцы Геккерена. Но кто же списывал, кто писал пасквиль?

10

III отделение в свое время разыскивало переписчиков пасквиля, но оно занималось розысками по понуждению, неохотно, без всякого рвения. Сохрани-

лась в секретном досье III отделения «записка для памяти» графа Бенкендорфа следующего содержания (по-французски): «некто Тибо, друг Россетти, служащий в Главном штабе, не он ли написал гадости о Пушкине». Отделение заработало, выяснило, что в Главном штабе Тибо нет, а есть два Тибо на почтамте. Были доставлены почерки того и другого Тибо. А. С. Поляков по поводу жандармских розысков замечает: «каковы были результаты расследования, чем оно закончилось, документы III отделения нам ничего не говорят. Подозрения, видимо, были напрасны, так как «дела» о Тибо не имеется, а Осипа Тибо и в следующем году мы также видим служащим в почтамте на той же должности». А. С. Поляков произвел собственные разыскания и указал еще на одного Тибо, Людвига, учителя французского языка Ларинской гимназии, но это уже неизвестно к чему. Кто направил Бенкендорфа на след Тибо, неизвестно, но я думаю, инспиратор не имел в виду ни одного из названных Тибо. Вернее всего, это был m-r Тибо, упоминаемый и в записках А. О. Смирновой и в письмах А. Н. Карамзина, воспитатель или гувернер в семье Карамзиных; конечно, это он был в приятельских отношениях с К. О. Россетом, братом А. О. Смирновой.

После неудачных диверсий в сторону Тибо III отделение попыталось еще поставить сличение почерка пасквиля с почерком Дантеса. Надо было затребовать русский почерк Дантеса, но Дантес как будто догадался об умысле и при собственноручном письме на французском языке препроводил адрес учителя русского языка, написанный рукою слуги. Сохранилось и еще одно сообщение о розысках — в воспоминаниях Н. И. Иваницкого, бывшего в то время сту-

дентом университета. «Тайная полиция часто обращалась с этим письмом к нашему отставному профессору Бутырскому, не может ли он узнать по почерку этих писем, потому что под его руководством воспитывалось много молодых людей, и, следовательно, он мог примениться к разным почеркам. Но Бутырский, разумеется, не мог узнать. Я слышал это от Бутырского». III отделение в своих поисках шло по ложному следу и, производя розыски, точно отбывало какую-то тяжелую и неприятную повинность.

Только III отделение действительно могло получить какие-либо выводы о писцах пасквиля, потому что в его распоряжении был подлинный экземпляр пасквиля. Вне III отделения подлинных экземпляров не было; друзья Пушкина уничтожили анонимные письма, и пасквиль обращался только в копиях. Мы уже говорили о том, что Соболевский разыскивал подлинный экземпляр в 1861 году и не нашел. И он и В. А. Соллогуб возлагали большую надежду на результаты сличения почерков. Соллогуб утверждал: «Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божье правосудие».

Только во втором десятилетии двадцатого века были обнаружены подлинные экземпляры диплома, и только в 1927 году, через девяносто лет после событий, я мог поставить научную экспертизу почерков. Впервые вместо достоверных догадок мы опираемся на об'ективные данные графического анализа, и впервые не божье правосудие, а судебный эксперт ленинградского Губсуда называет имя человека, чьей рукой написан диплом на звание рогоносца. Конечно,

этому жалкому пасквильному герою мы не дадим эпитета «настоящий убийца Пушкина». Если даже возводить (чего мы не делаем) смерть Пушкина от ран на дуэли только к анонимным письмам, то и тогда мы должны сказать, что убийца был не один, что убийцей был целый коллектив, члены которого были об'единены и спаяны общим пороком. В этом патологическом коллективе один играл роль руководителя, другие исполнителей. Одного из таких физических исполнителей мы можем назвать теперь без риска ошибки.

В конце июля 1927 года я обратился к известному ленинградскому специалисту, судебному эксперту и инспектору научно-технического бюро ленинградского губернского уголовного розыска А. А. Салькову и предложил ему произвести графическое исследование почерков на пред'явленных мною документах, а пред'явлены были следующие документы: 1—2) два подлинных экземпляра пасквиля, разосланного 4 ноября 1836 года; 3) конверт, в котором был прислан один из указанных экземпляров; 4) письмо посланника барона Геккерена к Жоржу Дантесу, то самое, которое было обнаружено в 1917 году в секретном архиве III отделения; 5—6) письмо И. С. Гагарина к Н. И. Тургеневу с русским и французским текстом; 7) почтовый конверт с адресом, написанным рукой И. С. Гагарина; 8) письмо Гагарина к А. И. Тургеневу от 1 октября 1838 года; 9—10) два письма — одно с конвертом, — адресованные П. В. Анненкову и написанные кн. П. В. Долгоруковым; 11) письмо кн. П. В. Долгорукова от 24 октября 1864 года к Я. П. Полонскому, 12) конверт с адресом на имя Щербины, писанный рукой кн. П. В. Долгорукова; 13) факсимиле письма кн. П. В. Долгорукова к князю Ворон-

цову от 4/16 июня 1856 года, и 14) факсимиле сфабрикованного кн. П. В. Долгоруковым анонимного письма, бывшего предметом разбирательства в гражданском суде департамента Сены в 1861—1862 году.

Таким образом, три человека были привлечены к следствию по делу о написании пасквилей: барон Луи Геккерен, князь Иван Сергеевич Гагарин и князь Петр Владимирович Долгоруков. В течение августа судебный эксперт производил изучение и сличение почерков этих лиц с почерком диплома. Результаты своего исследования он изложил в обширном «протоколе графической экспертизы почерка»[1].

Привожу здесь заключение экспертизы: «На основании детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах об А. С. Пушкине и сличения этих почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимировича Долгорукова в разные годы его жизни, а также с умышленно измененным почерком анонимного письма шантажного характера к князю Воронцову в 1855 году, отождествленного с почерком князя Петра Владимировича Долгорукова экспертом Théophile Delarue в 1861 году в Париже, я, судебный эксперт, Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 года написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым».

11

Итак — князь Петр Владимирович Долгоруков! Имя называлось много раз, но всякий раз называвший делал оговорку, отказывался от категорического

утверждения (даже кн. П. А. Вяземский). Теперь у нас есть фактические основания, чтобы пригвоздить имя этого князя к позорному столбу. Один из физических исполнителей найден, но, повторяем, в этом гнусном деле участвовал коллектив. Долгоруков, конечно, не один.

Теперь уже мы обязаны вновь обратиться к личности князя, войти в рассуждение об его интеллектуальных качествах и выяснить мотивы его поведения в деле Пушкина.

Князь Долгоруков — на всем протяжении сознательной жизни — характерное и по временам комическое порождение фронды родовитого русского дворянства против самодержавия и узурпации так называемой династии Романовых. В эмигрантских кругах того времени Долгорукова в шутку называли претендентом на русский престол. А сам он всерьез считал себя таковым. Мы можем привести свидетельство современников о том, как в последние годы жизни в России князь Долгоруков без всяких стеснений среди дворян Чернского уезда, Тульской губернии, говорил: «Романовы узурпаторы, а если кому царствовать в России, так, конечно, мне, Долгорукову, прямому Рюриковичу»[1]. Действительно, Долгоруковы побивали своей генеалогией Романовых.

Не останавливаясь на предках князя Долгорукова, игравших громкую роль в XVIII веке, отметим его деда Петра Петровича, генерала-от-инфантерии, служившего, между прочим, московским губернатором и начальником Тульского оружейного завода. От брака его с Анастасией Семеновной Лаптевой было три сына: Владимир, Петр и Михаил, и две дочери: Елена (замужем за С. В. Толстым) и Мария (за Н. П. Римским-Корсаковым). Старший сын Владимир

(1773—1817), отец нашего князя Петра, не сделал особо громкой военной карьеры: как говорят современники, его военным дарованиям не суждено было развернуться. Но два младших брата, Петр (1777—1806) и Михаил (1780—1808), были, тоже по словам современника, на редкость блестящих качеств и исключительного счастия. Петр, один из ближайших сотрудников Александра I в первые годы царствования, генерал-ад'ютант на 21-м году жизни, был идеологом борьбы с Наполеоном, вел по поручению Александра переговоры с Наполеоном; Наполеон называл его дерзким повесой и жаловался, что он разговаривает с ним, как с боярином, которого решили сослать в Сибирь. Князь отличался самонадеянностью и вздорным своеволием. Современники приписывали проигрыш Аустерлицкого сражения его вмешательству в военные операции. Ему предстояла блестящая будущность, но он умер на 30-м году жизни. Михаил Долгоруков—генерал-ад'ютант на 27-м году жизни, блестящий представитель русской аристократии, — прославленный подвигами бранными и любовными,— увлекший сердце царской сестры Екатерины Павловны. Об этих дядьях князя Петра надо было сказать, потому что его детское воображение было поражено рассказами о их громкой, яркой карьере. Их слава была его путеводной звездой.

Петр Владимирович Долгоруков родился 27 декабря 1816 года. Этот день в то же время и день смерти его матери. Отец немного пережил свою жену: умер 24 ноября 1817 года. Единственный сын остался сиротой и воспитывался в Москве у своей бабушки Анастасии Семеновны, жившей в доме дочери М. П. Римской-Корсаковой. 13 декабря 1817 года годовалый ребенок был определен пажом к высочайшему

двору. Одиннадцати лет, в 1827 году, он был отвезен в Пажеский корпус, где и закончил свое образование. В 1831 году 22 апреля он был произведен в камер-пажи, но в этом же году с ним что-то стряслось, в чем-то он провинился, но мне не удалось разыскать в остатках архива Пажеского корпуса никаких данных о его проступке. По высочайшему повелению он был разжалован за дурное поведение и леность из камер-пажей в пажи. В чем состояло дурное поведение, остается невыясненным. Но проступок этот испортил всю карьеру Долгорукова и сказался при выпуске из корпуса. Пажеский корпус поставлял офицеров в самые привилегированные полки, а Долгоруков не только не попал в гвардию, но и не получил назначения по армии; он был выпущен к статским делам, да и то не с чином 10-го класса, а только 12-го класса. Хуже нельзя было кончить. Но этого мало: из Пажеского корпуса выдали ему аттестат, в котором было помянуто и о разжаловании за дурное поведение в пажи, и о неспособности к военной службе, — не аттестат, а прямо волчий паспорт. Если такой аттестат выдали на руки Долгорукову, юноше, связанному родством с крупнейшими представителями знати, значит, его «поведение» было исключительно «дурным». Из товарищей по выпуску назовем А. О. Россета, брата известной приятельницы Пушкина А. О. Смирновой; кн. Сергея Васильевича Трубецкого, выпущенного в Кавалергардский полк, знаменитого повесу и соперника Николая Павловича по любовным делам, брата того самого А. В. Трубецкого, который оставил любопытный рассказ об отношениях Дантеса и Пушкина; Баранова, тверского губернатора и брата известного временщика при Александре II. Среди товарищей Долгорукова был и А. С.

Маевский, о котором сам Долгоруков рассказывает: «Маевский был одарен обширными умственными способностями, энергиею и даром слова, но был характера бешеного, и, к сожалению, был подвержен азиатскому пороку. Находясь адъютантом л.-гв. Литовского полка, он имел в 1840 году из-за одного молодого барабанщика гнусную ссору с офицером того же полка Разводовским, и в припадке гнева, выхватив шпагу, нанес Разводовскому легкую рану и т. д. Вот какие взрывы дает иногда борьба на почве «астических» увлечений.

Аттестат Долгорукова, выданный Пажеским корпусом, послужил тяжким препятствием к службе у статских дел. Нужна была особая протекция для поступления на службу, и он нашел ее у С. С. Уварова, управлявшего министерством народного просвещения, того Уварова, которого ославил Пушкин в оде «На выздоровление Лукулла». 10 февраля 1834 года кн. Долгоруков обратился с просьбой об определении его по министерству народного просвещения. В тот же день Уваров положил резолюцию определить на службу с откомандированием в канцелярию министерства; в тот же день были выполнены все формальности, и Долгоруков был зачислен по ведомству Уварова без жалования. Очевидно, Долгоруков только числился и вряд ли нес какие-либо служебные обязанности. В 1839 году он уже занимался генеалогией; по отношению канцелярии мин. нар. просв. от 28 апреля 1839 года был допущен в герольдию Правительствующего сената и к осмотру книг дворянских родов.

Выйдя из Пажеского корпуса, Долгоруков по своему происхождению и родству не мог, конечно, не занять известное положение в свете, но все отзывы

о нем сходятся: все отрицательны. Родственница его вспоминала впоследствии: «умный человек, но очень резкий на язык, собой не хорош и прихрамывал (отсюда его прозвище (bancal*)». В 1834 году он еще не вышел из опеки и был просто восемнадцатилетний аристократ, который веселится так, как он хочет. Он тоже оказался среди молодежи, окружавшей барона Геккерена, и, следовательно, принадлежал к той же великосветской группировке по сходству противоестественных вкусов. Были уже цитированы показания на этот счет хорошо осведомленных свидетелей— кн. Вяземского и Н. М. Смирнова[2]. Мы можем добавить еще одно свидетельство о женоненавистничестве Долгорукова. Он женился в 1848 году на О. Д. Давыдовой; супружеская жизнь Долгорукова была сплошным скандалом: о непрерывных семейных ссорах (вплоть до избиений. совершаемых кн. Долгоруковым) даже и III отделению надоело слушать. И когда князю говорили, как он может оставлять в пренебрежении свою жену, красивую женщину, он отвечал (вспомним о чете Борх!): «это кучерское дело».

В 1836 году, осенью, когда разыгралась семейная история Пушкина, Долгорукову еще не было полных двадцати лет. Принял он участие в гнусной игре против Пушкина не по каким-либо личным отношениям к Пушкину (таких отношений мы не знаем), а просто потому, что, вращаясь в специфическом кругу барона Геккерена, не мог не принять участия в общих затеях. В мемуарной литературе сохранился рассказ В. Ф. Адлерберга о том, как зимою 1836—1837 года на одном из вечеров он увидел, как стоявший позади Пушкина молодой князь Долгоруков кому-то указы-

* Косолапый.

вал на Дантеса и при этом поднимал вверх пальцы, растопыривая их рогами. Действительно, молодой князь из Рюриковичей веселился, как хотел. И злобы у него на Пушкина никакой не было, а отчего не потешиться! Допустимо сделать предположение, что он-то и заострил диплом и направил намек в Николая, ибо никакой любви и преданности он не имел к царю, так жестоко обидевшему его и положившему конец его карьере. «Исторические» подробности, которыми изобилует диплом, выдают в авторе любителя истории, а таким и был князь П. В. Долгоруков.

Так об'ясняю я участие Долгорукова.

12

Собственно говоря, на этом моменте можно бы и расстаться с князем Долгоруковым в истории жизни Пушкина; но гнусное преступление, им совершенное, заставляет меня войти в некоторые подробности к его характеристике.

Представитель древнейшего рода, плененный своей родословной, князь Долгоруков должен был поставить крест на своей карьере служебной. Самолюбие его было уязвлено раз навсегда. Чем были его дядья, любимцы царя, в его возрасте! А он только «числился» при министрах — сначала народного просвещения, а потом внутренних дел. По собственному его заявлению (1843 г.) он «имел, невзирая на молодость свою, сознание умственных способностей, дарованных ему богом, и — может быть — не совсем обыкновенных». И при таком сознании никакого приложения способностям! В 1843 году с ним случилась неприятность, о которой скажем дальше, он был выслан в Вятку с предложением губернатору определить

его на службу. По этому поводу Долгоруков обратился к графу Бенкендорфу с письмом: «Прошу у вашего сиятельства дозволения представить вам (и весьма бы мне желательно было видеть доведенным это дело до высочайшего сведения), что насчет определения моего на службу в Вятку, определение это нарушает закон о дворянстве, коим предоставлено каждому дворянину служить или не служить. Закон сей помещен в Своде законов, изданном по повелению государя императора. Насчет ссылки моей за издание книги, наиполезнейшей для русского дворянства, покоряюсь без ропота воле бога и государя, и куда бы меня ни заточили, в Вятку ли, в Нерчинск ли, в крепость ли, хотя на всю жизнь, я всякое несчастие приму с покорностью, как тяжкое испытание, ниспосланное мне богом, а судить меня с государем будет бог и потомство!»

Как это ни странно, но письмо подействовало, и вятскому губернатору приказано было не считать его на службе. А когда в следующем году Долгорукову было разрешено оставить Вятку и посвятить себя службе по собственному выбору, Долгоруков отказался от службы и раз'яснил Бенкендорфу мотивы своего решения: «За последние 30 лет повышать в чинах у нас стали гораздо медленнее, чем это было прежде. Теперь к 50 годам дослуживаются только до чина, до которого прежде можно было дослужить в 30—40 лет. Из всех лиц, занимающих теперь высокие посты и пользующихся доверием его величества, семь из десяти сделали именно такую быструю карьеру и в 30 лет или около того были уже генералами или действ. статскими советниками. Кроме того, я принадлежу ко второму разряду гражданского производства[1] и даже за отличие

могу быть повышен лишь раз в три года. Я могу поступить на службу только в чине IX класса (ибо в 1841 г. окончил срок службы в X классе). Мне 27 лет и, следовательно, чин д. ст. советника я могу получить только 42 лет. Мой отец и мои дядья были генералами в 25 лет[2].

Да, самолюбие Долгорукова было ущемлено навсегда, и он почитал себя кровно обиженным и монархом и его ближайшими слугами.

Долгорукову надо было компенсировать себя за крах служебной карьеры. С юношеских лет он находил удовольствие в генеалогических разысканиях. Обычно родословные разведки сухи и академичны, но Долгоруков придал им жизненную остроту и живость. Расследуя родословные первейших сановников российской империи, вскрывая тщательно укрываемые ими непочтенные подробности из истории возвышения их родов, запоминая их настоящие действия в борьбе за чины и положение, Долгоруков нашел способ отмщения. Он понял, что знать боится оглашения гнусностей родовых и личных, и мечтой его стало опубликование собранных им материалов. В 1843 году он сделал первую попытку. В 1841 году он выехал за границу; в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому находим любопытное сообщение об его появлении в Париже: «Косолапый князь Долгоруков здесь, но у меня все будет в целости, ибо я не пущу его к себе». В Париже он напечатал в 1843 году под псевдонимом графа д'Альмагро небольшую книжку «Notice sur les familles de la Russie»* и положил начало распубликованию исторических подробностей, весьма неприятных и для высшего дворянства и для самого

* «Заметки о родословной некоторых русских семейств».

царя[8]. «Эта брошюра, — доносил в III отделение Я. Н. Толстой, — весьма некстати изображает русское дворянство в самых гнусных красках, как гнездо крамольников и убийц... Это произведение проникнуто духом удивительного бесстыдства и распущенности... Автор имел нескромность говорить, что он будет просить у русского правительства места, соответствующего его уму и дарованиям... Он мечтает не более, не менее, как быть министром... Долгоруков думает, что его книга может служить пугалом, с помощью которого он добьется чего угодно». От Долгорукова потребовали немедленного возвращения на родину. Он повиновался; на пути из Берлина он написал прелюбопытное и не без хитрости письмо Николаю: «не преступленьем ли было бы со стороны истории, — пишет он, — потакать притязаниям фамилий, притязаниям часто нелепым до невероятности, или покрывать завесою равнодушного забвения гнусные воспоминания лихоимства и грабежа?.. Но высшей моей заслугой перед доблестным дворянством, к первому слою коего имею честь принадлежать по своему рождению, — было оклеймение памяти цареубийц!..» Не лишенное остроумия оправдание оказало влияние на Николая, и Долгоруков отделался кратковременной, годичной ссылкой в Вятку. Из Вятки Долгоруков приехал в Москву. Ю. Ф. Самарин писал в 1844 году по поводу его появления в Москве в кругу Аксаковых: «сколько из этого выйдет драматических столкновений и смешных положений. Долгоруков думает поселиться в Москве; он держит себя точно так, как держал себя Валленштейн в опале. Признаюсь, что мысль, что я избавлюсь от его дружбы и частых посещений, одна утешает меня при отъезде из Москвы».

Долгоруков обратился к занятиям по генеалогии: после «Российского родословного сборника», вышедшего еще в 1840—1841 годах, он засел за огромную «Российскую родословную книгу». Четыре ее тома появились в 1855—1857 годах. Труд его признается выдающимся в области генеалогии и до сих пор не утратил своей ценности. Но, работая и публикуя свои работы в России, Долгоруков, конечно, не мог использовать собранные им генеалогические материалы обличительного характера в силу цензурных условий. Закончив четырехтомный труд и томимый жаждой славы, известности, Долгоруков в 1859 году оставил без разрешения и паспорта Россию и появился за границей в роли политического эмигранта и журналиста. В апреле 1860 года он выпустил свой памфлет на французском языке под заглавием «La vérité sur la Russie»*, а в сентябре начал редактировать журнал «Будущность», заполняя его преимущественно своими статьями. В 1862 году, по прекращении «Будущности», Долгоруков начал издавать журнал «Правдивый» («Le Véridique»), сначала на русском, а потом на французском языке. В 1862—1864 годах он издавал третий свой журнал—«Листок». Во всех этих журналах привлекали внимание не публицистические статьи, доказывавшие необходимость для России конституционной монархии с двухпалатной системой, а многочисленные биографические очерки министров и сановников государства. Написанные с знанием дела, с желчной иронией и злостью, очерки рисовали картины глубокого развращения и падения правящих слоев России. Нельзя не пожалеть о том, что все эти материалы не сделались достоянием, ис-

---

* «Правда о России».

следователей и не вошли в научный оборот. Само собой, эта деятельность Долгорукова вызвала величайшее раздражение и озлобление в русских правительственных сферах. Некоторое время Долгоруков, должно быть, чувствовал удовлетворение.

13

Процессу князя М. С. Воронцова против князя П. В. Долгорукова надо уделить особое внимание: во-первых, сам Долгоруков ставил в связь с ним возникновение «клеветы» на него по делу об анонимном письме, полученном Пушкиным; во-вторых, процесс этот дает чрезвычайно важный материал для характеристики князя. Не забираясь в подробности, для моей цели не важные, изложу основные моменты процесса и приведу документы, некоторые из которых были подвергнуты экспертизе по нашему заданию в 1927 году.

4 (16) июня 1856 года кн. П. В. Долгоруков обратился к фельдмаршалу князю М. С. Воронцову с письмом, русский перевод которого предлагается вниманию читателей:

Светлейший князь,

Я доканчиваю теперь четвертую часть своей Родословной книги; в эту часть войдут Вельяминовы, а следовательно, и древние Воронцовы. Я тщательно пересматриваю бумаги, присланные мне вашей светлостью, и доселе не мог доискаться ни в древних актах, ни в летописях, доказательств подлинности этих бумаг. Чувства уважения и благоговения, какие я питаю к вашей светлости, крайне усладили бы для меня удовольствие угодить вам, но я вынужден буду на-

печатать статью совсем не в том виде, как вы бы желали, если вы не поспешите прислать мне дополнительных документов, которые, выяснив темные места, могли бы устранить все затруднения.

Время идет, время идет: надо поторопиться высылкою документов. Я пробуду в деревне до первых чисел сентября. Мой адрес следующий... Тульской губернии в город Чернь.

Прошу вашу светлость принять уверение в глубоком почтении и искренней преданности, с какими имею честь пребыть

вашим покорнейшим слугою.

Князь Петр Долгоруков.

Письмо Долгорукова нашло Воронцова на водах в Вильдбаде. Когда Воронцов в присутствии жены и знакомых вскрыл конверт, в нем, кроме письма, только что процитированного, оказалась еще записка на французском языке, без подписи, писанная явно измененным почерком. Даем здесь перевод:

«Его светлость князь Воронцов обладает верным средством побудить к напечатанию своей генеалогии в российской Родословной книге в том виде, как ему угодно: средство это — подарить князю Долгорукову 50 000 рублей серебром; тогда все сделается по его желанию. Но времени терять не должно».

Через день по получении двойного письма Воронцов ответил Долгорукову:

Ваше сиятельство,

Спешу отвечать на письмо, которым вам угодно было почтить меня, от 4 (16) июня. Вы требуете от меня документов в дополнение к пере-

данным вам мною в Петербурге и которые я почитал достаточным доказательством того, что нынешние Воронцовы одного рода с прежними и происходят по прямой линии от тех, которые играли в нашей истории важную роль до разгромления их царем Иоанном Васильевичем. Рассмотрев эти документы, вы мне откровенно сказали, что они не вполне удовлетворяют вас в том, что, напротив, нам представляется совершенно ясным, но что, для соблюдения справедливости в этом спорном вопросе, вы напечатаете в ближайшем томе вашего сочинения все, что я вам сообщил, предоставляя окончательный суд публике. Теперь вы спрашиваете у меня еще новых документов, которых я никак не могу иметь, особенно здесь, в Вильдбаде, и настаиваете, чтобы я сделал это тотчас же, потому что вы готовитесь издать свой четвертый том, где будет говориться о Вельяминовых, а, следовательно, и о так называемых вами древних Воронцовых. От вас зависит сделать в этом случае что угодно; но как я верю в подлинность переданных вам документов и как мне не хотелось бы, чтобы каждый говорил без дальних справок, что нынешние Воронцовы совсем не те, что древние, и что мы происходим от какого-нибудь побродяги, который только лет за полтораста тому назад принял имя рода, к которому сам вовсе не принадлежал, то я оговариваю свое право протестовать публикацией с своей стороны, чтобы передать спор наш на суд публики. Позвольте мне, между тем, поблагодарить вас за труды по всему этому делу, жалею только, что вы не находите возможным сдержать данное мне обе-

щание насчет напечатания моих документов рядом с теми, которые вы прежде получили о нашем роде, причем вы были властны не произносить об этом своего решительного мнения, предоставляя публике рассудить нас.

Прошу принять уверение в чувствах моего особенного к вам уважения.

P. S. К великому моему удивлению, я нашел в вашем письме записку без подписи, и руки, как мне кажется, несходной с вашей. Посылаю вам с нее копию. Вам, может быть, удастся разузнать, кто осмелился вложить подобную записку в письмо, запечатанное вами и вашею печатью. Подлинник счел я нужным приберечь вместе с письмом, которым вы меня почтили, а при свидании я готов вручить вам эту записку, если вы, может статься, захотите воспользоваться ею для открытия писавшего.

В маленькой приписке и заключен весь яд. Конечно, в изысканно вежливых фразах постскриптума («записка без подписи и руки, как кажется, не вашей») никак нельзя усмотреть, что князь Воронцов не считал записку не писанной рукой Долгорукова, как впоследствии утверждал последний. Обвинение было пред'явлено определенно, и Долгорукову было предложено избрать способ реакции. И как же реагировал Долгоруков? 16(28) июля 1856 года от ответил Воронцову:

Светлейший князь,

Я имел честь получить ваше письмо из Вильдбада от 27 июня (9 июля). Я был изумлен, узнав из этого письма, что вы нашли в моем записку неизвестной руки, и, пробегая прислан-

ную вами копию этой записки, я бы очень полюбопытствовал узнать, кто осмелился дозволить себе эту дерзкую проделку, этот поступок, которому нет названия!

Но возвратимся к родословному вопросу, о котором каждый из нас думает по-своему. Вы говорите в своем письме, что по выходе, зимою, четвертой части моей Родословной книги, — вы напечатаете протестацию. Это совершенно справедливо: каждый имеет право протестовать против печатного сочинения. Но, когда однажды начнется эта полемика, я в свою очередь предоставляю себе отвечать контр-протестацией, основанной на фактах и неопровержимых доказательствах. Публика произнесет свой суд.

Прошу ваше сиятельство благосклонно принять уверение в моем уважении.

Князь Петр Долгоруков.

Этим письмом заканчиваются все сношения князей Воронцова и Долгорукова по прискорбному случаю анонимной шантажной записки. В ноябре 1856 года Воронцов умер, и дело казалось похороненным так же, как в свое время было похоронено и дело об анонимном пасквиле. Но прошло несколько лет, Долгоруков эмигрировал за границу, начал здесь свой поход против русского правительства и аристократии и в 1860 году напечатал по-французски: «La vérité sur a Russie». 29 апреля 1860 года в «Courrier du Dimanche» появилась заметка об этой книге за подписью А. В. Мишенского; в ней находится и следующее глухое упоминание об инциденте Воронцов—Долгоруков: «несколько времени тому назад мы были намерены подвергнуть критике работу, которая

представляла, на первый взгляд, большой интерес. Содержание ее — генеалогическая история аристократических фамилий иностранной земли, но нам предявили письмо автора к одному из высокопоставленных лиц, чья генеалогия должна была войти в одну книгу. Письмо это заключало категорическое предложение дать авансу 50 000 руб., за что он принимал обязательство уничтожить документы, находившиеся, по его словам, в его распоряжении и дававшие основание к подозрению происхождения и прямых предков лица, которому было адресовано это предложение». Хотя в этой тираде не было сообщено ни одного имени, ни названия книги, Долгоруков поднял перчатку и выступил с письмом, помещенным в том же «Courrier du Dimanche» 6 мая 1860 года.

Здесь он прямо берет на свой счет намек, оскорбительный для его чести, и говорит, что обвинение основано на гнуснейшей клевете и на самом наглом подлоге, возможном только в такой стране, как Россия. Затем он рассказывает сношения свои с покойным фельдмаршалом князем М. С. Воронцовым по поводу помещения в издававшейся Долгоруковым Родословной книге генеалогии древних бояр Воронцовых, от которых фельдмаршал производил свой род. По словам Долгорукова, он, после долгого и тщетного ожидания обещанных ему документов, только из вежливости написал фельдмаршалу, что, к прискорбию, не может исполнить его желания, так как до сих пор не имел случая видеть известных документов. «Представьте же себе мое изумление и негодование,—прибавляет он,—когда я получил от фельдмаршала оскорбительное для меня известие, будто в письме моем он нашел записку другой руки, которою его вызывали прислать мне 50 000. Раздраженный, я отвечал

фельдмаршалу невежливым письмом, требуя пред'явления подлинника этой записки. Я хотел начать судебное следствие и, не допуская мысли, чтоб старый воин мог изменить в этом случае долгу чести, напрасно ожидал ответа несколько недель». Князь Долгоруков рассказывает потом, как бесполезны были старания его у высших властей вызвать законное следствие по делу с «андреевским кавалером и фельдмаршалом», и заключает выходкой, что «на человека, сильного при дворе, в России никогда не найти ни суда, ни расправы».

Долгоруков просчитался. Сын покойного Воронцова, князь Семен Михайлович, привлек Долгорукова к суду Сенского департамента (по месту жительства ответчика) за клевету и просил суд: 1) удостоверить тожественный почерк письма кн. Долгорукова и анонимной шантажной записки, оказавшейся при письме, 2) обязать напечатать приговор в периодических изданиях, и 3) взыскать протори и убытки по определению суда.

Дело разбиралось в нескольких заседаниях в декабре 1860 и январе 1861 годов. Со стороны Воронцова выступал адвокат Матье, со стороны Долгорукова — Мари; экспертизу документов производил эксперт императорского двора Деларю. 3 января 1861 года суд вынес приговор, которым все требования Воронцова были удовлетворены. Долгоруков был признан автором шантажного письма[1].

Скандальный процесс двух русских князей привлек к себе необычайное внимание как за границей, так и в России. Сенатор К. Н. Лебедев в своих записках характеризовал итог процесса: «процесс Долгорукова кончился. Он признан виновным. Итак, доказано, что князья Воронцовы не древние Воронцовы и что древ-

ний Долгоруков нанимался сделать их древними. Стоило для этого таскаться в Париж и раскладывать на весь свет наши мелкие притязания и наши грубые мерзости». Но хотя процесс и наносил компрометацию имени Долгорукова, все-таки всеобщего доверия приговор французского суда не получил. Долгоруков не сдался и повел дело, подобно обвиненному регенту в известном рассказе Чехова: когда регента осудил судья, он об'явил его подкупленным чиновником и перенес дело в с'езд, а затем он обвинил с'езд в том, что и он подкуплен, и собирался найти управу и на с'езд. Долгоруков, затемняя лично им совершенные факты, намекал очень прозрачно, что французский суд пристрастен и лицеприятен в силу близких связей Воронцова с высокопоставленными французскими бюрократами и в том числе с графом Морни, президентом законодательного корпуса. Долгоруков доказывал, что его процесс является актом мести со стороны русского правительства и русской знати за те разоблачения, которые он делал. Долгоруков считался политическим эмигрантом, жертвой преследований III отделения, и позиция, занятая им, была ему чрезвычайно выгодна. И Герцен должен был оказать ему защиту. В «Колоколе» от 15 января 1862 года он напечатал следующую заметку: «До нас доходят крики радости русской аристократической сволочи, живущей в Париже, о том, что, натянувши всевозможные влияния, им удалось получить какое-то бессмысленное осуждение кн. Долгорукова. Не знаем, насколько прилична или неприлична эта радость,—нравы передней нам мало знакомы, — но что французским юристам не до смеха от такого приговора, в этом мы уверены. Процесс этот делает своего рода черту в их традиции. Независимее от положительных доказательств суд

редко поступал вне той страны, в которой судьи избираются из русской аристократической сволочи, живущей в России».

Этой заметке нельзя отказать в известной доле сдержанности. И. С. Тургенев, прочитав ее, писал Герцену: «Ты поступишь благоразумно, если не прикоснешься более ни единым пальцем до всего этого дела. Долгоруков (между нами) нравственно погиб и едва ли не поделом, ты сделал все, что мог в «Колоколе»; надо было его поддержать в силу принципа, а теперь предоставь его своей судьбе. Он будет к тебе лезть в самую глотку, но ты отхаркаешься. Нечего говорить, что Воронцовых тебе не из чего поддерживать; превратись в Юпитера, до которого все эти дрязги не должны доходить»[2].

Возможно, что резкое отношение Тургенева об'ясняется некоторыми личностями, но, разбираясь в настоящее время в следственных материалах долгоруковского процесса со всевозможной об'ективностью, мы должны признать суждение французского суда справедливым и экспертизу французского эксперта правильной. Конечно, шантажное письмо написал кн. Долгоруков, и никто другой. Позволю себе привести одно соображение о мотивах его поступка. На суде адвокат Долгорукова говорил, что его клиент—человек состоятельный, и что на 50 000 он не польстится. Корыстный мотив, единственно об'ясняющий шантаж, представлялся весьма сомнительным защитнику Долгорукова. Но если исходить из известных нам биографических данных о характере Долгорукова, человека вздорного, неуживчивого, ёрника, обделенного судьбой злеца и завистника, то, конечно, не корысть мы должны предполагать в мотивах его действий, а провокационные вожделения скандала. Не

денег жаждал от фельдмаршала Долгоруков, а только согласия на уплату: его было бы достаточно, чтобы Воронцов был скомпрометирован грандиознейшим образом. Но Воронцов не побоялся шантажа, и Долгоруков затих.

14

Разоблачения князя Долгорукова на французском процессе, об'явление его автором шантажного письма заставило, наконец, и друзей Пушкина назвать вслух то имя, которое они повторяли в беседах между собой. Имя Долгорукова было названо в 1863 году Аммосовым со слов Данзаса. Со стороны Долгорукова последовало опровержение. Оно было напечатано в «Колоколе» от 1 февраля 1863 года с следующим предисловием редакции, т. е. Герцена: «Мы получили от кн. П. В. Долгорукова следующее письмо, посланное им в «Современник». Что же, издатель «Дня» и тут удивится, зачем Долгоруков желает, чтоб его письмо было напечатано именно в «Современнике»? Довольно, что правительство конфискует имения отсутствующих,—конфисковать право ответа было бы из рук вон. Мы уверены, что письмо кн. Долгорукова будет напечатано».

Опасения Герцена и Долгорукова были напрасны: письмо было напечатано и в «Современнике». Выше мы привели полный текст оправдания Долгорукова. Анализируя его содержание, мы должны различать в нем две части: первая—декларативная—об'являет клеветой обвинение Долгорукова и Гагарина в соучастии в гнусном деле; вторая дает несколько фактических указаний, которые, по мнению Долгорукова, свидетельствуют в его пользу. Долгоруков взывает к свидетелям—и прежде всего к Данзасу: «не могу верить,

чтобы г. Данзас обвинял Гагарина и меня. Я познакомился с г. Данзасом в 1840 г., через три года после смерти его знаменитого друга, и знакомство наше продолжалось до выезда моего из России в 1859 году, т. е. 19 лет. Г. Данзас не стал бы знакомиться с убийцею Пушкина, и не он, конечно, подучил бы г. Аммосова напечатать эту клевету». Быть может, факты, указанные Долгоруковым, и верны, но из них еще нельзя сделать вывода в его пользу. И вот соображение, которое говорит против него. К. К. Данзас был жив, когда появилась книжка Аммосова; был жив, когда опубликовано было оправдание с этим самым обращением по его адресу, но ни в это время, ни позже (умер Данзас 3 февраля 1870 г.) он не выступил ни с какими опровержениями рассказа Аммосова. Рассказы Данзаса слушал не один Аммосов: в 1840 году—значит в тот самый год, когда познакомился с ним Долгоруков[1],—в имении князей Голицыных Никольском он рассказывал историю дуэли Пушкина среди других слушателей и Фридриху Боденштедту и составителями анонимных писем назвал князей Гагарина и Долгорукова.

Но ссылкой на Данзаса Долгоруков не ограничивается. «Г. Аммосову неизвестно, что я находился в дружеских сношениях с друзьями Пушкина: гр. М. Ю. Виельгорским, гр. Г. А. Строгановым, кн. А. М. Горчаковым, кн. П. А. Вяземским, П. А. Валуевым; с первыми двумя до самой кончины их, с тремя последними до выезда моего из России в 1859 году. Г. Аммосову неизвестно, что уже после смерти Пушкина я познакомился с его отцом, с его родным братом и находился в знакомстве с ними до самой смерти их».

Из числа друзей Пушкина, поименованных Долго-

руковым, исключим князя А. М. Горчакова,—недружелюбие его к лицейскому товарищу Пушкина засвидетельствовано,—графа Г. А. Строганова—исключительно приязненное его отношение к семье Геккеренов известно нам из опубликованных в нашей книге материалов,—и П. А. Валуева—вряд ли Пушкин мог считать своим другом 22-летнего камер-юнкера, делавшего карьеру. 22 мая 1836 года Валуев женился на дочери П. А. Вяземского Марии Петровне. «Валуев уже тогда имел церемониймейстерские приемы и жил игрой, потому что ни жена, ни он не имели состояния»,—вспоминала А. О. Смирнова. Семью Валуевых нельзя считать дружественной Пушкину. На Валуеву и Валуева указывал Жорж Дантес-Геккерен как на свидетелей в своем деле против Пушкина. О том, как смотрел кн. П. А. Вяземский на князя Долгорукова, мы знаем из его записи: «не доказано еще (составление пасквиля Долгоруковым), хотя Долгоруков и был в состоянии сделать эту гнусность». Эти слова написаны Вяземским по смерти Долгорукова. О существовании подозрений именно на Долгорукова у графа Виельгорского и Льва Пушкина мы узнаем из воспоминаний добросовестного свидетеля барона Ф. Бюлера. «В 1840-х годах, в одну из литературно-музыкальных суббот у князя В. Ф. Одоевского, мне случилось засидеться до того, что я остался в его кабинете самчетверт с графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским и Львом Сергеевичем Пушкиным, известным в свое время под названием Левушки. Он тогда только что прибыл с Кавказа, в обще-армейском кавалерийском мундире с майорскими эполетами. Чертами лица и кудрявыми (хотя и русыми) волосами он несколько напоминал своего брата, но ростом был меньше его. Подали ужин, и тут-то Левушка в первый раз узнал

из подробного в высшей степени занимательного рассказа графа Виельгорского все коварные подстрекания, которые довели брата его до дуэли. Передавать в печати слышанное тогда мною и теперь еще неудобно. Скажу только, что известный впоследствии писатель-генеалог князь П. В. Долгоруков был тут поименован в числе авторов возбудительных подметных писем»[1].

Последняя ссылка—на Л. В. Дубельта, управлявшего III отделением и при допросе Долгорукова в 1843 году по совсем иному поводу не спросившего его об авторстве пасквиля,—наивно несостоятельна, и на разборе ее останавливаться не стоит. Вот и вся фактическая часть оправдания Долгорукова.

15

Один из трех слушателей рассказа графа Виельгорского о дуэли и о кн. Долгорукове, составителе подметных писем, кн. В. Ф. Одоевский оставил и свое свидетельство об этом князе, до сих пор в литературе неизвестное. Позволю себе остановиться на индиценте Долгоруков—Одоевский несколько подробнее.

В 1860 году в № 1 своего журнала «Будущность», вышедшем 15 сентября, Долгоруков напечатал статейку—«Министр С. С. Ланской». В примечании Долгоруков дал язвительнейшую характеристику князя В. Ф. Одоевского, женатого на Ольге Степановне Ланской, сестре министра Сергея Степановича. До Одоевского сначала дошли только слухи об этой выходке. В октябре месяце 1860 года он записал в своем журнале[1]: «Говорят, что в журнале кн. Долгорукова (bancal) «Будущность» он об'являет, что я сделался придворным царедворцем, но, впрочем, не по моей вине, но по самолюбию жены!—что Серг. Степ.

проиграл все свое состояние на девицах и румянах».

Но наконец он и сам прочитал и статью, и примечание, посвященное ему. Оно возмутило и взорвало Одоевского. Он переписал в дневник текст статейки, и, переписывая, в скобках в своих замечаниях дал выход чувству гнева, им овладевшему. Привожу полностью запись Одоевского: разрядкой набраны слова, им подчеркнутые, а в прямых скобках приписки к тексту самого Одоевского:

«В «Будущности» кн. Петра Долгорукова (1860, № 1—сен., стр. 15) посвящена мне следующая любопытная статейка (стр. 6 в прим.):

«Князь Одоевский, ныне единственный и весьма жалкий представитель древнего и знаменитого рода князей Одоевских, личность довольно забавная! В юности своей он жил в Москве, усердно изучал немецкую философию; кропал плохие стихи [неповинен]. Производил неудачные химические опыты [т. е. учился химии] и беспрестанным упражнением в музыке терзал слух всем своим знакомым. В весьма молодых летах он женился на Ольге Степановне Ланской, старше его несколькими годами, женщине крайне честолюбивой [!]. Она перевезла мужа в Петербург, и до такой степени приохотила его к петербургским слабостям и мелким проискам [!], что при пожаловании своем в камер-юнкера Одоевский пришел в восторг столь непомерный, что начальник его, тогдашний министр юстиции Дашков [никогда в юстиции не служил,] человек весьма умный, сказал: вот однако к чему приводит немецкая философия! [Экий вздор—я не ожидал моего камер-юнкерства и когда выразил мое удивление Дашкову, он мне сказал: Que voulez vous—c,est une

convenance*]. Одоевский бросался на все занятия [виноват]; давал музыкальные вечера [которые брали приступом]; писал скучные повести [может быть, только их нет уже в торговле и все они переведены на все языки] и чего уже не делал [даже не пускал к себе в переднюю таких негодяев, как Петр Долгорукий]! По выходе его пестрых сказок знаменитый Пушкин [*тот самый, к которому анонимные письма писал тот же Долгоруков, бывшие причиной дуэли*] спросил у него [я тогда вовсе и не был еще знаком с Пушкиным]: «когда выйдет вторая книжка твоих сказок?» [мы с Пушкиным были на вы]. «Не скоро,—отвечал Одоевский,—ведь писать нелегко!».—«А коли трудно, зачем же ты пишешь?»—возразил Пушкин [такого разговора не было вовсе—и не могло быть—Пушкин сам писал с большим трудом, в чем сам сознавался и чему доказательства его черновые стихотворения—Пушкин уважал меня и весьма дорожил моими сочинениями, и печатал их с признательностью в «Современнике»]. Ныне Одоевский между светскими людьми слывет за литератора, а между литераторами за светского человека. Спина у него из каучука [ну уж этого никто на Руси, кроме подлеца, не скажет]—жадность к лентам и к придворным приглашениям непомерная [ну уж убил бобра] и, постоянно извиваясь то направо, то налево, он дополз [!] до чина гофмейстера. При его низкопоклонности, украшенной совершенной неспособностью ко всему дельному и серьезному, мы очень удивимся, если при существовании нынешнего порядка вещей (или правильнее: беспорядка) вещей в России еще лет десяток не увидим Одоевского обергофмейстером и членом Государственного совета».

---

* Что поделаешь — этого требует приличие.

Я посылаю Петру Долгорукову следующий ответ.

Стихов не писал,
Музыкой не надоедал,
Спины не сгибал,
Честно жил, работал,
Подлецов в рожу бивал.

От чего и теперь не отказываюсь при первой встрече.

Но что пользы! если я ему и прострелю брюхо, все-таки его клевета останется без ответа. Где писать? в наших журналах нельзя, ибо запрещается говорить о запрещенных книгах. За границей? где? неужели послать в «Колокол»? Странное положение, в которое ставят нас цензурные постановления. Впрочем, Долгоруков прав: всякая полезная деятельность бывает смешна, ибо встречает препятствие, след. неудачи, и всякая неудача смешна; над вредною деятельностью не смеются, но иногда ненавидят. Бездействием всегда возбуждается уважение, как калмыцкими идолами, факирами, браминами».

Итак, в замечаниях Одоевского князь Долгоруков безоговорочно назван составителем пасквиля. Утверждение Одоевского представляется нам особо авторитетным. Нужно сказать, что, несмотря на безутешный вывод о цензурных постановлениях, Одоевский не оставил мысли напечатать возражение на статью Долгорукова. В этой мысли укрепляли его и друзья, среди них С. Д. Полторацкий. Последний был «вне себя от негодования на гадость Петра Долгорукова»,—записал Одоевский в своем дневнике 24 ноября 1860 года. Одоевский написал свое возражение. В его бумагах сохранился собственноручный черновик и переделанная писарем копия с новыми исправлениями автора. Воспроизвожу вторую редакцию статьи Одоевского.

«В одном безграмотном журнале, выходящем за границею, который, вероятно, в насмешку над всем русским присвоил себе название «Будущность», есть статья, где об'является во всеуслышание, что я, нижеподписавшийся, предан низкопоклонному, чрезмерному любочестию, а сверх того безделью и даже писанию плохих стихов. Этот журнал издается человеком, которого не хочу называть, ибо он бесславил свое, к сожалению, историческое имя. Доныне *этот недоучившийся господин практиковался лишь по части сплетен, переносов анонимных подметных писем и действовал на этом поприще с большим успехом: от них произошли многие ссоры, семейные бедствия и, между прочим, одна великая потеря, которую Россия доныне оплакивает.* Брань такого человека не стоит даже презрения; на его клевету ответ вся моя, скоро шестидесятилетняя, честная трудовая жизнь; кто ее хоть несколько знает, тому самый род порицания, избранный клеветником, покажется довольно странным. Был ли мой труд в пользу или без пользы, не мое дело судить; я не имел никогда поползновения к автобиографии, полагая, что она должна следовать лишь за некрологией. Но в статье этого господина есть клевета другого рода, более положительная; он рассказывает о моих сношениях с А. С. Пушкиным и с Д. В. Дашковым. Я не могу и не должен молчать в таком деле, где клеветник вмешал столь знаменитые, столь дорогие для России имена; пошлым анекдотам, насмешкам не поверит никто из тех, кто знает меня и помнит мои сношения с Пушкиным и Дашковым, но эта ложь без всякой протестации могла бы, пожалуй, когда-либо войти в биографии этих великих людей;—в подобных случаях долг литератора, как человека публичного, разоблачать хотя ради исторической истины, всякую

клевету, из какого бы грязного болота она ни поднималась.

С Пушкиным мы познакомились не с ранней молодости (мы жили в разных городах), а лишь пред тем временем, когда он задумал издавать «Современник» и пригласил меня участвовать в этом журнале; следственно я, что называется, товарищем детства Пушкина не был; мы даже с ним не были на ты—он и по летам, и по всему был для меня старшим; но я питал к нему глубокое уважение и душевную любовь и смею сказать гласно, что эти чувства были между нами взаимными, что могут засвидетельствовать все наши тогдашние знакомые, равно мое участие в «Современнике», письма ко мне от Пушкина и проч. т. п.; после горькой его кончины я вместе с кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским и П. А. Плетневым имел счастие быть редактором тех номеров «Современника», которых издание было предпринято нами для того только, чтобы исполнить обязанность великого поэта, как издателя—к подписчикам на его журнал. При такой обстановке дела анекдот, выдуманный бесчестным клеветником, и по времени, и по характеру наших отношений с Пушкиным, не мог существовать ни в каком виде и ни при каком случае.

С Дашковым я познакомился в 1827 году при начале моей службы и имел счастие тогда же получить от него три весьма важные работы, за которые, может быть, многие грехи мне простятся в сем мире; в числе их было между прочим: положение о правах авторской собственности в России, потом (почти без перемен) вошедшее в силу закона и дотоле не существовавшее в нашем законодательстве. Служба моя под начальством Дашкова длилась недолго, ибо он вскоре потом был сделан министром юстиции, а я оставался в мини-

стерстве внутренних дел, но приязненные отношения между нами не прекращались до самой кончины этого знаменитого государственного мужа. Награда, о которой упоминает клеветник в подтверждение своего вымысла, последовала гораздо дальше и была для меня совершенною неожиданностью. Следственно и анекдот обо мне с Дашковым есть также чистейшая ложь. Все это вымышлено клеветником (зачеркнуто: безнравственным негодяем) потому только, что *после многих его бесчестных и бесчеловечных поступков более или менее тайных совершился один ужасный, в действительности которого уже не было ни малейшего сомнения,* и тогда я запретил этого безнравственного негодяя пускать к себе в переднюю. «Inde ira».

Но статья Одоевского не появилась в печати, а 14 февраля 1861 года он записал в своем дневнике: «Полторацкий с известием, что моя статья против кн. Долгорукова не может здесь быть напечатана». Так имя Долгорукова и осталось неоглашенным до появления книжки Аммосова. Но свидетельство Одоевского определенно и авторитетно, и значение его невозможно снизить даже ссылкой на личную обиду, причиненную Долгоруковым Одоевскому[2].

В заключение упомяну об одной шутке Долгорукова 1863 года, напоминающей его «шутку» 1836 года. В № 5 «Листка» (1863, янв., л. 39—40). Долгоруков напечатал статейку «Учреждение новых орденов». Начинается она так:

«Из Петербурга пишут, что наше мудрое правительство, по случаю вступления России во второе тысячелетие безурядицы, собирается учредить двое новых орденов, а именно: в награду лицам, известным и своею преданностью самодержавию и своими невысокими умственными способностями — орден Поло-

сатого Осла; в награду благонамеренным писателям, которые порют дичь в защиту самодержавия— орден Дичи.

Пишут, что уже составлены списки кавалерам новых орденов, и что кавалерами ордена Полосатого Осла назначены: министры граф В. Ф. Адлерберг, князь В. А. Долгоруков и Прянишников; фельдмаршал князь Барятинский» и т. д. Долгоруков перечисляет несколько десятков имен сановников, жалуемых им в кавалеры ордена Полосатого Осла и ордена Дичи. Затем он назначает канцлера обоих орденов (Н. В. Елагина), вице-канцлера (Катакази), казначея; генерал-адъютанту Огареву он поручает составить форму орденов, а государственному секретарю В. П. Буткову составить уставы и т. д. Не правда ли, Долгоруков повторяет самого себя, и выдуманные им ордена Полосатого Осла и Дичи повторяют—орден рогоносцев? [3]

16

После судебного процесса, после распубликования Долгорукова, как участника в деле о пасквилях, в его деятельности наступает перелом. Он прекращает издание своих периодических публикаций и уходит в писание своих мемуаров—вернее, в записывание исторических анекдотов о главнейших деятелях XVIII века. Эта книга выходит под заглавием «Mémoires du prince Pierre Dolgoroukow» (Genève, 1867, t. I)* и вызывает блестящую статью Герцена «Новая Бархатная книга русских дворянских родов». Герцен заканчивает свою статью: «с нетерпением ждем второй части великого обличения и разоблачения нашей ари-

* «Воспоминания кн. Петра Долгорукова» (Женева, 1867, т. I).

стократической дворни и тогда разом сделаем выписки из чрезвычайно интересных «Записок» кн. П. В. Долгорукова. Мы видели прадедов наших петербургских и московских матадоров,—взглянем на их дедов... и искренно просим автора поскорее познакомить с отцами».

Второй части мемуаров Долгоруков не написал, и разрозненные материалы увидели свет после его смерти в издании... ни много, ни мало... самого III отделения[1].

Характер его портился с каждым годом. Он всегда был ужасно горяч и невоздержан на язык, но по временам происходили необыкновенные взрывы гнева, и только Герцен действовал на него успокоительно и умел обуздывать самые дикие проявления его характера. Н. А. Тучкова-Огарева дает характеристику его, относящуюся к 1862 году; наружность князя была непривлекательна, несимпатична; в больших карих глазах виднелись самолюбие и привычка повелевать; черты лица его были неправильны, князь был небольшого роста, дурно сложен и слегка прихрамывал, почему его прозвали: bancal. Не помню, на ком он был женат, только жил постоянно врозь с женой и никогда о ней не говорил. Герцен не чувствовал к нему влечения, но принимал его очень учтиво и бывал у него изредка с Огаревым[2]».

Поддерживая в печати Долгорукова как эмигранта, боровшегося с русским правительством, Герцен в переписке отзывался о нем с иронией, вроде: «князь Долгоруков едет в Лондон, в силу чего я ищу квартиру вне Лондона»; князь «Болдорукий» или князь «Перд» Владимирович или просто Петр IV. Но, наконец, и Герцен не выдержал. 20 декабря 1867 года он писал Тургеневу: «для утешения скажу на закуску,

что Долгоруков все пакостничает, а потому я прервал дипломатические сношения (только все же он не крал, как Некрасов, и не посылал доносами на виселицу, как Катков). А в мае 1868 года Герцен убеждал Огарева: «не давай призу Долгорукову, чтоб он стал дерзок; обделай тихо и отклони его «благомудро»; если нужно, напиши учтиво, что ведь общего у нас нет с ним, что ряд размолвок должен был привести к охлаждению.... Наконец, что ни ты, ни я ничего не хотим, кроме тихой руптюры». Но когда «князь Гиппопотам» стал помирать и попросил Герцена приехать к нему, Герцен не отказал ему в этой просьбе, Герцен был свидетелем его агонии. «Ничего ужаснее не выдумывал ни один трагик. Может быть, когда-нибудь я напишу эту смерть»,—писал он Тургеневу. Герцен не описал смерти Долгорукова, но некоторые подробности находим в его письмах к Огареву. «Лицо Долгорукова совершенно осунулось и стало как-то важнее. Говорит несвязно, глаза потухли; он не знает близости конца, но боится. А главное, внутри его идет страшная передряга». 17 августа 1868 года Долгоруков умер. Герцен помянул его совсем кратким некрологом.

17

Враги Пушкина... Их было много в высшем свете. Мы не задавались целью пересчитать их. Мы отметили тех, кто был наиболее активен, кто перевел чувство злобного недоброжелательства к Пушкину в действие против него. От низин идут физические исполнители. Они примыкают к патологическому на сексуальной почве коллективу, группирующемуся вокруг Геккерена. Спаянные общими вкусами, общими эротическими забавами, связанные «нежными узами» вза-

имной мужской влюбленности, молодые люди—все высокой аристократической марки—легко и беспечно составили злой умысел на честь—потом оказалось—и на жизнь Пушкина. К их гнусной забаве с одобрительным поощрением относились старшие представители—все эти графини Софьи Б., m-me Н... И на вершинах—законодательница высшего света графиня М. Д. Нессельроде; конечно, ее должно отнести к «надменным потомкам известной подлостью прославленных отцов». И много их там, «стоящих жадною толпой у трона». Против Пушкина было сплоченное большинство. И наконец сам монарх.

Пушкин был чужеродным элементом в организме высшего слоя общественного класса, к которому он принадлежал по своему рождению, и чужеродный элемент медленно, но неуклонно извергался организмом. И в Пушкине происходил неосознанный им процесс деклассирования. Было одно основное отличие, которое недостаточно оценивалось при рассуждениях о классовом самосознании Пушкина. Материальная база жизни Пушкина коренным образом отличалась от материальных баз всего дворянства. Он не жил на крепостные доходы, на крестьянские оброки; он не жил и на жалованье. Единственный приход, обеспечивавший, правда, не в достаточной степени, существование его и его семьи, состоял в авторском гонораре. В тридцатых годах, с таким заработком, Пушкин был белой вороной среди всех своих друзей, среди своего общества. Недаром иностранные наблюдатели, дипломаты, выражаясь в привычных терминах, говорили, что Пушкин не имел успеха в высшем классе и принадлежал «третьему» сословию. «Особенно спешили,—говорит один из таких наблюдателей,—рукоплескать чиновники, многочисленный класс, являющийся в

некотором роде третьим сословием в России; они создают апофеоз человеку, произведения которого являются выражением их собственных чувств. С самого начала, и, быть может, бессознательно, Пушкин рассматривался и признавался ими, как представитель оппозиции». Виртембергский посланник граф Гогенлое-Кирхберг, автор этих слов, определял положение Пушкина вернее и правильнее его друзей: друзья отдавали Пушкина, присвоивали его целиком государю. Но сам Николай не был убежден ни в искренности, ни в нужности такого усвоения.

Примечания

ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНЕЙ ДУЭЛИ ПУШКИНА

Глава 1

1 Известие о том, что Дантес был рекомендован Карлом X Николаю Павловичу, идет из осведомленного источника — от Р. Е. Гринвальда, командовавшего Кавалергардским полком. («Vier Söhne eines Hauses», I, 204; см. Панчулидзев, «Сборник биографий кавалергардов». 1825—1899, стр. 76). Повидимому, здесь просто смешение: покровительство Вильгельма было отнесено к Карлу X.

2 См. «Correspondence of Princess Lieven and Earl Gray», ed. and translat. by Guy le Strange. Vol. III, Lond. 1890, p. 22.

3 Нам известны два повествования А. П. Араповой об обстоятельствах последней дуэли Пушкина. Одна запись была предназначена для С. А. Панчулидзева, историка Кавалергардского полка, и использована им в биографии Дантеса. Другая, позднейшая и пространнейшая запись, предназначалась для печати и была помещена в приложениях к «Новому времени» в декабре 1907 и январе 1908 гг. (№№ 11406, 11409, 11413, 11416, 11421, 11425, 11432, 11435, 11442, 11446, 11449). Первая запись, с которой мы знакомы по отрывкам, приведенным С. А. Панчулидзевым, носит деловой характер, написана сжато, без художественных прикрас и лишних подробностей. Вторая запись готова перейти из области мемуарной литературы в область беллетристики. Для сравнения приводим по этой записи рассказ о встрече Дантеса с Геккереном:

«Проезжая по Германии, он простудился; сначала он не придал этому значения, рассчитывая на свою крепкую, выносливую натуру, но недуг быстро развился, и острое воспаление приковало его к постели в каком-то маленьком захолустном городе.

Медленно потянулись дни с грозным призраком смерти у изголовья заброшенного на чужбине путешественника, который уже с тревогой следил за быстрым таянием скудных средств. Помощи ждать было неоткуда, и вера в счастливую звезду покидала Дантеса. Вдруг в скромную гостиницу нахлынуло необычайное оживление. Грохот экипажей сменился шумом голосов; засуетился сам хозяин, забегали служанки.

Это оказался поезд нидерландского посланника, барона Геккерена (d'Heckeren), ехавшего на свой пост при русском дворе. Поломка дорожной берлины вынуждала его на продолжительную остановку. Во время ужина, стараясь как-нибудь развлечь или утешить своего угрюмого, недовольного постояльца сопоставлением несчастий, словоохотливый хозяин стал ему описывать тяжелую болезнь молодого одинокого француза, уже давно застрявшего под его кровом. Скуки ради, барон полюбопытствовал взглянуть на него, и тут, у постели больного, произошла их первая встреча.

Дантес утверждал, что сострадание так громко заговорило в сердце старика при виде его беспомощности, при виде его изнуренного страданием лица, что с этой минуты он уже не отходил более от него, проявляя заботливый уход самой нежной матери.

Экипаж был починен, а посланник и не думал об отъезде. Он терпеливо дождался, когда восстановление сил дозволило продолжать путь, и, осведомленный о конечной цели, предложил молодому человеку присоединиться к его свите и под его покровительством въехать в Петербург. Можно себе представить, с какой радостью это было принято!»

Глава 2

1 Об отношении великого князя Михаила Павловича к Дантесу см. рассказ П. И. Бартенева, «Русский архив», 1888, II, стр. 300. Уезжая поневоле из России, Дантес заявил, что «по приезде в Баден он тотчас явится к великому князю Михаилу Павловичу». (В. В. Никольский. Идеалы Пушкина. Изд. 3-е, СПБ, 1899, стр. 132).

Глава 3

1 «Пушкин не любил стоять рядом со своей женой и шутя говаривал, что ему подле нее быть унизительно: так мал был

он в сравнении с нею ростом», — записал П. И. Бартенев со слов князя Вяземского.

[2] До 1831 года Пушкину не приходилось общаться с Жуковским. До высылки из Петербурга в 1820 г. Пушкин не мог быть интимно близок с Жуковским, его учителем в поэзии. В годы изгнания Жуковский был его благодетелем и старшим советчиком. По возвращении из Михайловского в скитальческие годы своей жизни Пушкин видался с Жуковским только урывками.

[3] В счет не идет несколько известных нам писем Натальи Николаевны, преимущественно делового характера. На стр. 58—59 мы воспроизводим единственное известное нам письмо Н. Н. к мужу, впервые нами публикуемое. Оно говорит за себя своей бессодержательностью.

[4] Впрочем, справедливость требует упомянуть, что Наталья Николаевна пробовала писать стихи, но Пушкин отнесся сурово к ее попытке: «Стихов твоих не читаю. Чорт ли в них — и свои надоели», — писал он жене.

[5] В довольно пространных воспоминаниях дочери Пушкиной не сказано ни одного слова об образовании Н. Н. Пушкиной: см. «Н. Н. Пушкина-Ланская» в приложениях к газете «Новое время», 1907—1908 годы.

[6] Не лишне привести повествование А. П. Араповой («Новое время», 1907 г., № 11413), основанное на рассказах ее матери, хотя и не свободное от добавлений. «Когда вдохновение сходило на поэта, он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы он выходил усталый, проголодавшийся, но окрыленный духом, и дома ему не сиделось. Кипучий ум жаждал обмена впечатлений, живость характера стремилась поскорее отдать на суд друзей-ценителей выстраданные образы, звучными строфами скользнувшие с его пера. С робкой мольбой просила его Наталья Николаевна остаться с ней, дать ей первой выслушать новое творение. Преклоняясь перед авторитетом Карамзиной, Жуковского или Вяземского, она не пыталась удерживать Пушкина, когда знала, что он рвется к ним за советом, но сердце невольно щемило, женское самолюбие вспыхивало, когда, хватая шляпу, он со своим беззаботным звонким смехом об'являл по вечерам: «А теперь пора к Александре Осиповне (Смирновой) на суд! Что-то она скажет? Угожу ли ей своим сегод-

няшним трудом?» — «Отчего ты не хочешь мне прочесть? Разве я понять не могу? Разве тебе не дорого мое мнение?» — и ее нежный вдумчивый взгляд с замиранием ждал ответа. Но, выслушивая эту просьбу как взбаломошный каприз милого ребенка, он с улыбкою отвечал: «Нет, Наташа! Ты не обижайся, но это дело не твоего ума, да и вообще не женского смысла». — «А разве Смирнова не женщина, да вдобавок и красивая?» — с живостью протестовала она. — «Для других — не спорю. Для меня — друг, товарищ, опытный оценщик, которому женский инстинкт пригоден, чтобы отыскать ошибку, ускользнувшую от моего внимания, или указать что-нибудь, ведущее к новому горизонту. А ты, Наташа, не жужжи и не думай ревновать! Ты мне куда милей с твоей неопытностью и незнанием». Конечно, здесь важна не форма и не подробности этого рассказа, а общее содержание, общий смысл. Но в каком незавидном освещении рисуется здесь образ Н. Н. Пушкиной!

[7] В. Я. Брюсов. Из жизни Пушкина. «Новый путь», 1903, июнь, стр. 102. Цитата у В. Я. Брюсова неверна: не Гизо, а Монтень («Переписка Пушкина», изд. Академии наук, III, стр. 230).

Глава 4

[1] «Натали и ее сестры выезжают ежедневно»,—пишет 6 декабря 1835 года О. С. Павлищева, срвн. «Пушкин и его современники», XXVII—XVIII, стр. 197.

[2] Слова княгини В. Ф. Вяземской.

[3] Слова А. П. Араповой. Есть еще один отзыв о внешности Екатерины Николаевны: «elle ressemble assez à une grande haquenée ou à un manche à balais» («Пушкин и его современники», XXI—XXII, стр. 397). Любопытно, что ни в одном из известных нам документов не показан год ее рождения: по косвенным указаниям, данным в статье А. В. Средина «Полотняный завод», надо заключить, что родилась она в 1808 году. Срвн. еще указание Луи Метмана в его очерке о Дантесе.

[4] Александра Николаевна родилась 27 июля 1811 года. Во фрейлины она была пожалована уже после смерти Пушкина, в январе 1839 года.

---

* Она смахивает на крупного иноходца или на метлу.

Глава 5

[1] «Данзас познакомился с Дантесом в 1834 году, обедая с Пушкиным у Дюме, где за общим столом обедал и Дантес, сидя рядом с Пушкиным» (А. Аммосов. Последние дни жизни и кончина Пушкина. СПБ 1863, стр. 5).

[2] В своем изложении истории рокового столкновения Пушкина с Дантесом я исхожу из достоверных, документальных, бесспорных данных и совершенно не принимаю в расчет многочисленных рассказов и сообщений — плодов досужей болтовни современников. С особенной резкостью исследователь истории последней дуэли должен оттолкнуть от себя такие негодные источники, как пресловутые «Записки А. О. Смирновой» (печатавшиеся в «Северном вестнике» и вышедшие отдельно) и рассказы Л. Н. Павлищева как в книге «Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине», М. 1890, так и в брошюре «Кончина А. С. Пушкина», СПБ 1899.

[3] Кто эти две дамы? Можно делать только догадки. Одна из них, наверно, графиня Нессельроде. Об отношении к последней Пушкина см. «Русский архив», 1910, II, стр. 128.

[4] С этим указанием, кажется, следует сопоставлять тоже неясное сообщение князя Вяземского о письме, которое будто бы, по просьбе Геккеренов, должна была написать Наталья Николаевна к Дантесу.

[5] Граф Отто фон Брей, бывший в 1833—1836 годах секретарем баварского посольства и в *феврале 1836 года* переведенный из Петербурга в Париж, уже был свидетелем того тяжелого положения, которое привело Пушкина к трагическому концу. Граф Брей, живя в Петербурге, вращался в салонах Карамзиной и Виельгорских, поддерживая знакомство с князем П. А. Вяземским. А. О. Россет вспоминал впоследствии, что летом 1836 года шли толки, будто у Пушкина в семье что-то неладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса.

[6] О хорошем отношении к Дантесу в семье Карамзиных можно заключить по письмам А. Н. Карамзина.

[7] А. П. Арапова. «Новое время», 1908, № 11425.

[8] О Полетике см. любопытный рассказ П. И. Бартенева. «Русский архив», 1911, I, стр. 175 и сл. Ее портрет — в «Альбоме Пушкинской юбилейной выставки в императорской Академии наук», под редакцией Л. Н. Майкова и В. Л. Модзалевского СПБ 1899.

Глава 6

[1] <«Это письмо к Бенкендорфу нельзя считать неотправленным. См. об этом примечание на стр. 393> (Прим. ред.).

[2] «Воспоминания» графа В. А. Соллогуба. Новые сведения о предсмертном поединке А. С. Пушкина». М., 1866, стр. 41—44. Письмо Пушкина к Е. М. Хитрово до нас не дошло.

[3] <Составителям и распространителям диплома П. Е. Щеголевым посвящена в третьем издании его исследования «Дуэль и смерть Пушкина» глава IX — «Анонимный пасквиль и враги Пушкина», перепечатанная в настоящем издании. См. стр. 251 — 359> (Прим. ред.).

[4] Письмо князя П. А. Вяземского к в. к. Михаилу Павловичу от 14 февраля 1837 г.

[5] Геккерен в письме к Загряжской от 13 ноября дает эту дату: «Depuis huit jours d'angoissesj'ai été si heureux et si tranquille hier au soir...»* Промежуток восьми тревожных дней, кончившийся 12 ноября вечером, начался, следовательно, с 5 ноября — дня, в который в руки барона Геккерена попал вызов, предназначенный Дантесу.

[6] С. А. Панчулидзев сообщил мне касающиеся Дантеса выписки из приказов по Кавалергардскому полку. Из них видно, что 4 ноября поручику барону Дантесу-Геккерену за незнание людей своих взводов и за неосмотрительность в своей одежде командир полка сделал строжайший выговор и предписал нарядить его дежурным по дивизиону пять раз. Дежурил Дантес, во исполнение предписания, 5, 7, 9, 11 и 13 ноября. Эти даты важны для хронологии событий.

[7] «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина», со слов К. К. Данзаса, СПБ 1863, стр. 10. Рассказы о секундантстве К. О. Россета вызывают много недоумений. По рассказу К. К. Данзаса, Пушкин пригласил К. О. Россета в секунданты сейчас же по получении анонимных писем, ибо Данзас сообщает, что Дантес, приняв переданный К. О. Россетом вызов, попросил на две недели отсрочки. По приведенным в тексте соображениям, мы полагаем, что этот первый вызов Дантесу был письменным. О К. О. Россете, как секунданте, мы думаем, что Пушкин, приглашая его быть секундантом, ограничился только словами и о претворении их в дело, т. е. о формальном его

---

* «После восьми дней мучений я был так счастлив и так спокоен вчера вечером...»

приглашении, и не подумал. Да и из рассказа брата К. О. Россета, А. О. Россета («Русский архив», 1882, I, стр. 247), ясно, что Пушкин, выслушав ответ со стороны К. О. Россета, не настаивал на своем приглашении. Неясно, когда Пушкин имел этот разговор с К. О. Россетом. Если верить А. О. Россету, это случилось как раз в тот день, когда Пушкин во время обеда, на который он пригласил К. О. Россета, получил письмо Дантеса с предложением Екатерине Гончаровой. Но это случилось после того, как дело с первым вызовом было улажено секундантами Пушкина (гр. В. А. Соллогуб) и Дантеса (виконт д'Аршиак). Но зачем же понадобился Пушкину новый секундант, раз у него уже был приглашен гр. Соллогуб! Или А. О. Россет ошибся, утверждая, что предложение секундантства его брату и предложение Дантеса Екатерине Гончаровой были сделаны в один и тот же день, или же это сообщение дает нам неизвестную в истории дуэли подробность, которую мы не можем связать с известными нам фактами.

Биограф Дантеса, С. А. Панчулидзев, пишет, что первый вызов Пушкин послал через своего шурина Ивана Гончарова. Это утверждение неверно и, кажется, не имеет никакого другого основания, кроме сообщения П. И. Бартенева со слов княгини В. Ф. Вяземской («Русский архив», 1888, стр. 307, II). Но и здесь сообщение только предположительное: «вызов послал, *вероятно*, через брата жены Гончарова».

В письме к Бенкендорфу Пушкин о способе вызова пишет: «Il ne me convenait pas de voir le nom de ma femme accollé en cette occasion avec le nom de qui que ce soit. Je le fis dire à M-r Dantès. Le Baron de Heckern vient chez moi» etc*. («Переписка», III, стр. 417). Каким образом Пушкин передал свой вызов, из этих слов неясно. Больше похоже на то, что он кого-то просил передать вызов; но фраза может быть истолкована и в смысле свидетельства о передаче письменного заявления.

[8] В позднейших рассказах князей Вяземских, записанных П. И. Бартеневым, этот момент передан с некоторыми новыми подробностями: «Князь Вяземский встретился с Геккереном на Невском, и он стал рассказывать ему свое горестное положение: говорил, что всю жизнь свою он только и думал, как бы

---

* Мне не пристало видеть имя моей жены соединенным с любым другим именем. Я поручил передать это г. Дантесу. Барон Геккерен пришел ко мне» и т. д.

устроить судьбу своего питомца, что теперь, когда ему удалось перевести его в Петербург, вдруг приходится расстаться с ним, потому что, во всяком случае, кто из них ни убьет друг друга, разлука несомненна. Он передавал князю Вяземскому, что он желает сроку на две недели для устройства дел и просил князя помочь ему. Князь тогда же понял старика и не взялся за посредничество, но Жуковского старик разжалобил: при его посредстве Пушкин согласился ждать две недели».

Глава 7

[1] «Le 2 de novembre vous eûtes (de) cru M-r votre fils (une) à la suite d'une... (coup de plaisir). Il vous dit... té que ma femme crei... u'elle en perdoit la tête...»

<Приведенные П. Е. Щеголевым обрывки фраз разорванного письма Пушкина к Геккерену реконструированы Н. В. Измайловым в таком виде: «Le 2 de novembre vous eûtes de M-r votre fils une nouvelle qui vous fit beaucoup de plaisir. Il vous dit [que je soupçonnois (или: je comprenois; je concevois и т.п.) la véri] té, que ma femme crei [gnait un scandale (или: un éclat и т. п) et q]u'elle en perdoit la tête». В переводе: «2 ноября вы узнали от вашего сына новость, которая вам доставила большое удовольствие. Он сказал вам [что я подозреваю (или: понимаю; знаю) ис]тину, что моя жена опаса[лась скандала (или: взрыва) и] от этого теряла голову. (См. «Летописи Государственного литературного музея», т. I, стр. 346—347 и 349) > (Прим. ред.).

[2] В современных французских известиях нередки ссылки на родство. Выше (стр. 12) мы упоминали о том, что Дантес по матери был внук графини Елизаветы Федоровны Вартенслебен, бывшей замужем за графом Алексеем Семеновичем Мусиным-Пушкиным (1730—1817). Этот Мусин-Пушкин доводился шестиюродным братом Надежде Платоновне Мусиной-Пушкиной, бабушке жены поэта. Родство же Пушкиных с Мусиными-Пушкиными—родство кровное, хотя и весьма отдаленное — по общему предку Радше (сообщение Б. Л. Модзалевского).

Глава 8

[1] Указание на существование этого письма находится в «Воспоминаниях» графа Соллогуба. Об этом указании дадим разъяснения дальше. Этого письма нельзя, во всяком случае, ото-

жествлять с письмом к графу В. А. Соллогубу («Переписка Пушкина», изд. Академии наук, т. III, № 1101, стр. 183).

2 Екатерина Андреевна Карамзина, вдова историка. Пушкин относился к ней с большим уважением и любовью. Умирая, он просил вызвать ее к нему и благословить его. Софья Николаевна — дочь Карамзина.

Глава 9

1 К величайшему сожалению, фамилия осталась неразобранной.

2 Письмо Дантеса к Пушкину извлечено из архива барона Геккерена. Оно, очевидно, является копией того, которое было послано Пушкину. Косвенное подтверждение находим в одном черновике, напечатанном в «Переписке», т. III, № 1101, стр. 409—410. Тут есть фраза, являющаяся прямым ответом на письмо Дантеса: «Pour avoir tenu envers ma femme une conduite qu'il ne me convient pas de souffrir (en cas que M-r Heeckeren exige que la provocation soit motivée)»*.

Глава 10

1 Здесь память изменила графу Соллогубу. Старший сын Карамзина, Андрей Николаевич, родился 24 октября 1814 года. В это время он находился за границей. Очевидно, граф Соллогуб был на ином семейном торжестве у Карамзиных: 16 ноября был день рождения вдовы Карамзина, Екатерины Андреевны (род. 16 ноября 1780 г.).

2 Соллогуб имеет в виду вызов на дуэль, который Пушкин послал ему весной 1836 года.

3 Т. е. 17 ноября.

4 Вряд ли такая записка была! Геккерен лично просил об отсрочке Пушкина. Если бы такая записка и была, то она находилась бы скорее в руках Пушкина.

5 Это письмо, надо думать, не было показано Геккереном Дантесу, так же как и второе, писанное по настоянию д'Аршиака и Соллогуба.

---

* «Потому, что его поведение в отношении моей жены было таково, что мне нельзя было это терпеть (на случай, что г. Геккерен потребует, чтобы были указаны причины вызова)».

[6] Белое платье, по мнению Соллогуба, означало помолвку Дантеса и Екатерины Гончаровой, но в это время ее еще не было, так как все дело велось пока неофициально.

[7] В этом месте «Воспоминаний» Соллогуба имеется следующее отступление, содержащее собственные соображения рассказчика: «Мера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома от безымянного негодяя Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Н. Н., был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но что даже при первом подозрении он не стал бы дожидать подметных писем. Одному богу известно, что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом».

[8] Здесь маленькая неточность. Аршиак был у Пушкина 16 ноября: в это время двухнедельный срок не истек, а только истекал. Если анонимные письма были получены 4 ноября (так отметил и Жуковский и Пушкин) и если вызов был послан 5 или даже уже 4 ноября, то двухнедельный срок кончался 18 или 19 ноября. Значит, Дантес предупредил события и направил свое письмо секунданту, не дожидаясь конца отсрочки.

[9] «Переписка», т. III, № 1100, стр. 408; здесь напечатан и «черновик» этой записки, предварительно появившийся в книге проф. И. А. Шляпкина «Из неизданных бумаг Пушкина» (СПБ, 1903, стр. 292—293). Проф. Шляпкин сомневается в том, что рукопись черновика является оригиналом. И, действительно, странно: приходится предположить, что граф Соллогуб, перед тем как написать по-французски письмо Пушкину, составил еще черновичок по-русски. В действительности мы имеем дело не с черновиком, а просто с переводом французского текста на русский.

[10] «Очень мне памятно число 21 ноября, потому что 20-го было рождение моего отца, и я не хотел ознаменовать этот день кровавой сценой» — замечает граф Соллогуб. Замечание очень точное. 20 ноября приходилось в 1837 году именно в пятницу, а отец Соллогуба родился 20 ноября 1784 года (см. «Остафьевский архив», т. II, стр. 505; указание «Петербургского Некрополя», т. IV, стр. 133, на 22 ноября неправильно).

Чтобы судить, насколько хорошо память Соллогуба сохранила подробности события, приводим текст его записки, какой он приводит в «Воспоминаниях» по памяти:

«Согласно вашему желанию, я условился насчет материальной стороны поединка. Он назначен 21 ноября в 8 час. утра на Парголовской дороге на 10 шагов барьера. Впрочем, из разговоров узнал я, что г. Дантес женится на вашей свояченице, если вы только признаете, что он вел себя в настоящем деле как честный человек. Г. д'Аршиак и я служим вам порукой, что свадьба состоится; именем вашего семейства умоляю вас согласиться» и пр.

11 «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 года». СПБ 1900, стр. 50—51. Это письмо было представлено бароном Геккереном графу Нессельроде, а от последнего, по приказанию государя, было передано в военно-судную комиссию и по миновании в нем надобности возвращено через Нессельроде барону Геккерену. В «Переписке» (III, № 1101, стр. 409) оно напечатано по копии из военно-судного дела; тут же напечатана и его «первоначальная редакция». Редактор «Переписки» впал в ошибку: оригинал этой «первоначальной» редакции находится в собрании А. Ф. Онегина и совершенно правильно помечен Б. Л. Модзалевским («Описание рукописей Пушкина, находящихся в музее А. Ф. Онегина в Париже», стр. 24) как «черновое письмо от имени Пушкина, но писанное не его рукой». Действительно, это не автограф, а список, — быть может, с пушкинского оригинала, первоначальной редакции письма к секундантам на имя графа В. А. Соллогуба от 17 ноября. Этот список не может быть беловой редакцией, так как в нем просьба считать вызов не имевшим места обращена не к секундантам, а к Геккерену-отцу. Во второй части этого письма, кстати сказать, написанной на значительном расстоянии от первой, к концу листа, находится фраза, дающая ответ на требование мотивировать вызов. Мы уже указывали раньше, что эта фраза находится в известном соотношении к письму Дантеса. Мы высказывали предположение, что письмо Дантеса было доставлено Пушкину д'Аршиаком, но не настаиваем на нем. Возможно разделить эти моменты: сначала было доставлено письмо и Пушкин попытался отвечать на него, а затем явился д'Аршиак и разразилась буря.

12 Граф Соллогуб просил в своей записке только об устной декларации.

13 Заключительный момент ноябрьского столкновения сохра-

нился в воспоминаниях А. О. Россета. Со слов брата своего, Клементия Осиповича Россета, А. О. рассказывал впоследствии П. И. Бартеневу: «Осенью 1836 года Пушкин пришел к Клементию Осиповичу Россету и, сказав, что вызвал на дуэль Дантеса, просил его быть секундантом. Тот отказывался, говоря, что дело секундантов, вначале, стараться о примирении противников, а он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса, и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество; потом, он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтобы вести переписку, которая в этом случае должна быть ведена крайне осмотрительно; но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, Россет был готов. После этого разговора Пушкин повел его прямо к себе обедать. За столом подали Пушкину письмо. Прочитав его, он обратился к старшей своей свояченице Екатерине Николаевне: «Поздравляю, вы невеста. Дантес просит вашей руки». Та бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна за нею. «Каков!» — сказал Пушкин Россету про Дантеса».

[14] Мы не могли по архивным данным установить ни дня, в который Дантес обратился по начальству за разрешением на женитьбу, ни дня, в который невеста Екатерина Николаевна Гончарова, фрейлина двора, подала государыне свою просьбу. В архиве министерства двора сохранилось письмо Наталии Ховен к обер-гофмейстеру Нарышкину от 5 декабря 1836 года: «Mon Prince! M-lle de Gontcharoff ayant obtenue de Sa Majesté l'Impératrice sa gracieuse permission pour son mariage avec M-r le Baron de Heckern, vous supplie de lui accorder la bonté de la vérifier par une information à la Princesse Dolgorouky» etc*, Это подтверждение было послано 7 декабря 1836 года.

[15] София Николаевна Карамзина. Андрей Николаевич Карамзин, бывший в момент получения письма в Париже, выехал из России летом 1836 года.

Глава 11

[1] Приведем конец этой фразы: «... и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай

* Князь! M-lle Гончарова получила от ее величества императрицы милостивое разрешение на брак с бароном Геккереном; она просит вас оказать ей милость подтвердить его через кн. Долгорукую» и т. д.

дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд божий, а не людской». Насколько крепка была в Пушкине уверенность в виновности Геккерена, мы еще будем говорить по поводу его письма к Геккерену от 26 января 1837 года. О прикосновенности к анонимным письмам князя Гагарина и князя Долгорукова, см. стр. 303—357.

2 «Vous sentez bien, qu'après tout cela je ne pouvais souffrir qu'il y eut des relations entre ma famille et la vôtre»*. («Переписка», III, № 1138, стр. 445).
Эта фраза могла быть написана только после женитьбы Дантеса. Об этом письме нам еще придется говорить.

<Сомнения П. Е. Щеголева в достоверности рассказа гр. В. А. Соллогуба совершенно неосновательны. П. Е. Щеголев не взял на себя труд изучить полностью текст двадцати семи клочков двух разорванных Пушкиным писем его к Геккерену, факсимильно воспроизведенных в июльской книжке «Русской старины» за 1880 г. Этим разорванным письмам покойный биограф уделил лишь несколько строк (см. стр. 379—380), ограничившись отдельными замечаниями, а между тем изучение текста клочков писем, произведенное Н. В. Измайловым (см. «Летописи Государственного литературного музея», т. I, 1936) и Б. В. Казанским (см. «Звезда», 1934, № 3), привело к совершенно несомненным выводам, что разорванные два письма (их можно считать и двумя редакциями одного письма) были написаны Пушкиным между 17 и 21 ноября 1836 г., и что второе из них и читал поэт Соллогуб 21 ноября, о чем очень точно последний и рассказывал в своих воспоминаниях. Письма эти в ноябре Пушкин не отправил, но сохранил их до января, когда второе переделал и в этой новой редакции послал 25 или 26 января Геккерену> (Прим. ред.).

3 История этого письма загадочна. Впервые оно напечатано в книжке Аммосова по подлиннику, доставленному К. К. Данзасом. Озаглавлено оно здесь: «Письмо Пушкина, адресованное, *кажется*, на имя графа Бенкендорфа». Адресат указан здесь приблизительно, но в тексте книжки (стр. 9) сказано

---

* «Вы понимаете, конечно, что после всего случившегося я не мог допустить никаких отношений между нашими семьями».

уже положительно: «автором анонимных записок, по сходству почерка, Пушкин подозревал барона Геккерена-отца, и даже писал об этом графу Бенкендорфу». По традиции считается, что письма Пушкин не послал. П. И. Бартенев «со слов князей Вяземских» повествует, что письмо это найдено было у Пушкина в кармане сюртука, в котором он дрался. «В подлиннике я видал его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе; он взял себе на память это не дошедшее по назначению письмо» («Русский архив», 1888, II, стр. 308). Желая об'яснить мотивы, побудившие Пушкина написать графу Бенкендорфу, Бартенев рассказывает следующую историю: «После этого (т. е. после оглашения помолвки Дантеса) государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя. Но письма этого Пушкин не решился послать». Но это об'яснение явно несостоятельно и заключает целую путаницу фактов. Вообще история этого письма, пролежавшего полтора месяца в кармане сюртука, весьма сомнительна и неясна. Где в настоящее время находится подлинник этого письма, неизвестно.

<Об этом письме см. стр. 279–280 и стр. 393> (Прим. ред.).

Глава 12

[1] Речь идет, конечно, о Геккерене-старшем.
[2] Геккереном.

Глава 13

[1] Так говорил Пушкин 27 января в квартире д'Аршиака.

[2] «Русская старина», 1900, т. CIII, август, стр. 382—385. Срвн. этот же рассказ, но в другом переводе, в «Русском вестнике», 1893, март, стр. 292—303, в заметке: «Пушкин и Дантес-Геккерен». Дневник принадлежит М. К. Мердер. А. Мердер, сообщивший в «Русскую старину» отрывки из дневника,

сообщил (по всей вероятности, из этого же дневника) еще две мелочи о Дантесе — там же, 1902, октябрь, стр. 602.

[3] < Письмо кн. П. А. Вяземского от 9 февраля 1837 г., как доказано М. К. Светловой (см. «Московский пушкинист», II, М. 1930), адресовано не А. Я. Булгакову, а поэту Д. В. Давыдову. Поэтому везде дальше это письмо называется как письмо к Давыдову > (Прим. ред.).

[4] < Смысл этих записей Жуковского неверно истолкован П. Е. Щеголевым, а вслед за ним А. С. Поляковым («О смерти Пушкина», 1922, стр. 59—62) и Б. В. Казанским («Литературное наследство» № 16—18, стр. 1141—1142). В записях этих речь идет, несомненно, не о Пушкине, а о Дантесе. Такое осмысление записей принадлежит Е. С. Булгаковой, доклад которой я слышал у В. В. Вересаева в 1935 г. Работа Е. С. Булгаковой приготовлена к печати. > (Прим. ред.).

[5] В подлиннике оставлен пробел для какого-то слова.

Глава 14

[1] «Русский архив», 1888, II, стр. 310. Срвн. также в заметках П. И. Бартенева: «Дантес был частым посетителем Полетики и у нее видался с Натальей Николаевной, которая однажды приехала оттуда вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса» («Русский архив», 1908, III, стр. 295).

[2] Слишком легкое отношение к памяти Пушкина у Н. Н. Пушкиной бросалось в глаза. Графиня Долли Фикельмон, узнав, что Пушкина появилась на балах, находила, что она, будучи причиной ужасной трагедии, могла бы воздержаться от светской жизни.

Глава 15

[1] <Остается в точности неизвестным, 26-го или 25-го января было послано Пушкиным его письмо к Геккерену. Подлинник письма не сохранился. В копии, сделанной Пушкиным для К. К. Данзаса, даты не проставлено. В другой, писарской, копии, хранящейся в «деле» военно-судной комиссии о дуэли, письмо датировано 26 января. В письме к голландскому министру иностранных дел от 30 января Геккерен сообщал, что письмо Пушкина было им получено во «вторник», т. е. 26-го. А. И. Тургенев в письме к А. И. Нефедьевой от 28 января также

писал, что «3-го дня, в самый тот день, как я видел его два раза веселого, он написал ругательное письмо к Геккерену-отцу». С другой стороны, по словам кн. П. А. Вяземского в письме к Д. В. Давыдову (от 9 февраля), письмо было послано Пушкиным «в понедельник 25 января». В черновике письма к неизвестной (в первых числах февраля, не позднее 10-го) кн. В. Ф. Вяземская сообщала, что «в понедельник 25 числа» Пушкин был у них в то время, когда там был и Дантес, и передает такой разговор поэта с ней: «Пушкин вечером, смотря на Жоржа Геккерна, сказал мне: «Что меня забавляет, так это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что его ожидает по возвращении домой!» — «Что же именно? — сказала я, — вы ему написали?» Он мне сделал утвердительный знак и прибавил: «Его отцу». — «Как, письмо уже отослано?» Он мне сделал еще знаки. «Неужели вы думаете об этом? — сказала я. — Мы надеялись, что все уже кончено». Тогда он вскочил, говоря мне: «Разве вы принимаете меня за труса? Я вам уже сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом — дело другое. Я вас предупредил, что мое мщение заставит заговорить свет» («Новый мир», 1931, кн. XII, стр. 189). Этот же разговор и тоже относя его к 25 января передает в своих воспоминаниях сын кн. В. Ф. Вяземской кн. П. П. Вяземский. Наконец, третью версию разговора, также датированного 25 января, находим в сводке данных о дуэли Пушкина, составленной гр. М. А. Мусиной-Пушкиной, вероятно, со слов кн. В. Ф. Вяземской (см. «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», I, 1936, стр. 244—245). В примечании к этой сводке Б. В. Казанский довольно убедительно доказывает, что письмо было послано 25 января.> (Прим. ред.).

[2] Мы решительно отказываемся принимать это письмо за то, которое в ноябре 1836 г. читал Пушкин графу В. А. Соллогубу (срвн. выше, стр. 140—141). В. И. Саитов печатает это письмо дважды: под 21 ноября — № 1105 («Переписка», III, стр. 412) и под 26 января — № 1138 (там же, стр. 444). По всей вероятности, основанием к такому размещению послужила наличность разночтений в обоих текстах. Оба текста восходят к пушкинским автографам. Последний текст (№ 1138) дан по копии, оставленной в военно-судном о дуэли деле и снятой с того подлинного письма Пушкина, которое было в руках Геккерена, от него поступило в следственную комиссию и затем было возвращено барону Геккерену (см. «Дуэль

Пушкина с Дантесом-Геккереном. Военно-судное дело 1837 г., СПБ., 1900, стр. 51—52. Подлинное дело перешло из Пушкинского музея при Александровском лицее в Пушкинский Дом). Другой собственноручный подлинник был изготовлен Пушкиным для своего секунданта и вручен им К. К. Данзасу. В 1863 году факсимиле этого автографа дано в брошюре Аммосова «Последние дни жизни и кончина Пушкина». По этому-то факсимиле В. И. Саитов дал первый текст № 1105. Явное недоразумение! Наличность разночтений, правда, весьма незначительных, чисто словесных, без изменения смысла, может лишь свидетельствовать о том волнении, в котором находился Пушкин, оказавшийся не в состоянии снять точную копию своего письма. О душевном состоянии Пушкина ярко говорит и тот факт, что не сразу ему далось это письмо: после его смерти в его кабинете были найдены клочки бумаги; с большим трудом удалось расположить эти лоскутки так, что из них составилось два черновика, две первоначальных,— к сожалению, неполных, — редакции этого письма. Факсимиле этих черновых было дано в «Русской старине», 1880, июль, стр. 516—521. По этому факсимиле В. И. Саитов дал свои черновые к № 1105, т. е. якобы к письму от 21 ноября. Не входя в сравнительный анализ черновиков и окончательной редакции письма, отметим основное отличие последней редакции от первоначальных: в черновиках Пушкин развивал тему об отношении Геккерена-старшего к анонимным пасквилям и категорически утверждал е г о а в т о р с т в о этих писем; в беловом не осталось даже намека на это обстоятельство. Важное отличие, указывающее, по нашему мнению, на то, что полной и решительной, основанной на фактах и могущей быть доказанной уверенности в авторстве Геккерена у Пушкина не было. Переходя к содержанию письма в окончательной редакции, можно отметить, что в нем самом есть указания, не позволяющие относить его к ноябрю 1836 года: упоминание о казарменных каламбурах, которыми потчевал Дантес Наталью Николаевну, заключает, очевидно, намек на каламбур о мозольном операторе, но эта острота могла быть сказана только после женитьбы Дантеса. Самое выражение «Je ne pouvois souffrir qu'il y eut des relations entre ma famille et la vôtre»* могло быть употреблено опять-таки только после женитьбы Дантеса.

---

* Я не мог допустить никаких отношений между нашими семьями.

Нелишне упомянуть здесь об ошибке В. И. Срезневского в его описании «Пушкинской коллекции, принесенной в дар Библиотеке Академии наук А. А. Майковой» («Пушкин и его современники», IV, стр. 35). В этой коллекции находятся клочки письма Пушкина, отнесенные В. И. Срезневским к письму Пушкина к барону Геккерену, а на самом деле представляющие черновик письма к графу А. Х. Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года и напечатанные в «Переписке» т. III, стр. 417—418, № 1106.

<Замечание П. Е. Щеголева об ошибке В. И. Срезневского не совсем точно. Из десяти описанных В. И. Срезневским клочков (одиннадцатый — чистый) пять принадлежат к письму к Геккерену, четыре — к письму к Бенкендорфу и один — к неизвестному. (См. статью Н. В. Измайлова «История текста писем Пушкина к Геккерену» в «Летописях Государственного литературного музея», I, стр. 339.)>(Прим. ред.).

3 «Пушкин и его современники», вып. XI, стр. 48. Внешняя веселость Пушкина бросалась в глаза сторонним наблюдателям. Стоит вспомнить, например, бесподобную сцену в мастерской К. Брюллова 26 января, записанную в дневнике А. Мокрицкого («Современник», 1855, т. CIII, Воспоминания о Брюллове, стр. 165—166). Точно приняв бесповоротное решение покончить с ненавистным делом Дантеса, Пушкин действительно снял с души своей тяжкое бремя. Но по некоторым признакам, которые мы вскоре отметим, надо думать, что внутреннее его состояние было далеко не спокойным и не ровным. Веселость же была результатом не внутреннего спокойствия, а возбуждения, вызванного предпринятым важным решением.

4 «Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 50. О дуэльных намерениях Пушкина знала еще, как мы отмечали уже, баронесса Е. Н. Вревская.

5 Таким образом из первых фраз письма Геккерена нельзя извлечь доказательство того, что первый вызов Пушкина был не письменный, а устный. Срвн. выше стр. 368—369.

Глава 16

1 «Русский архив», 1888, II, стр. 310. К этому позднейшему рассказу княгини Вяземской, записанному П. И. Бартеневым, относимся с некоторым недоверием: выходит, будто княгиня ничего не предприняла к предотвращению дуэли

только потому, что князь Вяземский вернулся поздно. Но ведь было еще утро и день 27 января. Почему же утром или днем 27 января княгиня не сказала князю?

2 В «Переписке» (III, стр. 448, № 1143) напечатан еще один «дуэльный» документ — записочка к К. О. Россету: «Partie remise, je vous previendrai»*. Мы отказываемся принимать в соображение при нашем рассказе эту записку ввиду крайней сомнительности источника ее происхождения. Текст ее сообщен в записках А. О. Смирновой («Записки», часть II, СПБ, 1897, стр. 79); оригинал записки, по ее словам, затерялся. Как раз перед текстом письмеца в «Записках» (стр. 78) помещен совершенно вздорный и неверный рассказ о том, как Пушкин провел вечер накануне дуэли у Мещерских, где были в это время Дантес с женой и т. д. Уже одно соседство документа с таким рассказом должно бы внушить решительное недоверие к «тексту» записки.

Не считаем нужным и полезным отмечать представляющиеся нам недостоверными различные сообщения современников о Пушкине накануне дуэли. Все эти рассказы созданы в позднейшее время под впечатлением случившегося. Таков, например, рассказ графа А. Ф. Растопчина о том, как Пушкин за день до поединка обедал у Растопчиных и неоднократно убегал из гостиной мочить себе голову: до того она у него горела («Русский архив», 1905, III, стр. 212). Таков рассказ князя П. П. Вяземского: «25 января Пушкин и молодой Геккерен с женами провели у нас вечер. И Геккерен и обе сестры были спокойны, веселы, принимая участие в общем разговоре. В этот самый день уже было отправлено Пушкиным барону Геккерену оскорбительное письмо. Смотря на жену, он сказал в тот вечер: «Меня забавляет то, что этот господин забавляет мою жену, не зная, что ожидает его дома. Впрочем, с этим молодым человеком мои счеты кончены». (Князь П. П. Вяземский. Собр. соч., СПБ., 1893, стр. 556). Явно недостоверное сообщение: письмо было отправлено не 25-го, а 26-го и 26-го был бал у графини Разумовской. Посылая письмо старшему Геккерену, Пушкин, конечно, не мог предвидеть, что драться ему придется с младшим и т. д. Столь же недостоверен рассказ Н. М. Коншина о посещении им Пушкина в день 27 января 1837 года («Яросл. губ. вед.»,

* Дело отложено, я вас предупрежу.

1864, № 17 и 18; перепечатано в «Русском архиве», 1877, III, стр. 402—403). А. И. Кирпичников. («Очерки по истории новой русской литературы», т. II. М., 1903, стр. 113) выяснил недостоверность рассказа Коншина и указал психологические основания к возникновению такого свидетельства: «Сознательного искажения, конечно, ни с чьей стороны не было, а здесь действовал закон бессознательного творчества, в силу которого мелкие и нехарактерные события исчезают, а крупные сближаются к времени и месту». Не оговариваем и некоторых других подобных же свидетельств.

Глава 17

1 Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею. Т. III, СПБ, 1913, стр. 333. Сверх данных, приведенных у Н. Гастфрейнда и в издании «Дуэль Пушкина... Военно-судное дело», о Данзасе см. еще сообщение Е. Праве. Историческая справка по делу инженер-подполковника Данзаса (в газете «Народ», № 886, от 20 июня 1899 г.). Ничего не прибавляют к нашим данным и показания Данзаса, опубликованные В. Протасьевой в статье «Военно-судное дело Данзаса» в журнале «Дела и дни». Пгр., 1, 1920, стр. 402.

2 Заметки Жуковского мы полагаем в основу нашего рассказа о дне дуэли. Они прекрасно дополняют данные, имевшиеся в распоряжении исследователей, но есть один пункт — и довольно важный, — в котором запись Жуковского решительно расходится со свидетельствами современников. Это вопрос о приглашении Данзаса к участию в дуэли. 28 января А. И. Тургенев сообщал А. И. Нефедьевой: «Пушкин встретил на улице Данзаса, повез его к себе на дачу и только там показал ему письмо, писанное к отцу Геккерена; Данзас не мог отказаться быть секундантом» («Пушкин и его современники», VI, стр. 49). 9 февраля князь П. А. Вяземский писал Д. В. Давыдову: «В день дуэли нечаянно напал он на улице на старого товарища лицейского Данзаса, с которым он был всегда отменно дружен; не говоря ему ни слова, посадил в свои сани и повез к д'Аршиаку. Спустя два часа они были уже на месте дуэли» («Русский архив», 1879, II, стр. 249). В письме к великому князю Михаилу Павловичу Вяземский писал иначе: «После отказа Меджениса, в отчаянии, что дело расстроилось, Пушкин вышел 27 утром, наудачу, чтобы поискать кого-нибудь,

кто бы согласился быть секундантом. Он встретил на улице Данзаса, своего прежнего школьного товарища, а впоследствии друга. Он посадил его к себе в сани, сказав, что везет его к д'Аршиаку, чтобы взять его в свидетели своего об'яснения с ним. Два часа спустя противники находились уже на месте поединка». Сам Жуковский в неизданной части предназначавшегося к оглашению письма к С. Л. Пушкину о смерти его сына утверждал: «Утром 27 числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице со своим лицейским товарищем, подполковником Данзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д'Аршиаку. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерену и которое произвело вызов молодого Геккерена, он оставил Данзаса для условий с д'Аршиаком, а сам возвратился к себе и ждал спокойно развязки» (см. стр. 229). Спустя некоторое время, сообщает дальше Жуковский, Пушкин вышел из дома, «чтоб найти своего секунданта, кажется, в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в... часов» (Пустое место, оставленное в рукописи для пометы часа, осталось незаполненным.) Наконец, Данзас в своих показаниях в следственной комиссии из'яснил: «27 генваря в 1-м пополудни встретил его Пушкин на Цепном мосту, что близ Летнего сада, остановил и предложил ему быть свидетелем разговора, который он должен был иметь с виконтом д'Аршиаком; не предугадывая никаких важных последствий, а тем менее дуэли, он сел в его сани и отправился с ним; во время пути он с ним разговаривал о предметах посторонних с совершенным хладнокровием». Изложив происшедший с д'Аршиаком разговор, Данзас показывал: «Об'яснив все причины неудовольствия, Пушкин встал и сказал г. д'Аршиаку, что он предоставляет ему, как секунданту своему, сговориться с д'Аршиаком, из'явив твердую волю, чтобы дело непременно было кончено того же дня. Г. д'Аршиак спросил его при Пушкине, согласен ли он принять на себя обязанность секунданта. После такого неожиданного предложения со стороны Пушкина, сделанного при секунданте противной стороны, он не мог отказаться от соучастия... По окончании разговора с д'Аршиаком Данзас отправился к Пушкину, который тотчас послал за пистолетами, по словам его, на сей предмет уже купленными; в исходе 4 часа они отправились на место дуэли» («Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г.»,

СПБ, 1900, стр. 99—100). Наконец в позднейшее время со слов Данзаса Аммосов записал следующий его рассказ: «27 января 1837 г. К. К. Данзас, проходя по Пантелеймоновской улице, встретил Пушкина в санях. В этой улице жил тогда К. О. Россет; Пушкин, как полагает Данзас, заезжал сначала к Россету и, не застав последнего дома, поехал уже к нему. Пушкин остановил Данзаса и сказал: «Данзас, я ехал к тебе, садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Данзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали в Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Данзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах... (У д'Аршиака Пушкин сделал свою декларацию и по окончании ее) Пушкин указал на Данзаса и прибавил: «Voilà mon témoin»*. Потом обратился к Данзасу с вопросом: «Consentez-vous?»** После утвердительного ответа Данзаса Пушкин уехал, предоставив Данзасу условиться с д'Аршиаком... Условия поединка были составлены на бумаге. С этой роковой бумагой Данзас возвратился к Пушкину. Он застал его дома, одного. Не прочитав даже условий, Пушкин согласился на все... Условясь с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, Данзас отправился сделать нужные приготовления. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее; пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами д'Аршиака. Уложив их в сани, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его. Было около 4 часов... Пушкин вышел с ним из кондитерской; сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту» (А м м о с о в, назв. соч., стр. 18—21).

Всеми этими свидетельствами как будто и прочно устанавливается тот факт, что Пушкин рано утром 27 января вышел из дома, встретил на улице Данзаса, повез его к д'Аршиаку, и здесь Данзас вынужден был дать свое согласие быть секундантом Пушкина. Но записи «для себя» Жуковского о дне дуэли заключают категорическое утверждение, что Пушкин в этот день до часу не выходил из дома, что незадолго до его ухода к н е м у п р и е х а л Данзас, что ровно в час он вышел из дома и вернулся домой уже раненым, после дуэли.

---

* Вот мой свидетель.
** Согласны ли вы?

Несмотря на ряд авторитетных свидетельств, в том числе самого Жуковского и самого Данзаса, мы считаем отвечающим действительности свидетельство, сохранившееся в публикуемой нами записи Жуковского. Документальные даты, которыми мы располагаем, приводят к заключению, что в 10 часов утра Пушкин еще не остановил своего выбора ни на ком и до часу дня, во всяком случае, д'Аршиак не знал, кто будет секундантом. Следовательно, утром-то Пушкин с Данзасом не могли быть у д'Аршиака, а были только после часу.

Умолчание в показаниях Данзаса в следственной комиссии и в рассказах современников о посещении Данзасом дома Пушкина и утверждение факта нечаянной встречи с Данзасом на улице об'ясняется, по нашему мнению, следующими соображениями. Данзасу предстоял ответ по суду за участие в дуэли. По закону секунданты «при зачатии драк должны были приятельски искать помирить ссорящихся и ежели того не могут учинить, то немедленно по караулам послать и о таком деле об'явить». («Дуэль Пушкина... Военно-судное дело...», стр. 104). При том об'яснении, которое дал Данзас, ясно было, что Данзас, ежели бы и хотел, то не мог ни отказаться от участия в дуэли, ни помешать ей. Таким образом его вина в значительной степени смягчалась таким об'яснением. Да и в об'яснениях самого Данзаса, наряду с утверждением о случайности встречи с Пушкиным на улице, проскальзывает и заявление о том, что Пушкин остановил свой выбор (именно выбор!) не случайно на Данзасе: «Я не иначе могу пояснить намерения покойного, как тем, что, по известному мне и всем знавшим его коротко высокому благородству души его, он не хотел вовлечь в ответственность по своему собственному делу никого из соотечественников; и только тогда, когда вынужден был к тому противниками, он решился, наконец, искать меня, как товарища и друга с детства, на самоотвержение которого он имел более права считать». («Дуэль Пушкина... Военно-судное дело...», стр. 79).

< К приведенным П. Е. Щеголевым рассказам о случайной встрече с К. К. Данзасом можно присоединить версию, имеющуюся в сводке данных о дуэли Пушкина, составленной гр. М. А. Мусиной-Пушкиной: «27 между 9½ и 10 ч. он пишет д'Аршиаку — потом отправляется к нему без секунданта — д'Аршиак протестует. Пушкин выходит, встречает Данзаса, офицера артиллерии, на Цепном мосту. Он бросается к нему на шею, говоря: «Тебя бог мне послал. Я об тебе думал. Садись в

сани». (См. «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», I, стр. 245). > (Прим. ред.).

3 Это последнее письмо хранится в настоящее время в Пушкинском Доме. Факсимиле его дано в «Вестнике Европы», 1887, февраль. Это письмо вместе с томом Корнуэля завернуто было Пушкиным в пакет, из толстой сероватой бумаги, на котором Пушкин написал адрес. Эти строки, надо думать, — последние, им писанные. Обложка с этими строками сохранилась и находится в настоящее время также в Пушкинском Доме, куда жертвована В. А. Ляцкою.

< Последним автографом Пушкина является подпись под «реестром» долгов частным лицам, сделанная поэтом 27 января, уже раненым, «рукой, довольно твердою». Об этом писал А. И. Тургенев брату Николаю Ивановичу 31 января 1837 г. (См. «Пушкин и его современники», в. VI, стр. 62). «Реестр» этот не сохранился. > (Прим. ред.).

Глава 18

1 Излагая историю самого поединка, мы основываемся на свидетельствах очевидцев — Данзаса и д'Аршиака — и ближайших современников — Жуковского и князя Вяземского. Дальнейших ссылок не делаем.

2 По позднейшим воспоминаниям Данзаса, мороза было градусов пятнадцать. В камер-фурьерском же журнале мороз 27 января утром отмечен в два градуса.

3 Перемену пистолетов д'Аршиак считал делом неправильным и в описание поединка, которое он вручил князю Вяземскому, по этому поводу внес следующие строки: «Так как оружие, бывшее у Пушкина в руке, оказалось покрытым снегом, то он взял другое. Я мог бы сделать возражение, но знак, данный мне бароном Жоржем Геккереном, мне в этом воспрепятствовал». Данзас горячо протестовал против заявления д'Аршиака. «Я не могу оставить без возражения заключения г. д'Аршиака, будто бы он имел право оспаривать обмен пистолета и был удержан в том знаком со стороны г. Геккерена. Обмен пистолета не мог подавать повода во время поединка ни к какому спору. По условию, каждый из противников имел право выстрелить, пистолеты были с пистонами, следовательно осечки быть не могло; снег, забившийся в дуло пистолета А. С., усилил бы только удар выстрела, а не отвратил бы его; никакого знака ни со стороны г. д'Аршиака, ни со стороны

г. Геккерена подано не было. Что до меня касается, я почитаю оскорбительным для памяти Пушкина предположение, будто он стрелял в противника своего с преимуществами, на которые не имел права. Еще раз повторяю, что никакого сомнения против правильности обмена пистолета сказано не было; еслиб оно могло возродиться, то г. д'Аршиак обязан бы был об'явить возражение свое и не останавливаться знаком, будто от г. Геккерена поданным; к тому же сей последний не иначе мог бы узнать мнение г. д'Аршиака, как тогда, когда бы и оно было выражено словами; но он их не произнес. Я отдаю полную справедливость бодрости духа, показанной во время поединка г. Геккереном, — но решительно опровергаю, чтобы он произвольно подвергнулся опасности, которую бы он мог от себя устранить. Не от него зависело не уклониться от удара своего противника, после того, как он свой нанес» (Военно-судное дело..., стр. 54—55). По поводу этого спора С. А. Панчулидзев пишет: «В данном случае прав д'Аршиак: замена пистолетов, раз они взяты в руки противниками, не допускается. Но Данзас прав, что снег, набившийся в дуло пистолета Пушкина, мог на морозе только усилить «удар выстрела, а не ослабить его». (С. А. Панчулидзев, назв. соч., стр. 84).

4 В рассказе П. В. Анненкова о дуэли встречаются любопытные детали. Не зная их источников, трудно судить о степени их достоверности, но они заслуживают быть отмеченными. «Известно, — пишет Анненков, — радостное восклицание Пушкина при виде упавшего соперника, легко пораженного им в руку... Радость была столько же напрасна, сколько и противна нравственному чувству. Покамест противник садился в сани Пушкина и отправлялся домой, самого Пушкина перенесли в карету, заранее приготовленную семейством его соперника на случай несчастия. Пушкин еще поглядел вслед удаляющегося врага и прибавил: «Мы не все кончили с ним», но уже все было кончено, и другой ряд более возвышенных и более достойных мыслей ожидал умирающего в дому его. Карета медленно подвигалась на Мойку, к Певческому мосту. Раненый чувствовал жгучую боль в левом боку, говорил прерывчатыми фразами и, мучимый тошнотою, старался преодолеть страдания, возвещавшие близкую неизбежную смерть. Несколько раз принуждены были останавливаться, потому что обмороки следовали часто один за другим и сотрясение пути ослабляло силы больного». (П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. СПБ, 1873, стр. 420).

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКОГО К С. Л. ПУШКИНУ, КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ БИОГРАФИИ А. С. ПУШКИНА

Глава 1

[1] < Здесь выпущено двадцать с лишним строк, посвященных указаниям материалов, которые П. Е. Щеголев в примечаниях к письму Жуковского привлек «для суждения об отношении Жуковского к своим источникам и другим современным свидетельствам». > (Прим. ред.).

Глава 3

[1] В камер-фурьерском журнале ни посещение Арендта, ни посещение Жуковского не зарегистрированы. Государь вечером 27 января действительно был в Каменном театре вместе с гостившим в то время в Петербурге принцем Карлом Прусским. Из дворца он отбыл в 8 часов 10 минут. Возможно, что существовало в действительности только письмо царя к Арендту, а в этом письме были строки, относящиеся к Пушкину. (См. заметку Ю. Г. Оксмана в книжке «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина». «Атеней», 1924).

[2] «Пушкин и его современники», вып. VI, СПБ, 1908. Новые материалы для биографии Пушкина, стр. 47—51.

[3] По поздней записи рассказов Данзаса Пушкин приобщался после от'езда Арендта и до его приезда с запиской.

[4] Вчера, но ночью; по рассказу Спасского, факт имел место вчера, а по рассказу Жуковского — ночью.

5 «Русский архив», 1888, стр. 297. Срвн. «Русский архив», 1906, III, стр. 619.

Глава 4

1 А в дневнике, сообщив текст записки, Тургенев добавляет всего лишь следующее: «Пушкин сложил руки и благодарил бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю благодарность».

2 Так и в том списке, по которому письмо к Булгакову напечатано в «Русской старине», т. XIV (1875 г.), стр. 92—96.

ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКОГО К С. Л. ПУШКИНУ

< Изменения, сделанные Жуковским в первой редакции письма и напечатанные П. Е. Щеголевым в примечаниях, в настоящем издании опущены. Не перепечатываются и разночтения с текстом первой редакции письма текстов «Современника» и «Русского архива» > (Прим. ред.).

1 Для цифры оставлен пробел.

2 В «Современнике» вслед за подписью под письмом «В. Жуковский» сделано еще следующее добавление: «За телом следовал А. И. Тургенев. Пушкин не раз говорил жене, что желает быть похоронен в Святогорском Успенском монастыре, где недавно положили его мать. Этот монастырь находится в Псковской губернии в Опочковском уезде, в 4-х верстах от сельца Михайловского, где Пушкин провел несколько лет поэтической жизни своей. 4-го числа в девятом часу вечера тело привезли во Псков, оттуда оно, по надлежащем распоряжении со стороны губернского начальства, в ту же ночь на 5-е число февраля было отправлено через город Остров в Святогорский монастырь, куда привезли его уже к 7-ми часам вечера. — Мертвый мчался к своему последнему жилищу мимо своего опустевшего сельского домика, мимо трех любимых сосен, им недавно воспетых. (Примечание: это стихотворение помещено в конце книжки, под заглавием: Отрывок). Тело поставили на Святой горе в Соборной Успенской церкви и отслужили с вечера панихиду. Всю ночь рыли могилу подле той, где покоится его мать. На другой день, на рассвете, по совершении божественной литургии, в последний раз отслужили панихиду, и гроб был опущен в могилу, в присутствии Турге-

нева и крестьян Пушкина, пришедших из сельца Михайловского отдать последний долг доброму своему помещику. Чудно показалось предстоявшим изречение Библии, сопровождавшее горсть земли, брошенной на Пушкина, «земля еси». Добавление это писано А. И. Тургеневым. Об этом мы узнаем из его дневника.

АНОНИМНЫЙ ПАСКВИЛЬ И ВРАГИ ПУШКИНА

Глава 1

[1] Описание этого собрания сделано М. А. Цявловским в книге «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина» Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Петроград, 1924.

[2] К сожалению, не удалось установить, от кого поступил этот экземпляр в лицейский музей. Во время моих работ над первым изданием настоящей книги он мне не был известен.

[3] В книге А. С. Полякова «О смерти Пушкина» дано описание обоих экземпляров пасквиля и воспроизведение экземпляра, полученного графом Виельгорским.

Глава 2

[1] Вел. кн. Николай Михайлович. Русские портреты, т. III.

Глава 3

[1] Ach. Gallet de Kultur. «Le tzar Nicolas et la sainte Russie», Paris. 1855, стр. 202—203. Острая и любопытная книжка — при некоторых и немалых неточностях. Автор был секретарем у А. Н. Демидова, князя Сан-Донато, посетил Россию. В книге между прочим есть рассказ (стр. 57—61) о том, как Пушкин, по приказанию Александра I, был подвергнут телесному наказанию. Рассказ этот был выброшен автором во втором издании книги, под измененным заглавием «La sainte Russie», 1857. В Государственной публичной библиотеке имеется экземпляр, принадлежавший С. П. Полторацкому, с его рукописной заметкой об этой книге.

[2] С этой Урусовой связывали мадригал Пушкина 1827 года: «Не веровал я троице доныне».

[3] Е. М. Бутурлина, урожд. Комбурлей, — «красавица», создавшая карьеру своему мужу Д. П. Бутурлину. Род. в 1805, ум. в 1859 г.

[4] «Николаевская эпоха». Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстина. С приложением дневника А. О. Смирновой (1845). М. 1910, стр. 141.

[5] Немногочисленные данные об увлечении Николая Н. Н. Пушкиной собраны М. А. Цявловским в книге «Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым», Москва, 1925, стр. 117—120. Здесь указана и соответствующая литература.

[6] Назв. книга, стр. 45. Нужно отметить, что Бартенев, записывая рассказ Нащокина для себя в свою тетрадь, побоялся писать «царь», а поставил три звездочки. Нечего и говорить о том, что в печать сведения о женолюбии Николая и его ухаживании за Пушкиной не могли проникнуть.

[7] < «Реконструированный Н. В. Измайловым текст соответствующего места в переводе читается: «Дуэли мне уже недостаточно теперь — о, нет, и каков бы ни был ее исход, я не почту (?) себя достаточно отмщенным ни позором (?), который (?) испытает (?) от нее ваш сын, ни письмом, которое имею честь вам писать и копию с которого я сохраняю для моего личного употребления. Я хочу, чтобы вы дали себе труд самому найти основания, которые были бы достаточны, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо и уничтожить самый след этого подлого дела, из которого мне будет легко составить прекрасную главу в истории рогоносцев». (См. «Летописи Государственного литературного музея», I, стр. 349). > (Прим. ред.).

Глава 4

[1] См. «Николаевская эпоха», назв. соч., упоминание о С. И. Борх в дневнике А. О. Смирновой, стр. 140, а также упоминание и в фальшивых «Записках А. О. Смирновой», СПБ 1894, ч. I, стр. 36; 1897, ч. II, стр. 21—22.

[2] Остафьевский архив князей Вяземских, СПБ 1899; т. III, стр. 229. Не заключается ли в сообщении, подчеркивающем радость графа Лаваля, сбывающего свою дочь, фрейлину двора, какого-либо указания на затруднения интимного характера при выдаче дочери замуж?

[3] Граф Нессельроде находился в теснейших дружественных отношениях с австрийским посланником в Петербурге графом

Лебцельтерном, женатым на другой дочери графа Лаваля — Зинаиде Ивановне. Третья дочь — Екатерина — была замужем за кн. С. П. Трубецким, неудачным диктатором 14 декабря 1825 года. О близости и даже о родстве Нессельроде с Лебцельтерном говорит кн. П. В. Долгоруков в «Листке» (1864, 23 июля, стр. 164) и в «Будущности» (1860, № 3—4, стр. 23).

[4] < Несколько строк дальнейшего текста, относящегося к послужному списку Голынского, редакцией опущено. >

[5] Привожу запись Лонгинова:

«Покойная графиня А. К. Воронцова-Дашкова встретила в это время Пушкина и Данзаса, едущих на острова. Она догадалась о причине этой поездки, искала кого-нибудь, чтобы помешать делу, и, не найдя к тому возможности, приехала домой в отчаянии. Она знала, что было уже поздно, и повторяла печально: «вы увидите, что с Пушкиным случилось большое несчастье».

[6] Под № 14 — переписанный рукою Лонгинова пасквиль.

[7] Указанием записи Лонгинова в книжке Аммосова я обязан П. Е. Рейнботу.

[8] <Имеется в виду напечатанный П. Е. Щеголевым в его книге и в настоящем издании опущенный «Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу» кн. А. В Трубецкого». > (Прим. ред.).

Глава 5

[1] Речь идет именно о чете — Иосиф и Любовь Борх. Из формулярного списка видно, что в июне 1837 года Иосиф Борх получил отпуск к минеральным водам.

[2] Гос. публ. библиотека, бумаги В. Ф. Одоевского, сборник № 15. Как тут не вспомнить слова П. И. Бартенева: «Высокая и в высшей степени примечательная личность этого человека почти неизвестна в русской литературе... Пушкин высоко ценил и любил великого князя». «Русский архив», 1873, т. I, 0424—0425.

Глава 6

[1] Mémoires d'un royaliste par le comte de Falloux. Paris, 1888, т. I, p. 186—187 и 134—137. Выдержки из воспоминаний — специально о русском дворе и Петербурге — приведены в брошюре Н. И. Радцига «Россия Николая I по мемуарам Фаллу». Ярославль, 1926. Рассказ Фаллу, по сви-

детельству Метмана, совпадает с рассказом о дуэли Дантеса. < П. Е. Щеголев имеет в виду «Биографический очерк Жоржа Дантеса», составленный Метманом, напечатанный в книге Щеголева и в настоящем издании опущенный. > (Прим. ред.).

Это совпадение убедительно говорит за эту версию.

[2] См. выше стр. 117—119 и 139—140.

[3] См. выше стр. 376.

[4] < Уже после того, как вышло в свет третье издание исследования П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», П. Е. Щеголевым была обнаружена в камер-фурьерском журнале под 23 ноября 1836 г. такая запись: «10 мин. 2-го часа его величество один в санях выезд имел прогуливаться по городу и возвратился в 3 часа во дворец. По возвращении его величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина». Эта аудиенция в неурочное время стояла, конечно, в непосредственной связи с письмом Пушкина от 21 ноября. Таким образом последнее было адресовано несомненно к Бенкендорфу и имело целью известить царя о получении пасквильного диплома, дискредитировав этим Геккерена. Смысл диплома был, конечно, ясен Николаю, взявшему слово с Пушкина не предпринимать никаких действий по отношению к Геккерену, не известив об этом царя. О последнем и слышал от кн. П. А. и В. Ф. Вяземских Бартенев, писавший, что «государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед» (см. стр. 376 настоящей книги). О записи в камер-фурьерском журнале см. П. Е. Щеголев «Из жизни и творчества Пушкина». Изд. 3-е, 1931, стр. 140—149. > (Прим. ред.).

Глава 7

[1] Уместно сопоставить со словами Долгорукова свидетельство Ф. Ф. Вигеля: «Из разных сведений, необходимых для хорошего дипломата, усовершенствовал Нессельроде себя только по одной части: познаниями в поваренном искусстве доходил он до изящества. Вот чем умел он тронуть сердце первого гастронома в Петербурге, министра финансов Гурьева. Зрелая же, немного перезрелая дочь его Марья Дмитриевна, как сочный плод, висела гордо и печально на родимом дереве и беспрепятственно дала Нессельроде сорвать себя с него.

Золото с нею на него посыпалось: золото, которое для таких людей, как он, то же, что магнит для железа». (Записки Ф. Ф. Вигеля, ч. V, М. 1892, стр. 61—62). Колоритный рассказ о Гурьеве находим у того же Долгорукова в его «Листке» (1863 г., ноября 24, № 15, стр. 119) — хороший комментарий к строчке на Гурьева в приписываемой Пушкину эпиграмме «Встарь Голицын мудрость весил, Гурьев грабил весь народ»... «Этот сановник, своим взяточничеством и грабительством своим изумлявший даже самый русский чиновничий мир, умел, посредством происков своих и интриг жены своей, величайшей пройдохи своего времени (достойной маменьки графини Марии Дмитриевны Нессельроде) распорядиться таким образом, что назначенный по увольнении Дм. Прокоф. Трощинского в 1806 году министром уделов, он успел выхлопотать себе в 1809 году министерство финансов, с сохранением в руках своих и уделов. В то время должность государственного казначея была отдельною от министерства финансов, но по прошествии нескольких месяцев Гурьев успел 1 января 1810 года примежевать к финансам государственное казначейство, а в 1814 году примежевал и министерство коммерции. Когда в субботу на страстной неделе 1823 года министром финансов назначен был Канкрин, то в Петербурге на следующий день говорили, поздравляя друг друга: Христос воскрес, Гурьев исчез»!!

[2] Любопытный рассказ о взяточничестве М. Д. Нессельроде — у того же Долгорукова («Листок», 1863, № от 4 августа 1862, стр. 80, примечание): «После помолвки своей Шувалов (жених дочери Александра I от Нарышкиной), числившийся по министерству иностранных дел, пожалован был камергером по официальному представлению графа Нессельроде; император Александр Павлович, со дня помолвки уже обходившийся с Шуваловым, как с будущим зятем, улыбаясь, спросил у него: с к о л ь к о о н п о д а р и л г р а ф и н е Н е с с е л ь р о д е? Этот анекдот рассказывала мне княгиня Екатерина Александровна Долгорукова, жена князя Ильи Андреевича и сестра Софьи Александровны Шуваловой». Сведения о чете Нессельроде рассеяны в изданиях П. В. Долгорукова — «Будущность», 1860, стр. 6, 22, 23; «Листок», 1863—1864, стр. 95, 119, 159, 164.

[3] «Красный архив», т. X, 1925 г., стр. 261—285. Письма М. Д. Нессельроде, охватывающие период 1820—1849 годов, к матери, брату, жене брата, были представлены Алексан-

дру II; для царя были сделаны извлечения любопытных мест из всей переписки. И письма, и выборки, хранившиеся ранее в Государственном архиве, ныне хранятся в Московском историческом архиве. Я просмотрел перечень содержания всех писем и выборку и не нашел ничего, относящегося до Пушкина и до его дуэльной истории. За период 1836—1837 годов писем нет. < Весьма возможно, что письма за 1836—1837 гг. были из'яты. > (Прим. ред.).

4 А. С. Поляков, впервые напечатавший это письмо, почему-то полагает: первое — письмо должно защитить Геккерена от обвинений в составлении пасквиля; второе — оно было представлено Геккереном в целях самооправдания. Защитный смысл письма Поляков вывел, главным образом, из факта представления этого письма Геккереном по начальству, но как раз этот факт и не доказан, а только предположен. Мало ли какими путями III отделение могло добыть это письмо, — на то оно и III отделение! Согласимся, что письмо попало сюда помимо воли Геккерена, и тогда, перечитав его, мы не будем иметь ни права, ни возможности вывести из его содержания доказательства непричастности Геккерена к делу пасквилей. Письмо, на наш взгляд, писано после первого вызова, когда Дантес находился на дежурстве: нельзя допустить, что оно писано после дуэли, когда Дантес был под арестом и когда m-me de N. и la comtesse Sophie B. вряд ли согласилась бы навещать его на гауптвахте. Геккерен в письме дает подробное описание внешности пасквиля как будто для того, чтобы Дантес мог отличить этот пасквиль от какого-либо иного. Может быть, в руки Пушкина попал иной пасквиль!

< Как указал Б. В. Казанский (в статьях «Гибель Пушкина» — «Звезда» 1928, № 1, стр. 117 и «Разработка биографии Пушкина» — «Литературное наследство» № 16—18, стр. 1141), записка Геккерена к Дантесу написана после смерти Пушкина, когда Дантес сидел под арестом на гауптвахте. Содержание записки остается непонятным. Все об'яснения Полякова, Щеголева и Казанского по меньшей мере недостаточны. > (Прим. ред.).

5 Кн. П. П. Вяземский, назв. соч., стр. 562. Надо думать, что о чете Нессельроде говорит конспиративно Геккерен в письме к Дантесу после его высылки. «Муж и жена относятся к нам безукоризненно, ухаживают за нами, как родные, даже больше того — как друзья».

[6] «Московский пушкинист». I. М. 1927, стр. 67. «C'est Nesselrode» скорее указывает на графа Нессельроде. Досадная описка: согласимся с В. Гольцевым, что имеется в виду не граф, а графиня.

Глава 8

[1] Канкрин 21 ноября ответил, что для удовлетворения просьбы Пушкина надо испрашивать высочайшее повеление. Пушкин более не обращался по этому поводу.

[2] Отметим, что в этом кратком изложении истории дуэли Николай говорит очень много о невинности Натальи Николаевны. Любопытно и то, что Николай писал свое письмо, как будто имея перед своими глазами письмо Пушкина к Геккерену от 26 января. «Вы говорили, что он умирает от любви к ней, вы ей бормотали «отдайте мне моего сына» — в письме Пушкина; «Уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью» — в письме Николая.

[3] Перемена в отношениях царя к посланнику повлекла за собой и охлаждение к последнему высшего общества: барон Геккерен, по сообщению Гогенлое-Кирхберга, сделал все, чтобы навлечь на себя всеобщее неудовольствие, и многие лица, в былые времена отличавшие посланника, принуждены в настоящее время сожалеть об этом.

[4] Новое толкование пасквиля в печати впервые было заявлено мной в очерке «Смерть Пушкина» в номере журнала «Огонек», посвященном Пушкинскому дню, № 7 (203), 13 февраля 1927 года. К одинаковому со мной мнению одновременно, но независимо от моих изысканий, пришел и П. Е. Рейнбот; его взгляд прокламировал и поддерживал М. А. Цявловский в своем докладе на Пушкинском вечере в феврале месяце < 1927 г. > в день годовщины смерти, в Москве.

[5] А. И. Тургенев ноябрь 1836 года проводил в Москве, в Петербург он приехал только 25 ноября, но в Москве он уже слышал об анонимных письмах. В письме к брату после смерти Пушкина он дал такое определение диплому: «в анонимном письме говорили, что он после Нарышкина первый рогоносец». Очевидно, Н. И. Тургенев должен был понять значение термина «первый после Нарышкина рогоносец». («Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 59.).

Глава 9

[1] В дальнейшем изложении я совершенно не останавливаюсь на выяснении прикосновенности графа С. С. Уварова к составлению и распространению пасквиля — в уверенности, что П. Е. Рейнбот напечатает читанный им 28 июля 1927 года в собрании Пушкинского Дома доклад на тему: «Дуэль Пушкина (Идалия Григорьевна Полетика, Варфоломей Филиппович Боголюбов, Сергей Семенович Уваров)». Уваров, конечно, мог сочувствовать и покровительствовать распространению пасквилей, поражающих честь своего врага Пушкина.

[2] «Русский архив», 1888, II, стр. 312. Граф Л. С. — конечно Лев Соллогуб, брат Владимира.

[3] О князе И. С. Гагарине см. биографическую статью Пирлинга в «Русском биографическом словаре»; о князе П. В. Долгорукове см. статьи М. К. Лемке «Князь П. В. Долгоруков в России» («Былое», 1907, февраль, и в его книге «Николаевские жандармы и литература 1826—1955 годов». СПБ, 1908) и «Князь П. В. Долгоруков-эмигрант» (там же, март) и статью Б. Л. Модзалевского в книге «Новые материалы...», стр. 13—48.

[4] В русской журналистике, кажется, один лишь М. Н. Лонгинов не только отнесся с недоверчивостью к рассказу Аммосова, но высказал ему порицание за предъявление подобного обвинения без всяких доказательств. (См. отзыв М. Н. Лонгинова о книжке Аммосова в «Современных известиях», 1863, № 18, стр. 12).

[5] Строки, напечатанные разрядкой, цензурой были исключены.

[6] Конечно, Клементий Осипович Россет.

[7] Князь Петр Владимирович Долгоруков. В «Адресной книге на 1837 год» Карла Нистрема жительство кн. Гагарина показано в Галерной улице, дом 34, а жительство Долгорукова — в Большой Миллионной, дом 20.

[8] Кн. Анастасия Симоновна Долгорукова, умерла 7 апреля 1827 года.

[9] Тетка Долгорукова, кн. Марья Петровна, замужем за Н. П. Римским-Корсаковым, умерла в 1849 году.

[10] Граф Дмитрий Карлович Нессельроде, сын министра.

[11] Бартенев относит с вопросом инициал к Лермонтову.

[12] Александр Иванович Тургенев.

[13] «Иезуит Гагарин в деле Пушкина» — «Исторический вестник», 1886, август, стр. 269—273.

14 Сообщение графа С. Д. Шереметева в «Русском архиве», 1901, III, стр. 255.

15 «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», стр. 13 — 49.

Глава 10

1 < «Протокол графической экспертизы почерка», произведенной А. А. Сальковым, напечатан П. Е. Щеголевым в третьем издании его книги, где факсимильно воспроизведены документы, исследованные Сальковым. > (Прим. ред.).

Глава 11

1 Со слов Н. В. Минина; ему рассказывал отец, чернский предводитель дворянства.

2 Надо сопоставить и свидетельство графа М. Д. Бутурлина «о непочтительной фамилиарности, с каковою обходились с Долгоруковым иные молодые люди и на которую он как бы не обращал внимания» — «Русский архив», 1901, т. III, стр. 410.

Глава 12

1 Эти слова и в оригинале написаны по-русски.

2 М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература. СПБ. 1908, стр. 540 и 544.

3 О роде Пушкиных в этой книге Долгоруков сообщает (стр. 76): «Дом Пушкиных дал много бояр в 17 веке, а в 19-м он дал поэта, самого национального, какой когда-либо был в России — знаменитого Пушкина, имя которого составит эпоху в русской литературе». Перечень положительных упоминаний о Пушкине в «Mémoires» Долгорукова дан Б. Л. Модзалевским в названной статье, стр. 39—40, прим.

Глава 13

1 Процесс Воронцова—Долгорукова породил обширную литературу, перечисленную в статье М. К. Лемке («Былое», 1907, III, стр. 173) и Б. Л. Модзалевского («Новые материалы...», назв. соч., стр. 18). Я пользуюсь изданием «Procès

du prince Woronzow contre le prince Pierre Dolgoroukow» Leipzig, 1862, и выдержкой из него «Дело кн. М. С. Воронцова против князя Долгорукова и против журнала «Courrier du Dimanche», Москва 1862.

2 Герцен, т. XV, стр. 51—52. Тургенев отзывался о Долгорукове весьма резко. Так, в письме к М. А. Марко-Вовчок от 31 августа 1862 года из Берлина: «к сожалению, он (неизвестный, встретившийся в Бадене) глуп, как... как кн. П. В. Долгоруков. Сильнее сравнения я не знаю». «Минувшие годы», 1908, № 8, стр. 96.

Глава 14

1 Данзас, служивший на Кавказе, имел отпуск в 1840 году с 20 января на 4 месяца, просрочил его и возвратился 1 декабря 1840 года. (См. Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по лицею, т. III, СПБ. 1813, стр. 332).

2 «Русский архив», 1872, стр. 204. К ссылке Долгорукова на родственников Пушкина добавим еще свидетельство дочери Пушкина графини Н. А. Меренберг о том, что мать ее, Наталья Николаевна, считала авторами подметных писем Долгорукова в первую очередь, а Гагарина во вторую. (См. «Новые материалы о дуэли Пушкина», назв. соч. стр. 128 — 129.)

Глава 15

1 Госуд. публ. библиотека. Бумаги В. Ф. Одоевского, сборник № 15, журнал 1859—1864 годов.

2 <Три страницы по III изданию книги П. Е. Щеголева, посвященные процессу П. В. Долгорукова с кн. Воронцовым (слушался во Франции в 1852 г.), редакцией опущены.>

3 За границей неприятели Долгорукова выпустили литографию, на которой князь был изображен в больничной шапочке с ослиными ушами и с орденом Полосатого Осла. Литография имеется в собрании Пушкинского Дома. Воспроизведена в журнале «Огонек» (№ 42, 16 октября 1927) при моей статье «Кто писал анонимные письма Пушкину?»

Глава 16

1 Об этой удивительной затее — в книжке Р. М. Кантора «В погоне за Нечаевым».

2 Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой, 1903, стр. 164.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
202	10 сверху	записке[1]	записке
208	1 снизу	достаточно	достаточно[1]
216	3 снизу	Пушкина"[3]	Пушкина"[5]
348	7 сверху	писем"[1]	писем"[2]

